

ISSN 0132-0637

— 1996

Октябрь

Октябрь

1 1996

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

1

1996

Я Н В А Р Ь

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, Б. ВА-
СИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРА-
НИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТ-
КИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ,
Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е :

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. Маленькая волшебница. Кукольный роман	3
Анатолий НАЙМАН. Змейка чернил. Стихи	63
Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. Куча. Повесть	70
Сергей МОРЕЙНО. Берег памяти. Стихи	101
Игорь ТАРАСЕВИЧ. Один вечер в Сан-Диего. Пьесы для чтения	104

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

«Как редко теперь пишу по-русски...» Из переписки В. В. Набокова и М. А. Алданова. Вступление, публикация, подготовка текста и примечания Андрея Чернышева	121
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

С. А. НИКОЛЬСКИЙ, доктор философских наук.
Россия, год 2000: конец крестьянства? **147**

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Леонид БАТКИН. Вещь и пустота. Заметки читателя на
полях стихов Бродского **161**

Вавилонская библиотека

Д. БАВИЛЬСКИЙ. Зеленый год. * Феликс ИКШИН. О том,
как все-таки сделан «Дон Кихот», или Перестоявшиеся
щи. * Дмитрий БАК. Символизм или истерия? * Евгений
ПЕРЕМЫШЛЕВ. Портрет кобры. * Алексей ЮДИН. Едино-
рог, или Книги для своих **183**

К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.
Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.
Рукописи редакция не возвращает.
Рукопись может быть возвращена в течение года при условии предварительной
оплаты авторами почтовых расходов редакции на пересылку.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),
Н. К. ЛОШКАРЕВА (первый заместитель главного редактора),
И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (проза), **И. А. БРЯНСКАЯ** (публицистика),
А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (критика), **Е. О. СМИРНОВА** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».
Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 28.11.95.	Подписано к печати 19.12.95.	Формат 70×108 $\frac{1}{8}$.
Офсетная печать.	Усл. печ. л. 16,80.	Усл. кр.-отт. 17,50.
Тираж 24200 экз.	Заказ № 839.	Учетно-изд. л. 21,61.
		Цена 8000 руб.

Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России
и ряда стран СНГ 10 тыс. экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместители гл. редактора — 214-63-64, 214-69-37,
ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел поэзии — 214-69-37,
отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

Телефакс: 214-50-29.

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.
© «Октябрь». 1996. При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ

М а л е н ь к а я в о л ш е б н и ц а

КУКОЛЬНЫЙ РОМАН

БАРБИ МАША

Так получилось, что Барби осталась одна. Ее маленькая хозяйка выросла и уехала, игрушки, сложенные в ящик, перекочевали в чулан, потом в квартире появились новые жильцы и вынесли ящик на помойку.

И никто не знал, что Барби, лежащая на дне ящика, — волшебная.

Тут-то и появился старик, который ходил по помойкам в поисках старых вещей.

Старик когда-то был столяр и мебельщик, потом заболел, почти ослеп и все делал теперь только на ощупь.

Он распознал крепкий большой ящик на помойке, полный старых книг, сразу оттащил его к себе домой, книжки отложил в сторону, обнаружил игрушки, все аккуратно рассортировал, перетер мокрой тряпкой, рассмотрел через толстую лупу, поднося каждую вещь прямо к глазам.

Он понял, что ему привалила неслыханная удача!

Часть игрушек вполне можно было починить, приделать куклам как следует руки и головы; часть годилась только туда, откуда была взята.

А на самом дне лежала маленькая грязная кукла в ветхом платье и с гривой замусоренных волос.

Старик помыл эту куклу с мылом, окунул ее в тазик вместе с платьем и прической.

Он действовал очень бережно, он большие надежды возлагал на эту куклу, думая продать ее за бешеные деньги в субботу на рынке.

Когда она отмылась, он внимательно рассмотрел ее через свою толстую лупу.

Надо сказать, что старик в жизни не видел такой красивой игрушки, даже в детстве, — маленьким он любил играть в куклы, а вот драться и бороться не любил.

Для своей младшей сестры он сделал целый кукольный театр, и мама и бабушка тоже обязаны были сидеть как зрители.

Но все считали, что это не занятие для мальчика.

А потом началась взрослая жизнь, и его сыновья, драчливые и смешные, как щенята, возились только с машинами и танками, играли только в войну, а кукол мгновенно разбирали на составные части...

Затем сыновья женились и уехали в другие страны и там уже, наверно, стали сами стариками.

И прошла целая жизнь.

Таким образом, слепой столяр разобрал свои богатства и более-менее починил их.

Кроме того, ему нужно было привести в порядок и свою одежду, чтобы

появиться на рынке в приличном виде: оборванцу никто больших денег не заплатит, думал старик.

Он выстирал пиджак и брюки, рубашку и бельишко с носками, а когда все высохло, прогладил утюгом.

Это он умел.

Он не мог только шить, его глаза не различали иголку.

И еще он понял, что на рубашке и брюках не хватает пуговиц.

В таком виде только шататься по помойкам и собирать недоеденные корки, а не ходить торговать в приличное место, на рынок.

С такими мыслями старик заснул, а Барби вскочила с подоконника, где сохла, и нырнула в ящик с игрушками.

Она-то знала, что там лежит железная коробочка из-под леденцов, в которой еще бабушка ее девочки-хозяйки хранила иголки, нитки и всякую дребедень.

Барби подобрала пуговицы и быстро их пришила, а как — не спрашивайте, ведь она была волшебная!

Затем Барби зашила пиджак на локте, под мышкой и у карманов, подмела пол (как — не спрашивайте, это секрет, который мы когда-нибудь откроем, а может, и никогда), все прибрала и легла обратно на подоконник в ожидании дня.

Старик проснулся, была уже суббота, горестно оделся, помня о своем нищенском виде, захватил всю коллекцию уже чистых игрушек (в составе двух клоунов, шерстяного ежика, одноглазой дамы в шляпке, одного неизвестного уroda и фарфоровой кошечки), а Барби оставил почему-то на подоконнике в компании со сломанным игрушечным телефоном, который не поддавался ремонту, — и отправился на рынок, стесняясь сам себя.

Правда, он был застегнут на все пуговицы, но старик был человек рассеянный и забыл, что раньше пуговиц недоставало.

На базаре все его игрушки тут же купили небогатые люди, а просил он очень мало, и старик был рад удаче.

Идя домой, он купил молока, хлеба и жареной картошки и устроил настоящий пир.

Наевшись, он отнес кусочек хлеба и чашку молока куколке — почему, неизвестно.

Ему, наверное, было приятно о ком-то позаботиться, о каком-то еще более слабом существе.

Он даже назвал ее Машей.

Барби была счастлива.

Как известно, настоящая жизнь кукол начинается с того, что кто-то их кормит, моет, наряжает и укладывает спать.

И уже много лет эта волшебная Барби ждала, что ее найдет мама.

Но ее нашел старенький папа, что тоже было хорошо.

Когда Барби лежала на дне ящика вместе с другими игрушками под учебниками географии и истории (пятнистыми и грязными, потому что над ними проливали слезы многие дети-двоечники, не выжившие названий и дат), постепенно пятна от детских слез осели на когда-то чистеньком платье Барби, а ее чудесные волосы пропитались пылью, школьным мелом и крошками от бутербродов, съеденных в классе во время перемен и уроков.

И она уже думала, что никому не нужна, но когда ящик выкинули, тут она начала на всякий случай посылать сигналы о помощи куда-то в пространство, прося об одном: чтобы первый же утренний прохожий почувствовал непреодолимое желание заглянуть в помойный контейнер, где лежал ящик.

И так оно и получилось!

И вот теперь волшебные силы Барби заработали.

Той же ночью она поговорила по игрушечному телефону с другими Барби (телефон был сломан для всех, кроме нее).

Она нашла одну Барби, которая жила в доме доктора по глазным болез-

ням, и эта докторская Барби как-то так сумела обставить дело, что главному доктору приснился слепой старик, ходящий по помойкам с палочкой.

Когда глазной доктор весь в слезах проснулся, думая о своем умершем отце, ему вдруг пришла в голову смелая мысль: а не прооперировать ли какого-нибудь бедняка в своей клинике бесплатно?

Доктор нашел нашего старика по наводке двух хитроумных Барби и убедил его попробовать сделать операцию, сначала хотя бы на одном глазу.

Уговорить старика было нелегко, так как за свою слепоту он все-таки получал какую-то небольшую пенсию.

Но затем дед согласился, подумав, что и с этой пенсией он все равно голодает: пропадать — так с музыкой!

Все-таки очень тяжело быть слепым.

Короче говоря, операция была сделана, и старичок вскоре вернулся к себе домой без очков и новыми, свежими глазами начал осматривать свое жилище.

Он увидел дыры в полу, грязные стены и тусклые стекла.

Он стал искать какие-нибудь деньги — и ничего не нашел, зато обнаружил целый ящик своих инструментов и небольшой запас хорошо высохшего за эти годы дерева.

Старик помнил, что вроде бы все инструменты он продал в тяжелые времена — но, видать, самые мелкие и тонкие остались ждать своего часа в углу за веником.

Тут же старик надел свой прежний фартук, принялся за дело и смастерил к субботе небольшую шкатулку.

А ночью еще и Барби вскочила и разрисовала шкатулку красивыми узорами типа «ореховое пламя» — это выглядело как природные завитушки дорогого, породистого дерева.

И не успел старик, придя на рынок, вынуть из тряпицы шкатулку, как налетели покупатели.

Счастливец, вынувший деньги первым, ускакал с покупкой подальше от толпы, а остальные стали спрашивать, нет ли еще.

Зажав деньги в кулаке, старик стал обходить базар, чтобы купить пропитание, и вдруг увидел, что продаются Барбины наряды — платья, туфли и шляпки.

Он не удержался и на все деньги купил своей старенькой Барби кучу подарков, в том числе подержанную машину и зонтик.

Он так спешил домой!

Барби, разряженная как на бал, сидела теперь на подоконнике и сверкала, а старик выделывал шкатулки на продажу и помышлял построить своей кукле дом с мебелью, освещением и маленьким японским садом...

А у Барби уже был готов новый план действий.

КУКОЛЬНЫЙ ДОМ

Кукла Барби теперь постоянно сидела на подоконнике в деревянном ящичке, очень довольная.

В окно ей была видна жизнь города, мимо бегали прохожие, собаки и кошки, пролетали птицы, проходили облака.

Начиналась весна, и старый столяр (его звали дед Иван) даже иногда приоткрывал окошко, особенно когда варил клей.

Дед Иван делал по две шкатулки в неделю и продавал их на субботнем базаре, на это он и питался.

Кукла жила собственной жизнью, и дед Иван, как все рассеянные старики, ничего не замечал.

Он видел, например, что каждый вечер под окном на батарее сушатся

вчерашние одежды Маши, но считал, что так и полагается переодеваться ежедневно во все чистое, таков кукольный закон.

Он и сам был аккуратный дед.

Правда, хозяйство у дедушки Ивана было бедное, холостяцкое: две тарелки, одна кастрюля, чайник, кружка, ложка и вилка, перочинный нож, кровать, стол и два стула, комната в два окна и кухня со всеми удобствами.

Дед Иван жил так уже давно и, все больше теряя зрение, не видел, что его квартира становится местом военных действий — армия пауков против многочисленных армий мух; происходили ежедневные бои на каждом окне и в каждом углу, была разветвленная сеть шпионажа и налеты тяжелой авиации на эту сеть, а что касается трупов убитых, то ими были усеяны все подоконники.

Но, когда старику сделали операцию на глазах и он стал хорошо видеть, началось самое печальное: дед Иван, который с детства терпеть не мог пауков, вдруг обнаружил в своей квартире логово врага и расстроился.

Надо сказать, что и мух он не обожал и не выносил, когда в доме было грязно.

А тут, придя из больницы домой, он просто сел и заплакал.

У него не было возможности сделать ремонт, а как бороться с пауками и мухами, он не знал.

Наверное, нужно было пригласить бригаду маляров, а потом позвать тетку, чтобы вымыть окна и полы.

Но денег-то не было!

Дед затосковал и сказал своей куколке Маше:

— И зачем мне глаза, если я не хочу видеть это безобразие?

Надо сказать, что кукла Барби прежде всего была довольна тем, что дедушка Иван теперь хорошо видит, и на мух и пауков не обращала внимания.

Она ведь много лет жила, как в тюрьме, на дне ящика в темном чулане и могла только мечтать выбраться на свежий воздух, а когда выбралась, то оказалось, что это свежий воздух в помойном контейнере...

И для Барби после помойки жизнь на светлом подоконнике в доме деда была счастьем, пусть даже в компании сухих мух.

А когда дедушка Иван стал жаловаться, что не может жить в такой грязи и лучше быть слепым, чем видеть все это, умная Барби решила начать действовать.

Ночью она подула на своего спящего деда, и ему приснился сон, что он делает своей Барби прекрасный дом с лампами, коврами и шкапами, с красной крышей и занавесками на окнах.

Дед встал утром озабоченный и, надев свою ветхую одежку, ушел бродить, как всегда, по помойкам.

Он почему-то понял свой сон так, что этот дом надо сделать для продажи.

К вечеру дед наташил домой ящиков, тряпочек, поролона, даже раздобыл две банки белой краски — краска, правда, высохла, но дед знал, как ее развести.

Люди выбрасывают то, что может еще послужить, потому что у них нет времени на починку и восстановление испорченных вещей, но знали бы они, что через тысячу лет какие-нибудь будущие ученые раскопают городскую свалку и будут стараться склеить их битую посуду, починить их рваные носки и пиджаки и собрать порванные в клочки письма...

Итак, к вечеру дед Иван (стараясь не смотреть на углы, затянутые паутиной) смастерил дом сначала в виде огромного ящика с дырками для окон и дверей, а на следующий день он его покрасил, приладил эти окна и двери (они открывались и закрывались), сделал ванную комнату и т. д., а еще через сутки была готова уже и мебель — первый резной столик и пара стульев с такими же спинками.

Кукла Маша Барби с интересом наблюдала за этой работой и тоже незаметно помогала деду, например, сшила из старинных кружев несколько абажуров, а из старого батистового фартука прекрасные занавески и покрывало на широкую деревянную кровать, и дед с большим удивлением обнаружил в куче лоскутков, якобы найденных позавчера на помойке, маленькие кукольные подушки из разноцветного бархата — и квадратные, и круглые, и в виде валиков.

Короче, к субботе дом был готов к продаже, но дед посмотрел-посмотрел на него, полюбовался и торжественно посадил в этот дом на диванчик свою куклу Машу — и куда в результате не пошел, ни на какой рынок.

Кукла Маша Барби с большой радостью посидела за столиком, повалилась на широкой кровати, включила телевизор (дед сделал его очень умело из пластиковой коробочки, и Барби сразу стала смотреть мультфильм Диснея «Фантазия»).

Но к вечеру в доме деда по-прежнему не было ни крошки еды.

Дед заснул у себя на кровати (бедному сон заменяет ужин, это широко известно всем голодным), но Барби не спала.

Недаром она сквозь все беды и невзгоды пронесла свой игрушечный телефон.

По нему-то она и позвонила одной своей родственнице, Барби, которая жила в доме у редакторши телевидения.

Что она ей говорила, неизвестно, но на следующее утро, когда настало воскресенье, в дверь деда Ивана громко позвонили, и к нему в квартиру ворвалась шикарная дама — как раз та самая сотрудница телевидения (мало того, что ей приснился кукольный дом, ей приснился и адрес, видимо).

Она с порога громко закричала — как будто дед Иван был глухим, как пень:

— Алло, я ищу таланты!

— Да, — ответил дед Иван, аккуратно одетый, причесанный и умытый и даже уже позавтракавший кружкой горячей воды.

Дама так же громко объявила, что дед будет участвовать в конкурсе, где объявлен большой приз.

Затем она отстранила деда Ивана с порога и устремилась к окну, где среди паутины на широком подоконнике стоял и сверкал дом куклы Маши.

Дама ахнула и, как маленькая девочка, опустилась на колени перед подоконником, стала трогать и передвигать мебель, разглядывать занавески, подушечки и картины в красивых рамах.

Барби она не заметила — мало ли Барби на свете!

У дочери редакторши была целая рота Барби, тридцать четыре души. Но вот такого домика дама не видела никогда в жизни. Как прекрасно были сделаны шкафчики со стеклянными дверцами, резные стулья и диваны с бархатной обивкой!

Как хотелось жить в таком доме!

Дама грубо вытащила Барби Машу за голову и положила ее на голый подоконник вверх ногами, чтобы рассмотреть кукольную кровать с деревянным изголовьем.

Разумеется, дед Иван тут же обиделся, взял свою Машу на руки и хотел выгнать нахальную редакторшу, но она внезапно рывкнула:

— Все! Я это беру! Это мне нравится!

— А мне не нравится, — тихо ответил дед.

— Так! — продолжала орать редакторша. — Только у вас жилье никуда не годится! Я вам сегодня пришло своих ребят, они тут сделают декорацию, приколотят новые временные стенки, вставят другое окно, там будет искусственный фонарь. Так... На пол постелим вам кусок нового паркета. А то тут как в свинюшнике.

С этими словами дама выскочила вон, а расстроенный дед начал приводить в порядок домик, в котором как будто ночевала рота солдат — стулья

были повалены, картины и часы висели криво, телевизор лежал вниз экраном, а кровать была перевернута вверх дном.

Приведя все в порядок, старик ушел бродить по помойкам и к вечеру притащил, очень довольный, целый ворох сухих старых дощечек.

Он ничего не ел уже два дня, но ему было не привыкать к такой диете, он чувствовал себя неплохо, прихлебывал горячую воду из чашки и возился со своими деревяшками.

На следующий день утром в квартиру ворвалась бригада декораторов с телевидения, вооруженная щитами, кистями и банками с краской.

Но — неожиданно для себя — вместо того, чтобы строить декорацию, они стали быстро красить потолки и стены, рамы и двери.

После чего к вечеру бравые ребята вымыли окна, оттерли паркет каким-то химическим составом, похлопали очумевшего деда по плечу и удалились, горланя насчет скорейшей выпивки.

А дед переживал это местное землетрясение, сидя со своим домиком, обернутым в газеты, на лестнице среди убогих пожитков.

Барби, находившаяся внутри своего домика, в оболочке из газет, была очень довольна, что ребята ее послушались и все как один решили, что им все равно — то ли устанавливать декорации (которые потом надо еще и снимать), то ли делать ремонт.

Одного Барби не учла — что дед ходит голодный.

Увлечшись устройством жилья для Маши, он перестал делать шкатулки, и деньги у него кончились.

Но, поскольку сам дед давно привык к голоду, он запрещал себе даже думать о пище, и Барби Маша, умевшая читать мысли и мечты, тут ни о чем не догадалась.

Однако, как бы то ни было, наавтра наступил торжественный день съёмки.

Приехало множество народу, на полу лежали провода, всюду слонялись какие-то бездельники с молотками, наушниками и кабелями, редакторша орала, потрясая бумажками с текстом, про домик все как будто забыли — взоры присутствующих и глазок видеокамеры были прикованы к пустому подоконнику.

Наконец была дана команда снимать.

Оператор нацелил объектив прямо в рот редакторше, которая произнесла длинную речь, сидя в красивом кресле, привезенном со студии.

Два часа снимали редакторшу на фоне окна, за которым сияло фальшивое солнце (умельцы прикрепили снаружи фонарь, потому что на экране телевизора все всегда должно выглядеть так, как в раю при вечном свете дня), потом все переругались, оператор то и дело прекращал съёмки, редакторша два раза рыдала и один раз сменила платье, гример пятнадцать раз пудрила ее и один раз — попутно — дедушку Ивана, который сидел в углу, бледный и голодный, всеми забытый.

И только когда все было закончено с редакторшей, наконец вывели из угла и пять минут снимали столяра, потом включили освещение в домике на всех этажах и на чердаке и три минуты снимали домик.

Дом сиял огоньками, откуда-то заиграла чудесная музыка, как будто завели музыкальную табакерку, кукла Барби Маша сидела за столом в кресле в теплом стеганом халатике и домашних тапочках и читала очень маленькую книжку у совсем маленького подсвечника с крошечной горящей свечой.

Вся буйная команда телевизионщиков притихла, оператор вдруг припал на колени и пополз вдоль домика.

Когда съёмки закончились, редакторша зевнула и сказала деду Ивану, что неизвестно, кому дадут приз; у них в программе много сюжетов об умельцах.

— Один человек даже построил своими руками летающий самолет, а другой макаронную фабрику на кухне,— сообщила она, собирая свои

бумажки, — и все решат зрители, они будут звонить в студию во время передачи.

И вся команда умчалась, как уходит ураган или волна цунами.

В только что отремонтированной квартире был полнейший разгром.

Усталый и голодный дед Иван плюнул и удалился вон, прихватив свою бывшую слепецкую палочку и черные очки.

Он давно наметил себе место в одном подземном переходе, еще до операции, на черный день, он тогда решил, что встанет там и будет стоять с протянутой рукой, ежели совсем дойдет до крайности.

И доведенный до крайности, голодный и слабый дед пошел просить милостыню, стесняясь сам себя, но до подземного перехода не добрался, упал в обморок от голода.

Столпились люди, кто-то сказал: «Вот так и помирают», — кто-то вызвал «скорую», и через час деда подняли и отвезли в больницу, в приемный покой.

Врач запросто привел его в сознание, давши понюхать нашатырный спирт, ядовитую ватку, от которой перехватывает дыхание.

Но никто не догадался его покормить, а сам дед ничего не сказал.

Его оставили еще немного полежать — для контроля, — а сами сели пить чай в соседней комнате.

Дед валялся на больничной кушетке, в животе его бурчало и завывало от голода, а рядом звенели ложками, посудой, что-то резали, ели (а что, врачи тоже люди).

Одновременно работал телевизор.

По телевизору вещал какой-то резкий, очень знакомый женский голос.

И вдруг врачи задвигали стульями, заговорили и вышли в коридор, где начали названивать по телефону.

— Алё! Это телевидение? — закричал кто-то. — Плохо слышно! Мы, врачи «скорой помощи», решили присудить приз кукольному дому! Нас тут шестеро, и все «за». И вам спасибо.

Дед Иван вскоре был поднят медсестрой, которая проверила его пульс, давление и сказала:

— Дедушка, не болей. Питаться надо лучше, и все. Иди с Богом.

И дед Иван побрел домой.

У его дома опять дежурил телевизионный автобус.

Собралось даже несколько зевак.

Дед вошел в свою разоренную квартиру, ожидая увидеть полный тап-рап-рам.

Но он застал там порядок, стол даже был накрыт скатертью, пол оказался чистый, а домик горел всеми своими огнями.

В комнате сидела вся телевизионная команда, и редакторша барабанила пальцами по столу.

С криком «Вот он!» редакторша схватила деда Ивана, усадила его в телевизионное кресло, и начались съемки.

— Вы довольны, что получили такой большой приз? — спросила редакторша криливо.

— Какой приз? — удивился дед Иван.

— Вы получили главный приз нашего конкурса — королевский торт! — заорала редакторша, глядя мимо дедушки прямо в объектив видеокамеры.

— Ну спасибо, — сказал дед.

Тут же (видимо, из кухни) внесли торт размером с круглый обеденный стол.

Оператор стал передвигаться вдоль торта, как вдоль забора, снимая сверкающую корону, башни из крема, розы из взбитых сливок, шоколадные домики и груды засахаренных орешков у основания.

Редакторша занесла над этим сладким городком огромный нож, у деда Ивана завывало в животе и потемнело в глазах, но он сдержался и пошел ставить чайник на всех.

Когда он возвратился, телевизионщики уже доедали, видимо, по третьей порции, судя по разоренному торту, вокруг стола царило безумное веселье (видимо, работники эфира тоже изголодались).

Но дед Иван, прежде чем приступить к еде, отрезал небольшой кусок торта у самой короны и отнес его в кукольный домик, где поставил на стол перед своей Машей.

И она благодарно кивнула ему в ответ, чего никто в мире не заметил.

ТЕМНЫЙ ЛЕС

Однажды вечером Барби сидела и играла на своем игрушечном рояле, который ей дед нашел опять-таки на помойке, теперь уже около студии «Союзмультфильм».

Видимо, когда-то этот музыкальный инструмент был сделан для кино, а теперь рояль был весь раскрыт, и струны в нем очень дрожали, но дед Иван починил, подвинул где надо, закрыл его новой красивой крышкой из карельской березы, и Барби Маша вечерами играла на нем прекрасные вещи — вальсы великих композиторов Иоганна Штрауса и М. Мееровича.

Барби, в частности, играла свою любимую вещь — знаменитый вальс Михаила Мееровича из мультфильма «Цапля и журавль», не подозревая, что ее ждет страшная ночь.

И ночь действительно настала, а дедушки Ивана все не было.

Надо сказать, что запас дерева, который сохранился в его квартире с прежних времен, подходил к концу, и дед Иван рыскал по помойкам, стройкам и рынкам в поисках старых досок и негодной мебели — из этого великолепного, сухого материала он и выделывал все свои кукольные шкафчики, креслица и комоды.

И вот теперь он решил и на целый день поехал на автобусе в ближайший лес за поселком Восточный; дед решил поискать березовые наплывы на старых пнях — небывалое по красоте дерево для шкатулок.

Из него получались дощечки, похожие по рисунку на павлиний глаз.

И стояли такие шкатулки довольно дорого.

Одна такая шкатулочка освещала собой весь дом: правда, ее надо было еще и отполировать, чтобы она сверкала, как свежий мед.

Дед Иван это умел, оставалось только разыскать такой неприметный пенек, где мог громоздиться уродливый, как носище застарелого пьяницы, нарост, который для знатока был прекрасней цветка розы.

За этим он и поехал.

И вот погас последний свет длинного весеннего вечера, а дедушка Иван все не возвращался.

Барби аккуратно сложила ноты, погасила свою крошечную свечу в подсвечнике дедушкиной работы, посмотрела, который час (дед сделал из маленьких дамских часиков для своей Маши большие столовые часы, которые стояли у нее в домике на полу в гостиной и отбивали время на мотив «Светит месяц, светит ясный»).

На часах было уже девять часов пятьдесят минут.

В это гиблое вечернее время автобусы ходили редко, один раз в час, да и деду совершенно нечего было делать ночью в лесу.

Возможно, он заблудился.

Но и заблудиться в редком пригородном лесу довольно трудно.

Правда, тот лес, в который навострился ездить дед, был объявлен заповедником, но это никому не мешало там гулять, дрессировать собак, бросать пустые бутылки и консервные банки, а также стрелять из рогаток по воронам, так что это был совершенно пустяковый лесок.

И по всем признакам дед должен был вот-вот приехать.

Но он не приезжал.

Барби села в свою розовую машину и помчалась на конечную остановку автобуса встречать дедушку Ивана.

Барби ведь была волшебница и поэтому ездила на своем скоростном автомобиле по улицам совершенно свободно, никто ее не замечал.

И на остановке она увидела, что подошел последний автобус из поселка Восточный, с которого сошли: семейка с ребенком, бабушкой и пуделем, затем пьяный человек в сопровождении двух женщин, которые его вели молча, временами встряхивая, а он громко беседовал сам с собой на политические темы; кроме этого, из автобуса вышла молодая пара с магнитофоном, и на тихой автостанции, заглушив вопли пьяного, лай пуделя, плач ребенка и советы бабушки, запели «Битлы»: «Мишел ма бел».

Барби догадалась, во-первых, что сегодня воскресенье (только по воскресеньям из поселка Восточный приезжают такие празднично настроенные пассажиры), и второе, что дедушка Иван не успел на последний автобус, а от поселка Восточный в воскресенье вечером больше не ходит ничего.

И Барби на своей маленькой машине пустилась в далекий путь в поселок Восточный, в заповедный лес.

Разумеется, она не рассчитывала, что может довести деда Ивана оттуда домой, но ей надо было знать, где он и что с ним.

Приехав на конечную остановку автобуса в поселок Восточный, она нашла там только двух собак, которые ругались из-за кости.

К сожалению, Барби понимала язык собак и смутилась.

Собаки вели себя, как иностранные туристы в чужой стране, где никто их не понимает, и совершенно не стеснялись в выражениях.

Одна из собак прокричала:

— А чтоб ты оказалась в капкане, сука, где подох твой седьмой муж дядя Тузик!

Барби тут же на вежливом международном языке спросила, где этот капкан.

Собаки не растерялись, прижали кость каждая одной лапой и дружно показали другими лапами направление.

— А кто ставит этот капкан? — спросила Барби на международном языке.

Собаки ответили громким и возмущенным лаем, что ставит этот капкан малый по кличке Чума, ему уже двенадцать лет, и пять лет от него нет никакого спасения.

У парня три рогатки, капкан и мама-пьяница, которая одобряет поведение сына и охотно варит суп из голубей, а то и из собак, так как в доме нечего есть, она все пропивает.

Барби помчалась в указанном направлении (собаки, разумеется, побуждали ее провозжать, причем одна из собак скакала с костью в зубах, окончательно победив), и скоро на своем маленьком автомобиле, который умел ездить и без дороги, она доехала до места, где мальчик по кличке Чума обычно ставил свой капкан.

Дедушка Иван лежал там без сознания с капканом, замкнувшимся у него на руке — это был как бы металлический браслет с острыми крючьями внутри.

Рядом с дедом валялась его сумка, в которой находилось что-то бугристое.

Видимо, дедушка нашел большой наплыв на пне, провозился с ним дотемна, отпиливая свою драгоценную находку, и не заметил, как задел капкан.

Барби мгновенно освободила деда, подула на него, достала из воздуха крошечный пузырек с ярко-зеленой, светящейся во тьме жидкостью (это была волшебная зеленка) и смочила им окровавленную руку деда.

Дедушка Иван глубоко вздохнул и, кряхтя, встал на ноги.

— Гм-гм, — сказал он сам себе. — Угораздило споткнуться.

Он даже не понял, что был ранен и пролежал на земле несколько часов.

Дед Иван поднял с земли свою сумку и, пошатываясь, побрел неведомо куда в темноте.

Разумеется, Барби Маша не показала ему, она стояла в стороне, но попросила обеих собак довести деда до поселка.

Собаки с радостью (одна из них не выпуская кости изо рта) побежали вперед, оглядываясь, и дед почему-то пошел следом за ними.

А вот Барби никуда не делась, она молча стояла и ждала.

Вскоре послышался топот, и к месту происшествия прибыл сам охотник, мальчик по имени Чума, которого боялись все собаки, птицы и кошки поселка Восточный.

Осмотрев пустой капкан, мальчик Чума громко выругался и тут же неожиданно для себя превратился в лису.

Растерянно повертевшись на месте, новоявленная маленькая лиса мигом угодила в капкан и громко завопила.

Капкан прокусил лисе ее тонкую ножку.

Барби продолжала стоять под ближайшим деревом.

Тут опять раздались шаги, на этот раз тяжелые и неуверенные: это поспешала вслед за своим сыном-охотником его мамаша, прозвище которой было Шашка.

Шашка ворчала:

— Есть он хочет! Я т-тебе дам воровать у матери! Я тебя знаю, где ты есть! Я т-тебя поймаю! Кто взял цельную селедку?

С этими словами Шашка выбралась на небольшую поляну, где скулила молодая лиса, попавшая в капкан.

Увидев мать, лиса издала крик радости и, волоча ножку с капканом, потащила к Шашке со стонами.

Барби хорошо поняла, что кричал лисенок:

— Мама, мама! Как хорошо, что ты меня нашла! Помоги мне! Мне больно!

Мать же по имени Шашка бормотала:

— Ща я тебя поймаю... Шкуру сворочу... Мясо сварю...

Неуклюжими, непослушными пальцами она открыла капкан, вытащила лисенка и стала ругаться:

— Одна кожа да кости! Чё тут варить? Шкура драная — и все! Шею тебе свернуть — и все!

Она бросила лисенка оземь (лисенок взвизгнул) и снова привела в боевую готовность капкан, довольно умело для своих толстых пальцев.

После этого она повернулась уходить.

Лисенок завопил:

— Не бросай меня, мама! У меня льется кровь! Я подохну здесь!

А мама его громогласно выругалась и сплюнула, вытирая окровавленные руки о куртку, но тут же превратилась в большую волчицу, грязную и драную.

И, как все волки, она быстро нанюхала кровавый след лисенка.

С ворчаньем большая грязная волчица кинулась к лисенку, который, скуля, пытался отползти, и уже разинула над ним свою жадную пасть...

Но немедленно угодила лапой в капкан!

И, забыв обо всем, она завывала:

— Ой, пустите, ой, как больно, да за что же мне такая жизнь собачья!

А раненый лисенок отвечал ей жалобным визгом:

— Мама, мама, ты меня не узнала? Мама, я погибаю.

— И я погибаю, сынок,— отвечала хрипло старая волчица.— Ой, больно, больно!

— Мама,— вопил лисенок,— ты же меня чуть не съела!

— Откуда же я знала, что это ты?

— Мама, давай я тебе помогу,— пищал лисенок.— Я зубами открою капкан.

— Помоги, помоги маме, сыночка,— хрипела волчица.— Иди сюда!

— А ты не съешь меня, мама? — спрашивал лисенок, подползая.

— Ой, съем, съем, сынок,— плакала волчица.— Я съем тебя, не ходи.

Но лисенок, скуля, все-таки подполз к волчице и уткнулся в ее теплый грязный бок, а она, плача, стала вылизывать его больную, раненую ножку.

Затем они вдвоем дружно начали грызть капкан.

И этот капкан, который был сделан прочно, на добрый десяток лет, вдруг сломался.

Волчица взяла в пасть загривок лисенка и, хромая, потащила его куда глаза глядят.

Лисенок верещал:

— Как это больно — попадать в капкан!

— Теперь мы звери с тобой, сынок. Куда нам деваться? На нас все будут охотиться. Мы пропали.

— Мама, а мы с тобой и были звери. Если бы я тебе принес мертвую волчицу и лису, ты была бы рада?

— Была бы, сынок. Я бы их сварила.

— Мама, как бы я хотел снова стать человеком, мамочка!

— Я бы тоже хотела стать человеком, я давно хочу стать человеком, но я уже не человек, сынок! Я зверь, сынок. Прости меня, сынок.

А маленькая Барби Маша слушала этот их разговор и вдруг молча кивнула.

И тут же Шашка и Чума оказались на лесной тропинке вдвоем, причем Шашка, хромая, несла сына на руках.

Шашка говорила:

— Чтобы больше никаких капканов, сынок. Я завтра же устраиваюсь на работу, пойду уборщицей в столовую. Там висит объявление, требуется уборщица. Там нас будут кормить. Ты вернешься в школу. Годится?

И маленький, худой Чума, повиснув у нее на шее, отвечал:

— Годится, мама. Я хочу пойти в школу летчиков.

— Ну вот, это ты правильно решил. Тебя бы подкормить, ты бы поздоровел. В летчики берут ведь здоровых, понял?

И так, мирно беседа, мать и сын продвигались домой.

Они даже не заметили, как зажили их раны, и мамаша все так же несла своего худого Чуму на руках, а он все так же прижимался к ней, как младенец.

Тут же Барби села в волшебную машину и догнала деда Ивана, который довольно бодро в сопровождении двух собак пришел в поселок Восточный, как раз когда последний, откуда-то взявшийся дополнительный автобус собирался отъезжать от остановки.

Дед Иван, войдя в автобус, кое-что вспомнил и успел бросить в закрывающуюся дверь на асфальт два куска хлеба из своей сумочки.

И благодарные собаки приступили к ужину, заботливо оставив кость рядом для дальнейших переговоров.

А Барби быстро, раньше деда, приехала домой и тоже приготовила ужин: макароны с томатным соусом и компот.

Дело в том, что по дороге домой, трясясь в автобусе, дед вдруг замечтал о теплых макаронах и даже подавился слюной, однако тут же строго запретил себе это.

Но кукла Маша сразу обо всем догадалась.

Придя домой, дед Иван быстро пошел на кухню ставить горячую воду на ужин, увидел макароны, поразился, как он мог забыть, что сам же себе их приготовил еще утром и завернул в полотенце (они до сих пор были теплые!).

Быстро справившись с кастрюлей макарон, дед Иван вытащил из своей сумки березовый нарост, зажег настольную лампу и сел размышлять над своим сокровищем.

Барби Маша подумала, что этот нарост чем-то похож на лицо одной бывшей пьяницы по имени Шашка...

МАСТЕР АМАТИ

Прежде чем продолжать историю волшебной куколки Барби Маши, расскажем о том, как она появилась на свет.

Жил-был (и сейчас живет) великий мастер Амати, который прославился своими скрипками и виолончелями.

Несколько веков назад он перебрался в заоблачные высоты Гималаев, в хрустальный дворец, закрытый для посетителей, — и там продолжал делать свои скрипочки, виолончели и гитары (вы наверняка их видели в магазинах с маркой калужской мебельной фабрики, но не верьте — все инструменты мира идут через руки Амати, поскольку музыка предназначена для счастья и слез, а этим как раз заведует Амати. А если счастья не получается, одни слезы — то надо винить только себя, на этом точка).

Короче говоря, мастер Амати был очень занят, но раз в двадцать лет он находил время и покупал себе игрушки, а зачем, узнаете попозже.

Раз в сколько-то лет он спускался с гор на лифте, навещал самые большие магазины мира и не единожды залетал в Москву на площадь Дзержинского.

Он подбирался к прилавку, робко указывал продавцу на новейшие игрушки и спрашивал: «А это что? А это зачем?»

— Дедуля, — терпеливо отвечала ему молодая продавщица, украшенная черными кудрями, — во дедуля дает, ничего не тумкает! Это зелененькое — это, дедуля, танк, понял? А это блестящее — горн пионерский. А это красненькое — это знамя юных ленинцев, а это ведро с граблями для песочницы, а это кукла Катя шагающая. Вы, дедушка, случайно не с луны рухнули? Как герой двенадцатого года прям...

Смущенный мастер Амати, извиняясь, скупал все игрушки подряд и садился в свой хрустальный лифт тут же около прилавка, даже не ожидая, чтобы продавщица отвернулась.

Та не моргнув глазом прослеживала исчезновение покупателя и утомленно говорила: «Думал, думал и дунул».

Однажды, правда, мастер, еще не успев улететь, увидел сквозь ящики в углу (его взор легко пронзал дерево, гранит и железобетон) полудохлого новорожденного крысенка. Его только что выкинула из гнезда мать, старая магазинная крыса.

Мало ли бывает таких ошибок природы, когда мамаша не желает кормить ребенка!

Иногда это случается и среди зверей, и хорошо еще, что крыса не слопала крысенка.

Мастер Амати не стал терять времени и тут же превратил его в довольно крикливого младенца, который начал вопить, как сирена «скорой помощи».

Продавщица навестила уши, вздрогнула, кинулась на крик и, со страшной силой расшвыряв деревянные ящики, сразу и безошибочно нашла в углу ребеночка, маленького, но зубастенького, завернула его в подол своего халата и вызвала по телефону 01, 02 и 03 сразу все экстренные службы, а затем встретила милицию, «скорую помощь» и пожарников горячими словами: «Я бы такую мать расстреляла».

Мастер Амати проследил за тем, как ребенка унесли, и горячо пожелал ему вслед, чтобы этот потомок нерадивой крысы мог защищать себя в любых обстоятельствах.

(Кстати говоря, мастер, скажем честно, много раз впоследствии жалел о таком своем подарке новорожденному, но об этом позже.)

Однако ему пришлось время возвращаться в заоблачный дворец, и прилететь в любимый магазин он смог только через много лет.

Он радостно встретился с той же продавщицей (за это время она стала золотистой блондинкой и бабушкой), набрал целую гору игрушек, а затем, волнуясь, мастер Амати вызвал к прилавку того самого младенца.

Насколько мастер Амати помнил, это должна была быть девочка.

Девочка появилась, это была довольно уже бывалая девочка лет двадцати, без переднего зуба, в черных очках по причине синяка под глазом и в зимних сапогах на босу ногу.

— Ой, опять ты синеглазая, Валька, — укоризненно сказала блондинка-бабушка (оказалось, они знакомы), — вот ты пришла, ты что, должок принесла?

— Всем, кому я должна, я прощаю, — сказала Валька и случайно икнула. На этом она попыталась уйти, но сапоги как приросли к полу.

Нервничая, продавщица сказала мастеру Амати:

— Дедуля, забирай свои игрушки, мне поговорить надо.

Тогда Валька пошутила:

— Забирай свои игрушки и не какай в мой горшок, стихи! Слушай, командир. — Это она уже обратилась к мастеру Амати. — Граждане, помогите кто сколько может, я вышла из больницы больная, украли паспорт, выбили зуб, подбили глаз... Помогите, граждане, кто сколько может на пропитание круглой сироте.

— Во загинает! — воскликнула продавщица-блондинка. — Сама от родителей ушла, ребенка бросила, еле нашли... На помойку вынесла, во как! Хорошо, за ней приглядывали. Она у нас работала тут. Убирала. Конечно, ее сразу уволили за такие дела.

Тут между слегка распухшей Валькой и золотистой пожилой блондинкой начался разговор, в котором мастер Амати не понял ни слова, однако ему захотелось как-то прервать эту беседу, больше похожую на лай, и он придумал: достал из кармана пачку местных денег и протянул Вальке.

— Оп-па! — сказала она, ловко пряча их за пазуху. — Пойти билет купить на поезд на родину да две бутылочки лимонаду в дорогу.

При этом она все так же стояла на месте, покачиваясь, и никуда не уходила, к своему удивлению.

Мастер Амати, не обращая на нее внимания, начал складывать игрушки в большой ящик и готовиться к отправлению в Гималаи.

Валька тихо покачивалась, проверяя, можно ли сдвинуться с места, и докачалась до того момента, когда мастер Амати шикарным жестом пригласил ее тоже отправиться в ящик, и она мгновенно нырнула туда, не успев опомниться, и исчезла.

Продавщица в это время поперхнулась, взмахнула кулаком, ее прошибла слеза — а у прилавка уже никого не было. Только стоял легкий запах то ли сирени, то ли керосина.

— Во аксакал чумовой! — произнесла продавщица, и на этом мы ее оставим.

А между тем Амати в своем хрустальном дворце в желтом зале распаковывал игрушки и разглядывал их.

Увидев Вальку (она лежала среди коробок и сладко спала), мастер призадумался, сравнил спящую с куклой Барби, которая улыбалась из своей упаковки, — и принял решение.

Валька буквально за мгновение приобрела синие глаза, хотя собственные у нее были мышиноного цвета, получила свежий цвет лица, белозубую улыбку и золотые кудри куклы Барби, а также туфельки на высоком каблуке, синий костюм в белую полоску и сумочку такого же цвета.

Она лежала и спала, широко раскрыв глаза, ничего не подозревая, в своем новом виде, а потом вдруг проснулась, со стоном сплюнула, полезла в рот двумя пальцами проверить сломанный зуб — и вдруг охнула:

— Командир? Ты чё? Я где?

Она неуверенно вылезла из коробки, бормоча ругательства, раскидала по пути игрушки, выпрямилась — и вдруг рассмотрела на себе синий в белую полоску костюм, синие туфельки... Разглядела синюю сумочку... Оглянулась, ища зеркало... Все стены в желтом зале были зеркальные, из золотого камня топаз.

Она увидела свое розовое, чистое личико, свои огромные голубые глаза... Потрогала золотые кудри... Причем она против своей воли все время улыбалась!

Единственное, что от нее прежней осталось, — это мелковатые остренькие зубы. Видимо, происхождение истребить было невозможно.

— Э... алё, гараж... — начала она неуверенно, улыбаясь и глядя на себя безотрывно. — Это кто, я? Это я? Во блин!

— Это ты. Ты будешь у меня работать секретарем, ясно? — строго сказал Амати. — Будешь перепечатывать мои книги. Я понял, ты вылитая секретарша директора того магазина, где я покупал игрушки. Я же вижу сквозь стены. Она там, за стеной, сидела и печатала.

— Ну ты, на выхлопе, ты чё? — сказала Валька Барби, помимо своей воли нежно улыбаясь. — Я вообще по жизни пишу с ошибками, я из школы ушла в четвертом классе, несправедливо поступили со мной. Это как?

— Ничего, мой компьютер не допускает ошибок, — ответил Амати. — А ты наденешь очки.

И Барби Валька сразу оказалась в шикарных очках: вылитая деловая девушка.

— Бригадир, — сказала Барби, — но я много пью и курю.

— Ничего этого не будет, — успокоил ее Амати. — Приступайте к своим обязанностям.

И Валька Барби очутилась за клавиатурой огромного, во весь зал, печатного устройства, на экране которого пошли мелькать страницы.

А сам мастер занялся важным делом: он вдыхал в игрушки волшебные души.

От него уходили в мир добрые плюшевые медведи — подушечные утешители, навевающие сон; заводные танки — защитники котят; телефоны, мгновенно соединяющие с кем захочется, если ты сидишь один и все ушли; скакалки, с которыми бедные неходячие дети когда-нибудь научатся прыгать; вертолеты и парашюты, на которых можно спастись от пожара, вылетев из окна, — и так далее.

Последней ушла вниз, к людям, кукла Барби Маша.

Мастер Амати посмотрел ей вслед и подумал, что она сможет помочь всем, кому захочет, но ничем и никогда не сможет помочь себе.

И ее поэтому (вздыхнул он) ждут интересные приключения.

А новая секретарша Валька Барби проводила всю эту армию игрушек довольно завистливым взором и продолжила работу над главным производством Амати «Как сделать скрипку», том первый, второй и так далее до десятого.

Одновременно она печатала книгу для добрых волшебников «Несколько секретов» в пятнадцати томах и труд «Борьба со злом путем добра», выпуск двадцать пятый.

И пока Барби Валька все это печатала, яростно сверкая очками, Барби Маша уже там, на земле, с улыбкой шла в руки своей первой хозяйки, взрослой девочки, которая проснулась в день своего пятилетия и тоненькой рукой нашарила у кровати пакет с подарками...

ВОЛШЕБНИЦА ВАЛЬКИРИЯ

Мастер Амати, глядя на свою секретаршу Валечку Барби, думал о том, почему она такая выросла: то есть зубов не чистила, не умывалась, не причёсывалась, грамоты не знала, зато хорошо различала слова «водка» и «сигареты».

Кроме того, она поступила точно так же, как в свое время ее мамаша-крыса: бросила собственного ребенка.

Возможно, что и ту мамашу покинули ее крысиные родители: чего только не бывает в мире животных!

Может, это у же была такая наследственность.

Мастер Амати решил поддержать на всякий случай Валечку при себе — мало ли чего еще могла натворить эта крыса, находясь среди людей!

А так, сидя за компьютером, она набиралась ума-разума и даже иногда (это было заметно) с непонятным огнем в глазах слушала мастера Амати, особенно когда он сочинял книги по вопросам волшебства.

Он не учил ее чистить зубы — куклам это необязательно, он надеялся, что Валька будет брать пример с него, своего воспитателя.

Это лучший способ обучения, как всем известно.

Но время от времени мастер Амати вспоминал свою куклолку Барби Машу и говорил секретарше Валечке:

— Она в отличие от других делает много добра. Я люблю ее и жалею, потому что она не способна себя спасти. А я очень занят. Я не могу ничем ей помочь, так я решил. Однажды я уже кое-кому крупно помог (тут он выразительно смотрел на Барби Валечку, в ответ на что она улыбалась, показывая мелкие острые зубы) — и вот теперь сижу, опасаясь последствий...

Барби Валечка пожимала плечами, лучезарно улыбаясь.

А мастер Амати продолжал:

— Но сейчас я за тебя более-менее спокоен, ты очень поумнела, я надеюсь.

Секретарша Валечка, вылитая кукла Барби, сияла (мелкие зубки, большие очки), и мастер был доволен.

Однако как-то раз, пробудившись от ежегодного зимнего сна, мастер Амати не нашел Валечки за компьютером, не нашел ее и в Гималаях вообще.

Вместе с секретаршей исчезли пятнадцать томов книги «Несколько секретов», которая была предназначена для добрых волшебников.

Но, поскольку мастеру Амати еще не пришлось закупать новую партию игрушек, он не стал спускаться с гор ради одной глупой крысы, а вместо этого продолжал делать великую скрипку для мальчика, который недавно родился в горах Урала и пил пока что кефир из соски.

А Валька (она придумала себе новое имя, Валькирия) с шумом и визгом, как ракета, приземлилась на родине, в Москве, в районе Арбата, однако никто этого не заметил, так как там же работало три экскаватора, асфальтоукладчик, два бродячих театра, переносной цирк, два фотографа с обезьянками и три с удавами и небольшой рынок по продаже котят.

Валькирия, вставши на ноги, подумала и для удобства приняла вид вороны (тебя никто не замечает, а ты видишь все), а книги, украденные у Амати, она предварительно, еще в Гималаях, обратила в сухую корку, после чего отправилась на чердак и села изучать эту сухую корку, долбя ее клювом.

Корка оказалась какая-то гранитная, на долбежку ушло много времени, тем более что голова у ворон небольшая, много вместить не может.

Короче, когда ворона Валькирия опомнилась и превратилась в человека, даже не посмотрев на себя в зеркало (что будет, то будет), — она оказалась довольно полной тетенькой пенсионного возраста, с подбородком как у пеликана, без переднего зуба, с редкими волосами, однако в глазах ее горел огонь, как у нашей кошки Муськи, когда она видит птичку.

Огонь горел, поскольку Валька выработала четкий план: отомстить мастеру Амати, который продержал ее в хрустальном дворце в Гималаях всю молодость, зрелость и полстарости, причем без друзей, без гостей, ни тебе бутылки, ни сигареты, ни подраться, ни помириться, ни полюбить, ни разлюбить — ничего! Только работа и учеба, книги и прогулки, умные беседы и спорт, кошмар собачий.

Валькирия мечтала о многом — и отобрать у него хрустальный дворец, самой поселиться в нем, — но тут же она мечтала взорвать этот хрустальный дворец к шутам, а самой в простоте жить в больничном подвале в Сокольниках, в хорошей компании слесарей-сантехников, электриков и собак.

Потом она запланировала стать вечно молодой, но, с другой стороны, ей было, как всегда, лень стирать носки и чистить зубы, причесываться и т. д., а с пожилой тетеньки какой спрос: хоть и вообще без зубов и три волоска на

лысине, ходи не умывайся, никто не заметит. Это молодых все учат кому не лень, а старость уважают.

Остальное только сладко мечталось: власть над миром, над вселенной и т. д.

Итак, она стояла на крыше и смотрела вниз, на человечество, которое копошилось у нее под ногами. И обратила внимание на полноватого молодого мужчину: он, не отходя от киоска с мороженым, ел порцию за порцией, даже не утираясь.

Что-то в этом человеке было нехорошее.

Ворона спикировала на сквер, приземлилась в виде симпатичной дамочки с сигаретой в зубах и, толкнув мужчину локтем, спросила первое попавшееся:

— Штой-то ты лопаешь столько мороженого?

Он злобно ответил:

— А ты сколько выкуриваешь в день сигарет?

Валькирия, думая его поразить, еще более злобно ответила:

— Сто!

— Ну и вот. А я ем всего восемнадцатый стаканчик, — возразил этот необыкновенный по ядовитости мужчина.

Валькирия собрала все свои познания и стала просто красоткой, глаз не отвести.

Но мужчина отвернулся, проглотил сразу полстаканчика и полез в киоск за новой порцией, причем крупно поскаandalил с очередью.

«То, что мне нужно», — подумала Валькирия.

Когда он, отвернувшись, стал грызть следующий стаканчик, она зашла к нему с лицевой стороны и сладко сказала:

— Ты можешь оказать мне услугу? Будь моим секретарем!

Он ответил, жуя:

— Такое я даже родной матери бесплатно не сделаю. А у меня матери отродясь не было. Встретил бы ее, пристрелил!

— У меня тоже! У меня же тоже родной матери не было! — вскричала бывшая Валька, вспомнив своих приемных родителей, школу, все эти умывания-причесывания, уроки, скандалы и прочее безобразие.

— Ну и вали отсюда, пока по шее не дал! — сказал молодой мужчина и пошел опять к киоску.

Тут Валька предложила:

— Пойдем в ресторан, возьмем два кило мороженого, поговорим.

— Отвали, — сказал мужчина.

— Слушай, а чего тебе хочется? — прямо спросила Валька.

— Черта собачьего! — ответил он.

Тогда Валька, ни минуты не медля, подошла к нему в образе черта: т. е. рога, хвост, рыло, плащ и беретка с пером.

Все-таки она недаром, живя у Амати, смотрела телевизор все вечера и выходные, вместо того чтобы читать, как ей советовал добрый Амати, — так что она живо вспомнила оперу композитора Гуно «Фауст», где как раз действовал черт в таком наряде, звали его Мефистофель.

Гражданин с мороженым нимало не испугался и тут же злобно предложил нечистому свою душу, а взамен хотел себе власть над миром. Но при этом требовал какой-то договор, чтобы подписать его кровью.

Там, в опере «Фауст», тоже был такой же тип.

Валька не растерялась, пригласила его во двор на скамейку, а сама по пути выудила из лужи мокрую обертку от мороженого: вполне подходящий материал для договора.

На скамейке она протянула мужчине булавку (с ранней молодости Валька носила при себе булавку, помня об одном случае, когда у нее лопнула резинка).

Он проткнул себе палец булавкой и заботливо приложил свой окровавленный безымянный к обертке от мороженого, которая на этот момент

была превращена в древнюю хрустящую бумагу с водяными знаками (буква «э», потом «с», «к» и дальше «имо»).

Когда процедура была проделана, тут же всю обстановку как ветром сдуло, и перед продавшим душу мужчиной предстала грязная кухня с немой посудой и тараканами, черта не было, вместо него посреди помещения торчала тетка в дырявом халате с оторванным не до конца, висящим отдельно карманом, в резиновых сапогах и в белокуром парике.

Мужчина (его звали Эдик) даже пошатнулся от таких обстоятельств (вспомним, что сначала перед ним выступала шикарная блондинка, а затем мужчина с рогами и при копытах).

Валька, однако, высморкавшись в халат, уже не обращала на его чувства никакого внимания (раз договор был подписан) и спросила, кто он по специальности.

Эдик ответил, что он уволенный редактор на телевидении, и приврал, так как работал он на телевидении помощником оператора поломоечного комбайна, но его только что выгнали за сломанную метлу.

Метлу он сломал об начальство, главного оператора комбайна.

Эдик мечтал быть политическим комментатором и не хотел мыть полы.

Он для этого и устроился на телевидение.

Получив пропуск, он даже сходил к главному редактору какой-то там программы, чтобы наняться на работу комментатором, но главный редактор ему вежливо отказал, предложив, чтобы посетитель сначала закончил школу, хотя бы начальную.

«Но я умный и так!» — закричал рассерженный Эдик, вспомнив ненавистных учителей, и потянулся было к стулу, чтобы побить главного, но побоялся, что вдруг арестуют и посадят в тюрьму, как уже бывало.

Поэтому в тот же день Эдик опять-таки поругался со своим начальством буквально из-за пустяка, кинулся палкой от метлы, сам получил по шее (оператором комбайна была могучая тетя Зина) и был выгнан с работы.

Его выгнали, он пошел домой, и по дороге его потянуло к мороженому.

Вот и вся история Эдика.

Валькирия почесалась под париком и сказала:

— Если ты с телевидения, вот тебе телевизор, будем думать.

Тут же появился телевизор, огромный и яркий.

— Одного экрана мало, — капризно сказал Эдик. — У нас на телевидении их вагон.

Валькирия сделала ему сорок экранов.

Там было телевидение всей Европы, Америки, Африки, Монголии и древнейшего города Муром.

Последующие сутки Валька и Эдик провели у экрана, не в силах от него оторваться.

Тут мы просто обязаны наконец вспомнить про Барби Машу и ее дедушку Ивана.

Все события с Валькой и Эдиком-дворником происходили как раз накануне передачи, где должны были показывать чудесный домик, который старый столар дед Иван построил для своей куколки Барби Маши.

И Барби Машу показали по телевизору.

ВОЛШЕБНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР ВАЛЬКИРИИ

Вечером Валькирия, сидя перед ящиком, внезапно увидела жутко знакомое лицо.

На экране переливался огоньками прекрасный дом с роялем, резными креслами и свечами, и в кресле сидела просто принцесса!

Потом показали редакторшу телевидения, морда так себе.

Она красиво говорила о домашних мастерах, которые сами для себя строят кто самолет, кто мартеновскую печь, а кто кукольный домик.

Она приглашала телезрителей звонить и сообщать, какому мастеру надо присудить победу.

А вот кто сидел в кресле кукольного дома, кто смотрел такими красивыми глазами с экрана, причем не моргая и не шевелясь?

Бывшая крыса Валька, а ныне волшебница Валькирия, глядя в телевизор, морщилась, чесалась, кряхтела, сосала сухую хлебную корку (в данной корочке, как мы знаем, содержалось пятнадцать украденных томов книги Амати «Несколько секретов для добрых волшебников») и, наконец, вспомнила!

Это была Барби Маша, заколдованная кукла мастера Амати, его любимое творение.

— Так-так! Девочка из дома Амати в виде фабричной куколки! — вскричала Валька.

Она почему-то думала, что Барби Маша, которую мастер Амати снабдил волшебной душой, должна быть обязательно человеком.

Плюс к тому Валька вспомнила, что Барби Маша не умеет защищаться.

А это вообще было подарком со стороны мастера Амати.

— Что делать, что делать? — заметалась Валька, но тут же передача кончилась, на экране возник огромный торт.

— Хочу торт, — сказал Эдик. — И мороженого.

— Хотеть не вредно, — возразила ему Валькирия, напряженно размышляя.

Тогда голодный Эдик, вскрикнув, выхватил у нее из рук сухую корку и сунул в рот.

Волшебница Валькирия легко отняла у него свою корку, положила ее за щеку и продолжала размышлять.

Чтобы Эдик больше не возникал, она приковала его взор к телевизору, и он шарил глазами по всем сорока экранам, а на Вальку смотреть не имел права.

Валька же думала.

У нее было припасено множество пакостей для человечества.

Она планировала:

устроить на Чистых прудах два наводнения за один день (только всю грязь и помятые трамваи уберут — трах, опять);

произвести землетрясение в московских районах Подушкино, Северное бутово и Южное бутово (она слышала эти названия по телевизору, будучи еще в Гималаях, и полюбила их странной любовью);

затем ей хотелось вызвать эпидемию свинки в Государственной Думе, чтобы у всех депутатов щеки было со спины видать, а голоса были бы неразборчивые из-за слюны;

потом она планировала насыпать в городской водопровод волшебный порошок и таким путем свести с ума всех пьющих сырую воду из-под крана: они тут же должны были кинуться вон из дома и начать продавать друг другу свои вещи, стоя коридором вдоль всех главных улиц и вокруг вокзалов.

А пусть не пьют сырую воду!

Но вот как добраться до любимой куклы мастера Амати, Барби Маши...

Она размышляла, а Эдик в это время кричал, переходя на визг:

— Я тебе, лоханка старая, душу продавал зачем? Зачем я кровью подписал договор с тобой, кошелка дырявая? Чтобы все мои желания выполнялись! Хочу морожено-пирожено!

Бывшая крыса, а ныне пенсионерка Валька отмахнулась от него, грызя корку.

Наука давалась ей нелегко. Многих зубов не хватало.

В то же время надо было придумать способ колдовства.

Валька даже пожалела, что в свое время плохо слушала мастера Амати.

При этом она смотрела на экраны телевизоров, которые напряженно светились, дергались, шевелились, моргали и шумели.

Эдик тоже смотрел поневоле.

Но, видимо, он недаром пожевал сухую корочку науки.

Внезапно он закричал:

— Вон он, по телевизору, наш главный редактор интервью дает! Я бы его сунул на другой экран, куда-нибудь подальше!

— Точно, — подхватила Валька. — Как я раньше не подумала!

Она тут же с помощью пульта управления засадила этого выступающего на соседний экран, в передачу, где действие происходило в жилище монгольского скотовода посреди степей.

Так что редактор вынужден был, как есть, в костюме и с галстуком, из своего кабинета махнуть прямо в юрту.

(Другое дело, что кочевник встретил большого белого брата прохладно, потому что был обижен на телевизионную группу: они жили у него пять лун, снимали, заставляя его бессмысленно ездить туда-сюда на лошади, съели у него тридцать голов мелкого скота и пятьдесят тушек птицы, обещали прислать ему за это ящик огненной воды, но обманули. Так что скотовод, увидев редактора, сказал «Не надо мне», и тут же снялся со стоянки и откочевал в далекие предгорья, и посланец Вальки и Эдика, который не понимал ни словечка по-монгольски, спохватился поздно и побежал на новое место пешком, придерживаясь компании овец.)

Потирая руки от радости, Эдик тут же решил поменять руководящий состав телевидения, как только он появится целиком на экране.

Потом ему пришло в голову сменить правительство, послав его в джунгли первого попавшегося каннибальского государства, а в министры сунуть десяток продавцов с рынка, самых толстых и усатых.

Только надо было дождаться какого-нибудь торжественного заседания с трансляцией по телевидению и одновременно репортажа с базара.

А Валькирия, почесавши под мышкой, сказала:

— Эх, раньше не додумались! Мы бы эту куклу Барби Машу перекинули в какой-нибудь действующий вулкан!

— Свободно! — ответил Эдик. — Можно и в кипящий суп. Только надо ее еще раз показать по телевизору.

— А вот как бы вызвать мастера Амати сюда, чтобы он увидел ее на экране? — озабоченно сказала Валька. — Он ведь не выносит чужих страданий. Как только мы ему пригрозим, что Барби Маша сварится, он сразу же отдаст нам весь мир за одну свою куклу.

Тут Валька перешла на крик:

— А вот то, как я погибала столько лет у него в рабах, ваньку валяла во дворце в Гималаях, не пила, не курила, тратила свою молодость на книги, работала, как бобик, с компьютером, сидела на диете без соли, сахара, курева и водки, каждый день плавала в бассейне, мокла, эти мои страдания его не колыхали!

Эдик, необыкновенно поумневший, предложил план действий.

Надо было украсть куклу Барби Машу и как-нибудь запятить ее в передачу телевидения. И пригрозить мастеру Амати, что если он не отдаст Вальке и Эдику власть над Землей (Эдик настаивал также и на власти над Луной), то кукла Барби Маша во время передачи будет засунута куда-нибудь в горячую точку планеты.

Тут же колдунья Валькирия торжественно произнесла:

— Отныне тебя будут звать Сила!

И счастливый Эдик ответил ей:

— Меня будут звать Сила Грязнов!

Валька на радостях оторвала взгляд голодного Эдика от экрана и повела его вниз с целью организовать банкет в соседнем ресторане, после чего туда были вызваны силы спецотряда по борьбе с бандитизмом.

Дело в том, что Эдика и Вальку швейцар не пустил в ресторан из-за их внешнего вида: Валька была в своем халате с полуотворванным карманом, а Эдик в засаленном спортивном костюме, и они, обидевшись, начали скандалить, и Валька мигом приволокла на себе из музея Красной Армии боевую ракетную установку «Катюша» времен второй мировой войны.

Первым же залпом сопротивление охраны было сметено, но и от ресторана мало что осталось.

Вместо двери красовалась большая яма, в которой сидел и таращился охранник.

Голодные, закопченные и злые, Валька и Эдик (Валькирия и Сила Грязнов) снова сели перед своим волшебным телевизором, желая развлечься, но во всем районе из-за взрыва вырубилось электричество.

Говорят же — не рой другому яму, сам попадешь.

А кукла Барби Маша, которая в это время жила у старого столяра Ивана на подоконнике в специально построенном домике, готовилась к тяжелым временам: она все знала, но спасти себя была не в силах.

Что касается мастера Амати, то он, сидя в своем хрустальном дворце, был целиком занят новой скрипкой и не знал, что ему угрожает.

Посмотрим, какие их ждали приключения.

ГНЕЗДО ВОРОНЫ

Настали прекрасные теплые дни.

Куколке Маше Барби приходилось сидеть в одиночестве в большом кукольном доме на подоконнике.

Приютивший ее дедушка Иван пропадал в своих походах: он искал повсюду хорошее старое дерево и притаскивал домой то дощечки, то небольшие бревна, а то и приволакивал целиком разобранный шкаф с резьбой, кем-то, видимо, выставленный на улицу.

Видно было, что он планирует смастерить что-то необыкновенное.

Вечерами, разбирая найденные сокровища, он мурлыкал, как наша кошка Муська на коленях у папы.

Иногда старый дед подходил к кукольному домику и, почтительно склонившись, измерял ниткой туфельку Маши Барби, а затем спешил к столу и записывал что-то в тетрадку.

Когда деда не было дома, Барби Маша перезванивалась с другими куклами и игрушками по своему волшебному телефону, или играла на рояле, или ездила на прогулку на автомобиле.

В доме у деда всегда было чисто, а на кухне теперь вечно стояла кастрюлька с теплыми макаронами.

Дедушка ничему этому не удивлялся, ничего не замечал, ужинал и завтракал, поглощенный своими мыслями.

Он был рад, что не приходится теперь шарить по мусорным контейнерам в поисках пустых бутылок и старых вещей, что не нужно продавать на рынке чужие стоптанные ботинки, отсыревшие книжки и проткнутые зонтики.

Однако куколка все последнее время была печальна, грустно разговаривала по телефону и часто смотрела в окно на большое дерево, росшее напротив.

Там, на дереве, шла своя жизнь, вороны, словно спелые плоды, виднелись среди листвы, иногда эти плоды с треском падали.

Тут же громоздились вороньи гнезда, огромные, лохматые, в которых кучковались серые, как потрепанные теннисные мячики, птенцы, и при виде летящих родителей каждый такой мячик расцетал не хуже тюльпана, то есть птенец распускал здоровенный клюв, и в каждый такой тюльпанчик родители-вороны безостановочно опускали червяков, мокрые хлебные корки с помойки и другую вкуснятину.

Только в одном гнезде не было детей, а сидела и хрипло орала одинокая ворона, которая была завернута в драную черную шаль и время от времени распахивала ее, и тогда становились видны ее костлявые кривые ноги в черных штанах, то есть ничего хорошего даже для вороны.

Куколка Маша с тревогой смотрела на эту ворону, которая непрерывно за ней наблюдала.

Дед, правда, ничего не замечал — ведь Маша улыбалась ему как обычно, своей чудесной улыбкой, и глядела широко открытыми глазами.

Правда, Барби Маша несколько раз насылала на деда страшные сны про разлуку, и он просыпался весь в слезах, но сны забывались сразу же, как только дед Иван видел на подоконнике дом и в нем свою Машу.

И дед, уходя, не закрывал окно: пусть куколка подышит свежим воздухом!

Чему быть, того не миновать, и однажды в открытое окно осторожно вошла ворона Валька.

Она опасливо, все время оглядываясь (привычка всех ворон), проследовала по подоконнику и сказала, заглянув в домик:

— Кого я вижу!

При этом она воткнула в гостиную Барби свой длинный и жесткий, как портновские ножницы, клюв.

Кукла Маша вскочила с кресла, забежала за рояль и крикнула:

— Валечка, ты что? Ты забыла мастера Амати?

— А, этот наш дедуля? — прохрипела ворона Валька. — Это он тебя забыл. Идем со мной, розочка.

— Он же тебя жалел, — сказала Маша Барби, вися вниз головой в вороньем клюве и стучаясь о подоконник, пока ворона прыгала к раскрытому окну.

— Поехали! — гаркнула Валька, положив Барби Машу на подоконник и беря ее в свои страшные когти.

И Барби Маша взлетела в воздух, а затем оказалась в старом, вонючем и жестком вороньем гнезде.

Правда, днище гнезда было застлано старым Валькиным париком — она хранила его здесь на всякий случай. Надень такой парик, и сразу станешь эстрадной звездой: лохматые золотые волосы, ресницы, как зубные щетки, рот, как треснутый помидор, ногти, как лыжи, нижние конечности, как ножки из-под рояля, что еще нужно эстрадной певице? Голос все равно записан на пленку, не важно чей.

Однако под влиянием дождей и соседок ворон, которые регулярно навещали пустующее гнездо Валькирии, норовя там отложить яйца, этот парик из золотого стал седовласым со вкраплениями песка и земли.

И Валька, не умеющая стирать, плюнула на свой волшебный парик, обзавелась двумя новыми.

Итак:

— Но я, — ласково сказала Валькирия, садясь на край гнезда и запахивая свою черную рваную шаль, — я ему сама про тебя напомню, и он за тебя отдаст мне весь мир, поняла? Он все отдаст, только чтобы ты не мучилась.

— Что ты, — улыбаясь, сказала мужественная кукла Барби Маша. — Таких игрушек, как я, у него тысяча.

— Не надо, — отвечала на это ворона Валька. — Пока поживешь здесь, сейчас пойдет хорошенький дождик, скоро ты полиняешь, красотка. Я прилечу за тобой, как только все будет готово.

И она упорхнула, как может упорхнуть с ветки старая тряпка.

ДРУГАЯ КУКЛА

Несчастливая кукла Маша, весело улыбаясь, сидела в вороньем гнезде, находящемся прямо против дедушкиного окна.

Мало того, она видела, что произошло дальше: ворона Валькирия шмыгнула в форточку соседней, пошуровала там в комнате и вынырнула с чужой куколкой Барби в клюв!

Тут же она и запятала ее через окно в собственное Барби Маши кресло, в ее кукольный домик, на подоконник деда Ивана!

Если бы Маша умела плакать, она бы заплакала.

Дедушка Иван никогда бы не разобрал, кто сидит у него в кукольном доме, все Барби похожи одна на другую.

И никогда бы он не пришел на помощь своей несчастной Маше.

Эта новая Барби — ее звали Кэт — была обыкновенная пластмассовая куколка, безобидная, хорошенькая, но глупенькая и неумелая.

Проторчав целый день в вороньем гнезде, Маша видела, что Кэт просто сидит, вперившись в одну точку своими блестящими от фабричного лака глазками.

Ей и в голову не приходило убираться в дедовой квартире или варить ему макароны — тем более что она этого не умела.

Так что вечером, придя домой, мастер дед Иван не нашел в кухне ничего (Барби Маша видела его растерянное лицо) и лег спать голодный.

А она сама сидела под дождем в вороньем гнезде и улыбалась, с тоской глядя на свое бывшее окно, где стоял ее прежний домик, сияя огнями.

От безысходности Барби Маша протянула руку к облакам, и пролетевший ветер опустил на ее ладонь перстень королевы Марго, просто так, для утешения.

Она надела перстень на голову и печально подумала, что дед Иван, будучи рассеянным по природе, не заметит подмены своей куколки.

Это случается довольно часто: мы не замечаем, что рядом с нами живет совершенно другое существо.

Например, другая мама, другой папа, другая тетя.

У них те же лица, те же привычки, они так же едят и спят.

Но вдруг они становятся неузнаваемыми, из их ртов вырываются крики, и ласковая рука, которая гладила тебя по голове, норовит стукнуть по шее — как будто это не папа и мама, а злые соседи...

Однако мама и папа тоже вдруг замечают, что их ребенок, маленькое милое существо, которое всегда было послушно, как мягкая игрушка, вдруг становится похожим на жесткую метлу дворника или на жабу, важно сидящую в углу дивана, зеленую, в прыщах и с сигаретой в лапе...

Кстати, имейте в виду, что все это пределки злых колдунов и что внутри у злобного папы или взъерошенной метлы-дочки бьется огорченное, любящее сердце, равно как и у мамы, которая под влиянием злых сил выглядит, как ведьма, и в минуты скандала почти летает, а сама про себя горько плачет.

Уже на следующее утро дед Иван встал, поздоровался со своей Барби по привычке, поискал еды на кухне, не нашел, выпил водички, сел по-прежнему голодный за свой рабочий стол и задумался: что-то изменилось в его жизни.

Чего-то ему не хватало.

Во-первых, порядка в доме.

Стружка и древесная пыль покрывали пол в комнате, на кухне все было пусто, никаких макарон.

В домике сидела все та же кукла Барби, однако она как-то деревянно сидела, как-то неестественно.

Ее любимая книжка «Стихи» лежала на полу, подсвечник валялся под роялем и вообще что-то было не так.

Дед Иван вздохнул и принялся вытаскивать из сухого старого дерева палочки.

Он ведь мастерил для своей куколки маленький орган.

Орган — это царь всех инструментов.

Когда музыкант начинает играть на нем десятью пальцами и двумя ногами, звучит целый оркестр, и настоящий орган строят десятилетиями.

И бывает он высотой с дом.

Для Барби Маши он тоже должен был быть высотой с ее домик.

Голодный дед к вечеру, однако, задумался о том, как жить дальше, и стал разбираться в своих дощечках, размышляя, что бы такое смастерить на продажу.

Можно было бы сделать шкатулку, но тогда бы не хватило материала на орган.

Это было драгоценное, старинное, хорошо высушенное дерево. Его нельзя было тратить на ерунду, на еду.

А ведь если бы не желудок — как свободно мог бы жить человек!

Но он вынужден заполнять свой живот и животы своих родственников, и на это уходит большая часть жизни.

И только некоторые не заботятся ни о себе, ни о своих домашних, с безумной силой изобретают паровозы, рисуют картины, пишут оперы, сочиняют бесполезные стихи и иногда именами этих голодных героев называют улицы и вершины гор: вот и весь результат.

Однако оставим деда Ивана размышлять за столом и посмотрим, что же делала все это время ворона Валька.

А она стукнулась оземь и превратилась в пышную женщину средних лет, лохматую, немного похожую фигурой и лицом на снежную бабу, только без ведра на голове.

Сначала она забежала в местную газету и, смеясь до слез, сочинила объявление, которое просила опубликовать в завтрашнем номере.

Потом достала из воздуха пачку денег и заплатила сколько просили и даже вдвое больше.

Все так же смеясь, она вытерла набежавшую слезу, нарумянилась, нарисовалась и в таком виде ринулась на телевидение, и милиционер ее спокойно пропустил даже без пропуска, приняв за популярную певицу.

Валькирия пробралась в какую-то комнату, где за столами сидели и разговаривали по телефонам женщины и мужчины, причем все вместе и очень громко, и закричала:

— Салют! Я новый руководитель программы «Сам лечу своих кукол». Валентина Ивановна.

И через полчаса вокруг нее кипела работа, все бегали, как очумелые, на завтра был назначен прямой эфир, Валькирия хрипло на всех орала и, что удивительно, все время сосала, причмокивая, сухую хлебную корку.

Валентина Ивановна, кроме того, заказала телефонные переговоры с Гималаями и кричала во все горло:

— Алло! Алло! По срочной! По правительственной связи! Гималаи, Амати! Как это не отвечает? Девушка, это с телевидения! Программа срывается!

Наконец ближе к ночи Вальку соединили.

— Алло, это вы? Не слышно! Это я, Валя! Валя Аматьева! Ваша Валя! — заорала она. — Которая убежала от вас, помните? Я еще пятнадцать книг у вас взяла... На память... Как здоровье? Але, я вас что-то не слышу! Буду сама говорить! Я живу ничего, вот работаю. Благодаря вас и ваших уроков. Вернее, благодаря ВАМ. Вспомнила. Благодаря вам и вашим урокам. Так что извините, я школу не кончила, говорю неправильно, может быть, но зато я уже выучила девять томов ваших секретов. Осталось шесть. Так сказать, грызу науку.

Тут она сладко причмокнула сухой корочкой.

— Меня уже не достанешь. Я самая сильная в мире, поздравьте. Сама себя могу защитить в любом виде. Этот дар вы мне вручили при рождении, спасибо.

Тут она закурила, сплюнула и продолжала:

— Кстати, у меня живет на секретной квартире и очень сильно болеет ваша кукла Барби Маша. Але, не слышно! Переселилась ко мне. Она случайно упала. С дуба. Ей очень плохо. Она больная на всю голову. На завтра назначена операция. Будем эту голову у ней отрезать. Смотрите телевизор по первой программе, прямая трансляция, называется «Врач своей куклы». Сначала мы ей отрежем нос, так? Для дезинфекции, потому что у нее к тому же

насморк. Дети будут в восторге. Программа ужасов. Потом отрубим ей уши, а то у нее воспаление уха. Так сказать, хирургическое лечение. Тут у всех просто слюнки текут. Ребята подобрались хорошие. Алло! Так что посмотрите завтра телевизор! Алло! Вы меня слышите? Я не слышу, але!

Барби Маша прочно сидела в гнезде на дереве, ожидая своего часа, так что Валькирия помчалась домой, где находился ее Эдик, коротая время перед телевизором.

Он учился переселять людей на другие экраны.

Когда по второй программе показали парад десантников, Эдик оживился и тут же ввел наши доблестные войска в несколько соседних передач сразу, и на одном экране немедленно закипела торговля, воины продали оружие, береты и портянки и закупили жвачки и множество напитков, а офицеры — ковры, а генерал — машину; а на другом экране солдаты огляделись, им понравилось, и они попросили политическое убежище, для чего выстроилась очередь в полицию; а вот на третьем экране началась настоящая битва, причем никто не знал ради чего, ни солдаты, ни офицеры, ни местные.

Никто, кроме Эдика.

Как он сиял!

Валька, придя, одобрила результаты его работы, велела приготовиться на завтра.

Вариантов было два: либо мастер Амати не выдержит, спустится на землю с Гималаев и побежит спасать свою Барби в телестудию, а заодно и окажется сам на экране, и Эдику надо будет просто переместить мастера в кипящую кастрюлю (по другой программе в это время шла кулинарная передача), и тогда можно спокойно переселяться в Гималаи и оттуда править миром.

Если же Амати не явится, он все равно не допустит мучений своей любимицы Маши, начнутся переговоры, и тогда Валька предъявит ему требования: отдавай власть над миром, дворец и так далее, а сам забирай Барби Машу и проваливай.

Эдик сидел и радовался.

— Но, — зевая, сказала Валька, — я в этих Гималаях опять губить свою жизнь не нанималась. На родине интересней.

НЕОЖИДАННОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

Старый мастер дед Иван встал и пошел к Барби с линейкой, поскольку настало время вырезать педали для музыкального инструмента — точно по ее ноге.

Он присел на колено и стал мерить Барби туфельку.

Потом, отметив размер, он поспешил к своей тетради и увидел, что уже раньше записал его и что цифра, которая имелась у него, не совпадает с нынешней.

Еще бы, ведь волшебная Барби Маша много ходила и бегала по хозяйству (попробуй сварить целое море макарон и вымыть пол размером с три футбольных поля!).

Поэтому у нее и нога была больше, чем у всех остальных Барби.

Те же просто сидели или лежали, а Барби Маша работала!

У теперешней Барби Кэт ножка была маленькая и бесполезная.

Короче, мастер заподозрил, что эта Барби не его.

Он поднес куколку к свету своей лампы и увидел, что у нее в ушах дырочки, возможно, для сережек.

У его Маши такого не было!

Он также подметил, что глаза у этой Барби совсем другие — пустые и равнодушные.

— Так! — сказал он себе, вернул куколку на место и начал изучать обстановку.

Тут только он увидел открытое окно, комочки сухой грязи на подоконнике, а также воронье перо на полу (Валька была известной неряхой).

— Так! — повторил он.

Еще в детстве дед Иван — тогда он был Иванушкой — слышал рассказы о птицах-воровках, которые врывались в окна и форточки в отсутствие хозяев и утаскивали у бедных людей их единственное богатство — скажем, колечки, лежащие в вазочке, или серебряную ложку из детской чашки.

Бедные люди плакали, вспоминали, кто их посещал вчера — знакомые, соседи, или родственники, или дети, и много ужасных ошибок совершалось, много горьких мыслей бродило в голове обокраденных, и сколько горя причинял этот птичий разбой — начинались подозрения и ссоры на всю жизнь, кого-то больше не приглашали в дом, с кем-то переставали здороваться.

Дед Иван вспомнил, что творилось в доме, когда ему самому было восемь лет.

Соседская мамаша недосчиталась брошки с камушком, которая лежала в блюдечке на буфете, — и это произошло сразу же после того, как маленький Иванушка играл у них вместе с другими детьми в лото, а потом за ним пришла мама и увела его.

И только когда хозяин дома нашел на подоконнике воронье перо и послал ребят слазить на дерево, и в вороньем гнезде обнаружилась брошка плюс еще две ложки, щипчики для сахара и чья-то вставная челюсть из белого металла — только тогда выяснилось, кто воришка.

На этом дедовы воспоминания прервал настойчивый звонок в дверь: видимо, пришли очередные посетители.

Дело в том, что после передачи по телевизору к Ивану ходили целые экскурссии смотреть кукольный домик.

Дед Иван уныло пошел открывать.

К нему на этот раз заявила довольно странная пара — худая красноносая гражданка с маленьким пронырливым сыном.

— Пришли к вам поговорить, — хрипло сказала посетительница. — Мы из поселка Восточный. Меня зовут Шура Шашкина.

— Вот домик, — сказал дед Иван, — я работаю, смотрите сами.

И он уселся за стол.

— Домик ничего, — прокашлявшись, произнесла Шура. — Смотри, сынок.

И они ушли, гремя резиновыми сапогами, почему-то в кухню.

Там они походили, заглянули и еще кое-куда, а затем вернулись, и Шура сказала:

— Мужчина, домик у вас неплохой. Я могу у вас прибираться, продукты закупать, то-другое. Лекарства за ваш счет.

— Спасибо, мне не нужно, — ответил рассеянно дедушка Иван.

— Так что оформляйте квартиру на меня, — продолжала Шура, не слушая. — Я за вами буду ходить. А квартира будет на меня, не беспокойтесь. А что, жилплощадь хорошая. В случае чего не пропадет.

— Нет, спасибо, я не нуждаюсь, — сказал дед Иван, тупо сидя за столом и размышляя, куда же делась его Барби Маша.

— Так что нам подходит ваша квартира, — сказала Шура в заключение и вытерла рот.

— А зачем она вам подходит? — спросил дед Иван.

— Так объявление в газете. Одинокий пенсионер отдает свою квартиру добрым людям.

— Как это? — Дед Иван даже подскочил на стуле.

— В завтрашней газете. У меня сынок торгует газетами, ему дали пачку... Мы первые пришли. Так что отдавайте нам.

— Это ошибка! — вскричал дед Иван. — Мне ничего не надо ни от кого!

— Вы что, не давали объявления? — спросила Шура Шашкина.

Онемевший дед помотал головой.

— Шутка,— сказал маленький сын Шуры Игорек по прозвищу Чума.

Раздался звонок у дверей, длинный и требовательный.

— Во, идут остальные. Мы уже сколько здесь сидим первые! — закричала Шура в сторону двери. — Не отчиняйте дверь!

Но дед все-таки открыл.

Его смял бурный поток посетителей.

Отталкивая друг друга, они ворвались в квартиру.

Крик и драку прервал мощный голос Шуры:

— Дедуля не отдает квартиру! Ктой-то вас наколол!

— Пошутили! — завизжал Игорек. — Прикол!

Народ, однако, не хотел верить в такое несчастье, а шестеро вообще ничего не желали знать, поскольку пришли первыми. (Они действительно ломились в дверь все вместе, но сразу это им не удалось, потому что дедова дверь могла пропустить одновременно только четверых, если боком, и эти шестеро упали, а по их головам прошли победители, остальные двадцать пять.)

Так что те, первые шестеро, требовали квартиру сразу же с выселением деда в дом для престарелых.

Однако Шура по прозвищу Шашка недаром слыла самой скандальной женщиной поселка Восточный (который вообще был широко известен своими драками).

Короче, через час народ схлынул, унеся с собой, как выяснилось, пару табуреток с кухни, полотенце и мыло из ванной и Барби Кэт из домика.

Рояль Маши и кукольную мебель не тронули, они, видимо, не понравились посетителям — дед это обнаружил и обрадовался.

Домик только поставили немного криво и на другой бок.

— Завтра вам будет еще хуже,— сказала Шура. — Мы уж у вас останемся. Завтра газета выходит с объявлением. Не открывайте людям дверь-то. Я все для вас сделаю. Пол подмою. Я все могу, все умею.

— Скажите, Шура,— произнес Иван медленно,— вы умеете лазить по деревьям?

— Это влегкую,— сказала она. — Это Чума умеет. Чума его зовут, вообще Игорек. А меня все кличут Шашка, я Александра.

И она полезла в резиновый сапог, достала оттуда паспорт, слегка выпрямила его и предъявила деду.

После такого знакомства они спустились во двор, и Чума ловко полез вверх по липе.

Там, наверху, Чума задержался, в результате чего десятки ворон с дикими криками полетели спасаться на соседнее дерево.

Пока они орали, Чума лазил по гнездам, а затем спустился с победой вниз.

У него оказались битком набитые карманы, а в зубах он держал Барби Машу.

Спрыгнув, Чума отдал Барби Машу дедушке и сказал:

— Я там еще чего-то нашел.

— Что нашел — все твое,— сказал дед Иван, пряча Машу за пазуху.

— Ну,— ласково сказала тетя Шура сыну и аккуратно плюнула на землю, после чего деликатно вытерла рот рукавом.

И маленький Чума показал деду Ивану вынутое изо рта золотое кольцо с пятью бриллиантами, затем достал из-за пазухи блестящий половник, из кармана теннисный мяч, пяточок советского периода, пипетку, крышку от кастрюли, вилку, часы без стрелок, стеклянные бусы и медную солдатскую пуговицу.

Кольцо, половник, монету и все остальное Чума-Игорек отдал мамаше, а теннисный мяч вернул себе в карман.

— Игорек, купим тебе мотоцикл,— сказала Шашка сыну,— и магнитофон.

— Ты что, нам нужно квартиру, — важно сказал Игорек. — Долго будем от дяди Юры бегать? Мне надоело. Машет и машет топором.

— Как скажешь, так и сделаем, — кивнула тетя Шура и объяснила деду: — У нас сосед такой решительный! Говорит, всех порешу тут вас.

Они вернулись в квартиру, и дед Иван усадил их пить чай с неизвестно откуда взявшимся печеньем (не будем забывать, что Барби была все-таки волшебница).

Дед думал, что печенье принесли посетители, а они думали наоборот.

И обе стороны поэтому стеснялись брать угощение.

Однако сразу после чая гости стали собираться домой.

Они почему-то забыли свое намерение пожить у деда и защитить его.

На прощание Иван сунул печенье в руки тете Шуре.

А Барби сидела в своем домике, уже приняв ванну и переодевшись в домашний халатик на меху.

Она уже устроила так, что никакого объявления в газете не было напечатано, — так, сон, всем показалось.

Однако ее беспокоило, что будет завтра — телепередачу никто не отменил, и следовало ожидать в гости ворону Вальку.

Барби Маша боялась за своего деда — кто его покормит, если ее не будет на Земле?

Но пока что теплый свет абажура заливал кукольный домик, а Маша смотрела на деда Ивана.

Который ел теплые макароны прямо из кастрюльки, поражаясь, как он мог их не заметить раньше, — они стояли прямо на плите!

ИГРЫ С ТЕЛЕВИЗОРОМ

Валентина Ивановна, работая на телевидении ровно один день, руководила уже довольно внушительной командой, которой был придан автобус, звуковики и операторы с ассистентами, а также артиллерийская установка (та самая, которую Валькирия вынесла из музея Красной Армии и не вернула; брать легко, возвращать трудно).

Вот, например, ближе к вечеру Валька отправилась, жуя свою постоянную корочку, к Главному всего телевидения на прием.

Валька, решительно шагая (на ней была темно-синяя блузка выше колен и сапоги красного лака, тоже выше колен, и больше ничего), прошла мимо секретарши и рванула на себя дверь кабинета. Причем опытная секретарша радостно приветствовала Вальку, подумав про себя, что как же эта известная певица постарела, прямо-таки бабушка, несмотря на свои тридцать две косметические операции.

При этом секретарша достала из стола зеркало и долго и любовно на себя смотрела, цыкая зубом и размышляя, почему она сама не может вести любую передачу?

А Валентина Ивановна вскоре выбежала вон из кабинета, причем на ней уже была минимальная юбка, похожая на штанину, в которую по ошибке втиснули две ноги сразу, а сверху на Вальке красовалась короткая майка, не достающая до юбки на два пальца, — наряд, довольно смелый для бабушек, подумала секретарша, после чего длинно вздохнула и придвинула к себе телефон, чтобы обсудить с подругой, как нахально некоторые переодеваются прямо в чужих кабинетах, чтобы добиться своего.

Когда же, наговорившись всласть, секретарша пошла проведать своего начальника, то оказалось, что тот сидит под столом и пускает слюни.

— Кукушин! — закричала секретарша (так она называла своего начальника в ласковые моменты). — Кукушин! Вы чо?

И Главный тяжело вздохнул и лег на пол.

А Валентина Ивановна уже летела по коридорам, имея в руках распоряжение о своем назначении на пост Главного редактора дня, т. е. дня завтрашнего.

Поскольку это было ей удобней.

Никто не помешает, вот что важно.

Главный ближайшую неделю будет сидеть на больничном (переутомление).

Валькирия тут же вошла в чей-то кабинет, выкинула из него кейс, очки, сигареты и авторучку прежнего владельца, а также ликвидировала всю мебель, обставила помещение по-новому (пара-другая насестов, на каких спят куры, несколько кормушек, полных отборного пшена и хороших червячков, две поилки с пивом и квасом и телефон на полу — все удобства для пожилой вороны).

Передача «Врач своей куклы» была назначена на завтра на семь вечера и должна была идти по трем программам, а по остальным шла кулинарная передача насчет приготовления супов.

Валька дала по телефону две срочных телеграммы волшебнику Амати в Гималаи, одна из них, за подписью куклы Барби Маши, содержала фразу: «Срочно выезжайте мне завтра 19.00 отрежут голову». Вторая была еще хуже: «Если не ответите то вы ответите тчк волшебница валькирия и сила грязнов оргкомитет казни».

Беда была в том, что Амати не ходил за почтой и не принимал почтальонов, он сидел в своей хрустальной башне и, тихо напевая, заканчивал вырезать дырку на скрипке.

И по телефону давно уже говорил не он сам, а его голос, который умело подстраивался к любому вопросу и сообщению при помощи двух фраз: «Не может быть!» и «Как вам сказать?». Причем первая фраза употреблялась при сообщении, а вторая при вопросе.

Так что, когда Валька позвонила ему, разговор был такой:

— Алло, привет, дедушка, это Валя Аматьева снова!

— Не может быть!

— Вы приедете?

— Как вам сказать?

— Ну смотрите приезжайте, а то вашей Маше отрубим тут голову!

— Не может быть!

— Отрубим, отрубим. Целую! Я вас все время вспоминаю!

— Не может быть!

— А вы меня?

— Как вам сказать?

— Я скоро до вас доберуся! Я догрызаю волшебную корку, все! Я вас победю!

— Не может быть!

Итак, все было у Вальки готово: студия, техника, ножичек, запись детского плача и визга (чтобы телезрители содрогнулись), бутылочка искусственной крови из клюквы и маленький гроб.

Оставалось притащить домой Барби Машу из гнезда и ждать появления в студии дедушки Амати.

Валькирия хрипло посмеивалась, представляя себе, как добрый дед Амати влезает в экран («влазит», как ошибочно говорила Валька), чтобы помочь бедной Барби Маше, которую медленно пилит тупым ножом по шее, причем Маша дико визжит и плачет (включена подлинная запись детского крика в коридоре близ зубного врача), а по столу растекается лужа клюквенного сока...

Валькирия, хохоча, очень ярко представляла себе дальнейшее: как Эдик, Сила Грязнов, сидя перед сорока экранами за режиссерским пультом на телевидении, тут же при виде появившегося в кадре дедушки Амати немедленно сует их с Барби Машей в кипящую кастрюлю на соседний экран, где как раз идет передача «Сам варю себе суп».

Теперь оставим ее ненадолго в ее кабинете (обливаясь слюной, она жадно ужинала червяками, даже не превращаясь в ворону, было лень) и посмотрим, что делает Эдик, он же Сила Грязнов, великий tv-оператор.

Эдик дни и ночи проводил в тренировках перед телевизором, шаря воспаленными глазами по своим сорока телеэкранам, и успел сделать человечеству массу гадостей: например, алкоголика из-под гастронома (прямой репортаж «Что нам мешает жить: водка и ее последствия») Эдик переселил в кресло министра, который в это время давал интервью.

Алкоголик дал много интересных ответов вместо министра, вывел на чистую воду всех милиционеров и обещал разобраться вплоть до расстрела на месте.

А министр в это время хлопал глазами, сидя в темных кустах на ящике в компании двух плохо одетых журналистов (так он понял), которые брали у него интервью на тему, скоро ли он отдаст за вчерашнее и зачем лезет пить по новой, не отдав предыдущее: такое странное оказалось интервью.

В результате министра стукнули еще полной бутылкой по голове, и он, не поняв ничего, стал оглядываться, где тут телекамера и как бы не попасть впросак, когда снимают в прямом эфире.

Там мы его и оставим.

Затем Эдик, увидев трансляцию любимого балета «Лебединое озеро», зафиндил дивного красавчика-танцора, одетого в белый костюм с жемчугами, прямо в идущую по соседству передачу о валяльной фабрике, причем сразу же на конвейер, где овечья шерсть проходит разные стадии обработки (ее мнут, колотят, прочесывают насквозь, мочат в керосиновой ванне и, наконец, пускают под валики, чтобы затем, в конце конвейера, на ленте стоял и не шатался новенький красавец-валенок).

Танцор в белом, помятый и поколоченный, сам сошел с конвейера после ванны с керосином, увернулся от могучих валиков и в результате вынырнул на складе готовой продукции, причем почти без костюма, и был вынужден прикрыться валенком, и все это на глазах у телезрителей!

А вот на соседнем экране из-за отсутствия танцора застопорился балет, балерина была вынуждена одна исполнять «па-де-де», то есть танец на двоих, и, не найдя вовремя поддержки, с разбегу прыгнула, залопотала в воздухе ногами, как гусь перед приземлением, и шлепнулась в оркестровую яму, пробив барабан.

— Бамм! — закричал в голос барабанщик, потрясая колотушкой в воздухе, так как ему пришлось время бить в барабан, а балерина плотно засела там.

(Через два дня пошел поток писем от телезрителей, которые благодарили режиссеров tv за смелое решение классики, за новое направление в хореографии, а то старое надоело, как собака, и т. д.)

Эдик же веселился от души, шаря взглядом по экранам, и нашел на зарубежном телевидении вполне благополучную, сонную демонстрацию протеста, которая шла по чистым, ухоженным улицам в сопровождении микроавтобусов (спокойно, человек в метре от человека) и несла плакаты на неизвестном Эдику языке и на этом же языке плавно произносила в мегафоны какие-то мирные лозунги.

И Эдик загнал эту демонстрацию в условия нашей вещевого толкучки — ее показывали на нижнем экране в рамках программы «Санитарный заслон негодным товарам».

Зарубежные демонстранты сразу же были засосаны толпой: лозунги, плакаты, мегафоны и микроавтобусы покосились и пропали, как в гнилом болоте, Эдик даже поразился, как это так, были люди, беззаботно против чего-то протестовали и вдруг растворились.

Эдик забеспокоился, нажал на кнопку пульта и перевел нашу толкучку на соседний экран, на опустевшую улицу, где перед тем исчезла демонстрация: толкучке это не повредило, народ продолжал кипеть как ни в чем не бывало, сосать пиво из баночек, кричать и трясти штанами, трусами, сапогами и кофтами прямо перед носом прохожих, но вдруг воздух огласился полицейскими сиренами, и к месту народного базарного крика начали стяги-

ваться национальные военные силы, видимо, поднятые по тревоге с ближайших баз; в воздухе зависли вертолеты, заверещали переговорные коробочки на груди у полицейских — дело-то происходило перед дворцом президента!

А толкучка, понятно ежу, была иностранная, т. е. налицо массовый шпионаж или, еще хуже, контрабанда в особо крупных размерах.

Эдик радовался и приобретал опыт, готовясь, как приказала ворона Валькирия, к решающему завтрашнему дню — ко дню казни Барби Маши и волшебника Амати!

КРЫСИНЫЕ ХОДЫ

Барби Маша, сидя у своего маленького волшебного телефона, связалась с бедной украденной Барби Кэт (мы помним, что ее унесли из кукольного домика посетители дедушки Ивана).

Бедная Барби Кэт лежала, плотно прижатая, под подушкой у девочки, родители которой, раздосадованные неудачным посещением старика, уволокли у него полотенце из ванной и подушку с кровати, — другие, как они видели, вынесли из дедова дома табуретки, а мы чем хуже, подумали эти гости и нашли себе куколку и все остальное.

Причем муж настаивал, чтобы обменять куклу Барби и подушку с полотенцем сразу же на две бутылки водки, но жена была женщина хозяйственная и хотела подождать, чтобы утром пойти на толкучку и продать все подороже, даже, может быть, за три бутылки!

Спор, таким образом, вышел у них такой: выпить две, но сейчас — или три, но завтра.

Муж был более нетерпеливым, жена более разумной.

Пока суд да дело, ребенок, девочка Женечка, спрятала Барби в единственное место, куда могла, — себе под ухо.

В процессе спора, разъярившись, хозяин сунул дедову подушку на пол за шкаф коту под хвост. — со словами «Не доставайся же ты никому!».

Хозяйка возразила, что не барин твой кот спать на подушках, из-за чего у нее с мужем возникло соревнование по перетягиванию подушки.

Хозяин вроде бы побеждал, но тут подушка не выдержала и лопнула в двух местах, и вскоре место действия напоминало сцену из фильма «Музыкальная история» — тихо, как снег в этой кинокартине, падали на плечи, головы, на стол, кровать и на пол, медленно кружась в воздухе, белые куриные перья...

Привычная ко всему девочка не проснулась, сильно зажав куклу Барби Кэт под своей подушкой, — ребенок мечтал о кукле, и его мечта вдруг сбылась!

Папа и мама, правда, планировали завтра продать куколку, но до завтра еще было время, и девочка сладко спала, прижав щекой свою мечту и надеясь, что Барби не продадут так быстро...

— Как ты там, Кэт? — спрашивала Маша Барби.

— Ничего, — терпеливо отвечала Кэт, — тут почему-то идет снег...

— Хочешь вернуться ко мне?

— Да не знаю... Ребенок будет утром плакать...

— Не беспокойся, я подсуну им вместо тебя другую, новенькую... И она никуда не денется от ребенка. Тебя можно украсть, ты такой создана, а я дам девочке куклу-нетеряйку.

И Кэт вернулась к Барби Маше в кукольный домик, на подоконник к деду Ивану — на свою беду...

Дед уже сладко спал (без подушки, правда, он положил под голову старый свитер), а Барби Маша и Барби Кэт спать не могли — они знали, что готовится нечто страшное.

Барби Маша уступила Барби Кэт свою постель, а сама легла на диване (гостям ведь отдают все лучшее).

Вскоре произошло маленькое, но зловещее событие — из здания телецентра выскочила красная и распаренная, как солдат из бани, тетка: она махала руками, пытаясь остановить такси, а потом плюнула ему вслед (у такси сразу спустила шина) и вдруг подпрыгнула, хлопнула себе руками по бокам, и тут же мини-юбка у нее повисла сзади хвостом, на ногах появились короткие черные штанишки, а на плечах рваная шаль — и, взмахнув этой шалью, лохматая ворона снялась с места и криво полетела, как кусок мятой и драной черной копрки.

Завидев внизу дом деда Ивана и знакомое дерево с гнездами, ворона выпустила ноги не хуже, чем самолет шасси, повертела головой и в недоумении села в свое совершенно пустое (опустошенное Чумой) гнездо.

— Где мое имущество? — гаркнула она.

Разбуженные соседки-вороны заорали, что тут был разбой, большой грабеж и шмон по всем явкам, из хат было похищено все у всех, «а не только у тебя», кричали всем скопом вороны — они считали Вальку приبلудной иностранкой и вообще слишком умной, и искренне не любили ее.

Кстати, есть люди, которых все любят, и люди, которых не любит никто, — и угадайте, кому приходится хуже?

Валька, добавим, презирала тех, кто ее не ценил, то есть все человечество и всех волшебников мира, а также всех животных, считая их полными ничтожествами: дур птиц, зараз насекомых, нахалок мышей, тупых, как валенки, рыб и наглых, как танки, ослов, не говоря уже о таких вырождаках, как кошки и собаки.

Самое интересное, что ей никогда не было никого жалко!

И жилось ей, как мы видим, превосходно.

Хотя ее тоже никто никогда не любил и не жалел.

Такая вот загадка природы.

Итак, ворона Валька сидела в гнезде носом вниз и смотрела на темные окна деда Ивана: все форточки были закрыты.

А такой премудрости, чтобы проникать в чужие запертые помещения, ворона не набралась еще, долбя сухую корку науки — или у колдуна Амати вообще не было полезных советов на тему воровства и грабежа.

И сейчас она долбала эту корку, как дятел, громко и настырно.

Вороны закаркали:

— Кончай метелить это дело!

И много еще всяких выражений они вспомнили, но Валька вдруг сама себе кивнула и спрятала корку за щеку.

Она поняла, что надо делать.

Тут же она камнем упала вниз, на мостовую (вороны закричали: «Туда тебе и дорога!»), и обернулась крысой.

Она прогиснула в отдушину подвала, чувствуя себя превосходно в новом обмундировании.

Было так легко, так свободно, Валька ощущала под носом чудные торчащие фонтаном усики, сзади струился длинный хвост, сама Валька была покрыта серым бархатистым мехом... Блеск!

Валька даже потеряла представление, где она находится и зачем сюда пришла.

Она чувствовала себя прекрасной дамой среди ночи.

Кстати, тут же загорелись зелененькие огоньки такси — этих такси было много вокруг, целая стоянка, и Валька даже грациозно подняла лапку, не соображая, какие такие такси могут быть в подвале пятиэтажки!

Немедленно парочка такси подъехала к ней в темноте и укусила ее за ногу.

Здесь бы Вальке и пришел конец (эти зеленые огоньки, разумеется, были кошачьими глазами, в подвале обитали полосатые мама-папа и их дети от первого по седьмой брак).

Однако Вальку спасла ее природная находчивость, которой ее снабдил мастер Амати при рождении.

С криком «А ну пошли, проклятущие!» Валька обратилась в слесаря Володю, в сапогах, телогрейке и меховой шапке.

Кошки сконфузились, присели на хвосты и полузакрыли глаза, так что во тьме теперь светили как бы зеленые полумесяцы, причем лежа.

Слесарь же Володя, вполголоса ругаясь и тряся укушенной рукой, искал в потолке дырку, с трудом ее нашел, сунул туда нос, понюхал, съежился, выпустил длинный хвост, четыре лапки и в виде крысы пролез в узкий лаз.

Множество свободных такси с зелеными огнями тут же подъехало к дыре с намерением поймать пассажира и разделить по-честному между всем таксопарком, но крыса уже ловко лезла вверх по норе.

О крысиные ходы, о шахты и коридоры в стенах!

Люди ходят своими путями, зарабатывают свой хлеб и кормят им не только себя, но и всех своих родных, малых и слабых, детей, стариков, болящих и непутевых.

Кроме того, они кормят правительство, армию, милицию и дорожное хозяйство, а также тех, кто сидит в тюрьмах и парламентах, в управлениях, советах и комитетах, а также тараканов и крыс.

Везде, где работает человек, заводятся и крысы, едят, грызут, уничтожают, продырявливают, подтачивают — и все разрушается: дома, дворцы, избы и ракетодомы.

Так и кажется, что все, что построено, приманивает к себе жадные зубы и вороватые лапки, которые — только позволь — все сотрут в порошок.

А разговор у нас сейчас пойдет о волшебнике, мастере Амати, который живет себе в хрустальном дворце в Гималаях и, не останавливаясь, мастерит то скрипки, то гитары, то барабаны.

Он-то как раз обезопасил себя от крыс (хрусталь не поддается мышинным зубам), от телевизора (не включая), от газет (не выписывая их), он давно удалился от мира и не желает знать, какое зло там происходит.

Он сам делает только добрые дела.

Смастерит виолончель и сунет ее в дешевый магазин, куда придет мамаша маленького первоклассника, которая вздохнет, пересчитает бумажки в потертом кошельке и купит ребенку инструмент, а потом все удивляются, откуда в далеком степном городе появился такой талант, зудит смычком по струнам, а соседи не стучат в стенки, по батареям и в потолок шваброй — нет, они пишут письма на центральное телевидение: у нас вырос выдающийся гений, заберите его в консерваторию, чтобы он тут не пропал!

И вот взять ту же Вальку — Амати ведь ее подобрал брошенным новорожденным крысенком, от которого отказалась даже родная мать, опытная крыса из большого магазина.

Мастер Амати пожалел бедного подышающего крысенка и снабдил его мощным защитным устройством — всегда, при всех обстоятельствах самому спасать свою шкуру (имелось в виду, что Амати не может заниматься судьбой крысенка всю дорогу — некогда же).

Ну и вышел такой результат, что сейчас крыса пролезет в комнату деда Ивана, украдет спящую на кровати куклу Барби Кэт, превратится в тетку, откроет форточку, превратится в ворону, и вылетит вон с Барби Кэт в клюве, и понесет ее к себе домой, где сидит дикий человек Сила Грязнов и без передышки смотрит сорок телевизоров.

И все это для того, чтобы завтра в семь вечера уничтожить доброго Амати и его волшебную куклу Барби Машу.

Придя домой через форточку, ворона Валька обернулась женщиной Валентиной Ивановной в халате, домашних тапках сорокового размера на босу ногу и с сигаретой в зубах.

Не глядя, она сунула Барби Кэт в ящик кухонного стола к грязным ножам и кривым вилкам (что касается хозяйства, Валентина Ивановна была не мастак) и закричала:

— Идем в ресторан отмечать, собирайся, Эдик!

Эдик ответил:

— Сила!

Он имел в виду, что его зовут теперь не Эдик, а Сила.

И они в своем обычном виде покатались в ресторан, где вскоре Валентина Ивановна, не дождавшись заказанных блюд, пошла на кухню прямо в халате и тапочках и съела неготового поросенка, мешок ананасов и два кило вермишели прямо из котла, а когда работники кухни начали возражать (Сила Грязнов в это время пил суп жульен, зачерпывая из большой кастрюли малой кастрюлей, а закусывал бруском масла) — пообедавшая пара вытерлась фартуками поваров и пошла к выходу мимо нападавших, и Валентину Ивановну никто не тронул пальцем, а Силу Грязнова пытались все-таки задержать, но Валентина грозно оглянулась, и те же охранники и официанты бережно подняли отбивающегося руками и ногами Эдика на плечи и, как покойного, понесли к выходу, а оркестр стоя пел песню битлов «Let it be» («Let it be»).

СИЛА ГРЯЗНОВ ВЫБИРАЕТ ПРОФЕССИЮ

Единственная ошибка, однако, которую сделала ворона Валька в своей жизни, была та, что она приняла Барби Кэт за Барби Машу — игрушку за волшебницу: поскольку Барби Маша уступила свою кровать Барби Кэт.

И в результате ворона своровала для своей передачи совершенно не ту куклу.

Видимо, Валька не могла себе представить, что Барби Маша может спать не в собственной роскошной кровати.

Барби Маша, лежа в потемках на узком диванчике, ничего не успела сделать — ни крикнуть, ни выскочить навстречу жадной лапе Вальки, чтобы спасти Барби Кэт.

И теперь, глядя в темноту, она плакала в душе и спрашивала себя: почему она не спасла Барби Кэт?

Провожая волшебницу Барби Машу в мир, мастер Амати дал ей возможность спасти других, но сказал, что себе самой она ничем, к сожалению, помочь никогда не сможет.

Значит, Барби Маша должна была выступить вперед, чтобы схватили ее, а не Барби Кэт.

Барби Маша обязана была подставить себя вместо Кэт!

Но не сделала ничего.

Куколка Барби Маша лежала и размышляла.

И она поняла, что в данном случае, наверно, спасала не себя: какой-то страх, она это чувствовала, висел в воздухе — и если бы Валька схватила именно ее, то Маша никогда никому бы помочь не смогла.

А сейчас, на свободе, Маше много чего приходило в голову.

Она поняла, что ворона Валька замышляет что-то жуткое.

До сих пор Барби Маша не вступала с ней в борьбу, так как считала, что ворона почему-то охотится именно за ней, — а ведь сама Маша не имела права себя защитить.

Но теперь она поняла, что опасность угрожает не только ей и надо выяснить, кому — может быть, деду Ивану.

Может быть, еще кому-нибудь.

Приходилось все рассчитывать на два хода вперед и действовать!

Вот, наверно, почему она затаилась и разрешила Вальке унести Барби Кэт.

Надо было разведать, что ворона собирается совершить.

Нужно было проникнуть к ней в дом, но Маша не могла.

Вспомним, что все ученики мастера Амати были добрые волшебники и не представляли себе, что можно влезть в чужой дом без спроса или со шпионскими намерениями.

Валька была не в счет, она не была ученицей мастера и нарушала правила, действовала грубой силой, используя уроки Амати в своих целях.

Ученикам Амати запрещалось также проникать в чужие мысли.

(Почему и ворона Валька, как ни силилась, не была в состоянии понять, что, например, думает в данный момент кукла Барби Маша.)

Барби Маша взялась за свой волшебный телефон и связалась с Барби Кэт.

— Как ты себя чувствуешь?

— Ой, я лежу закрытая в кухонном столе... Здесь так грязно и ходят какие-то домашние животные, такие жесткие... как утюги... С усами... На меня наступают... Раз, два, три... У них по шесть ног...

— Терпи, я тебя скоро освобожу... Ты можешь передавать мне все, что говорят в этом доме?

— Наверное, могу. Ой, Маша, в соседней комнате сидит Валька... С ней какой-то толстый человек... Они смотрят телевизор и смеются, там у них сорок экранов...

А тем временем Валентина Ивановна и Сила Грязнов, каждый со своей бутылкой, каждый в своем кресле, хохоча, нажимали на пультах.

Гремела музыка, симфоническая и всякая другая, шли вечерние конкурсы с выигрышем автомобилей, прыгали по экранам убийцы, динозавры и железные великаны, вампиры и красавицы с искусственными носами, зубами и подбородками.

Каждые пять минут пьяный Эдик порывался принять участие в конкурсе, дать по морде президенту, дать по шее фигуристке, чтобы она упала зубами об стенку, заткнуть оратору рот сапогом, придушить вон ту кошку или проткнуть шину у чемпиона авторалли: он слишком живо воспринимал телевидение.

Ленивая Валентина Ивановна сидела, как кучка больших тыков, в своем кресле и ничего ему не разрешала, тогда Эдик визгливо на нее кричал.

Барби Кэт вела репортаж:

— Он сбегал сюда, на кухню, и взял с плиты сковородку... замахнулся... Запустил в Вальку... Не попал... Она превратилась в кобру, стоит на хвосте... Раздула капюшон, шевелит языком... и чем-то стучит... Хвостом... Он залез под кровать, пищит... Она превратилась опять в Вальку... Он не вылезает... Бойтся... Она говорит: «Испугался, дурачок?» Он говорит: «Ух ты, змея...»

Дальше разговор у Вальки и Грязнова был такой (причем она стояла на четвереньках, заглядывая под кровать):

— Когда мы получим все, ты будешь кем хочешь.

— Кем? — говорил Сила из-под дивана.

— Ну хочешь, — римским папой?

— А кто это?

— За границей он главный в церкви.

— Да ну... Молиться, что ли?... Да ну!

— Хочешь — космонавтом?

— Да ну... Там у них еда из тюбиков... Выйти и то некуда...

— Хочешь — начальником на телевидении!..

— Да ну, на работу таскаться... К девяти утра...

— А кем ты хочешь быть?

Эдик поломался и сказал:

— Честно?

— Ну.

— Я хочу быть, как ты. Вообще все уметь. Понятно?

— Быть, как я?! Да я двадцать лет училась! Жила, понимаешь, в диком месте, в горах! Диета, спорт, ни капли спиртного! Работала за компьютером! Никаких друзей, никаких гулянок! Я плаваю, как бобик! Я знаю языки! Хотя кончила всего четыре класса! Я могу все! Меня учил сам волшебник Амати! Он меня одобрял! Я главная на свете! То есть завтра буду главной... А ты... Ишь ты... Кто ты такой?! Ты кто?

— Я кто? Да я вообще не знаю.. Ни отца, ни матери... Мне сказали, что мать меня бросила в мусорный контейнер, а бабушка с бабушкой нашли и забрали домой... Но я от них ушел... Они меня ругали, попрекали... Что я буду, как моя мать... Если не буду учиться. Что двойки... И учителя в школе зундели... А ребята били... Я ушел от всех... Я хочу быть самым главным, я всем покажу, кто я... Скажи мне, что для этого делать?

— Надо что? Учиться, учиться и учиться, как сказал один умный человек Ленин, который учился и потом всем показал, где раки зимуют! От это я понимаю! Это был мужик!

— Учиться я не буду. Не такой я дурак. Вон Толик с нашего двора не учился, а стал богатым. У него два ларька на рынке. У него целая группировка ребят. Он ездит в «мерседесе». Три жены. Все жены работают, деньги ему носят каждый день, а он только считает.

— Ой! — сказала Валька базарным голосом. — Ой! Видали мы твоего Толика. Его вчера взорвали его ребята прямо в «мерседесе»!

— Правда? — обрадовался Эдик, вылезая из-под дивана. — Вот хорошо! А я ему был должен три копейки еще с детства, он сказал, твой долг вырос неимоверно, ты сидишь на счетчике и должен мне миллиард. И я перестал приходить домой, так его боялся. Как отлично! — радовался Эдик. — Теперь вернусь к бабушке и дедушке.

— Не радуйся понапрасну, никто твоего Толика еще не тронул, но если ты меня будешь слушаться, я этого Толика взорву точно.

— Знаешь, и Гагика тоже.

— Ладно, ладно.

— И Хромого.

— И Хромого...

— Сегодня, — капризным тоном сказал Эдик.

— Сегодня я уже отработала.

— Ну ты и змея! А завтра?

— Посмотрим, как вести будешь... себя, — сказала Валька и пошла спать к себе в комнату. — Завтра, — она обернулась и широко зевнула, — мы с тобой пойдем на телевидение и завоюем весь мир.

И все эти глупые разговоры должны были слушать обе Барби.

— Он вылез из-под кровати и опять смотрит телевизор, — заключила свой рассказ Барби Кэт.

— Во обращайся ко мне, — сказала Барби Маша, — а утром будешь снова лежать в ящике и подслушивать.

И Барби Кэт вернулась в дедов домик, приняла ванну, переделалась и легла на Машину кровать.

А Барби Маша встала, немного поколдовала и оказалась у проходной на телевидении, где заступила на пост дежурного милиционера в виде красотки в мундире и сапогах.

Там ее и застал рассвет.

Барби Кэт уже лежала в грязном ящике на кухне у Валентины Ивановны и передавала Барби Маше:

— Она встала... Поднимает Эдика... Он не встает... Принесла чайник холодной воды... Поливает Эдика... Он закрылся подушкой и спит на мокром... Превратилась в кобру... Он залег под кровать... Кобра выгнала его из-под кровати... Он переодевается... Кричит: «Никто меня никогда не мог разбудить!» Обзывает ее гадюкой семибатюшной. Она превратилась в

Валентину Ивановну... Попила чаю из носика чайника... Побежали ловить машину... Все.

— Вас слышу, конец сеанса, — ласково сказала милиционерка Маша и отключила переговорное устройство.

Прошло две минуты.

Тут же она заступила дорогу толстой накрашенной известной певице (в сопровождении сильно небритого, испуганного ассистента) со словами:

— Документы попрошу.

— Ооу, — запела певица, — нас, блин, не узнали...

— Что у вас есть на вход? — спросила Маша, берясь за кобуру.

— Испугала как не знаю что, — сказала певица и исчезла.

Тут же мимо милиционера быстро пробежал рыженький таракан и исчез в щели.

Сопровождающий певицу ассистент топтался у входа, и вдруг его окликнули из бюро пропусков:

— Господин Сила Львович Грязнов, есть такой?

— Есть! — рявкнул Эдик, и вскоре он был пропущен усатым милиционером, а красавицы милиционерки уже не было.

ЗВУКИ МУЗЫКИ

А что поделывает наш дедушка Иван?

Ведь Барби Маша, как мы знаем, с самого раннего утра исчезла, оставив деду кастрюлю вечно теплых макарон с томатным соусом.

Барбин домик стоял пустой.

Дед Иван, обнаружив эту пропажу, с утра толочился во дворе под старой липой, глядя вверх на вороньи гнезда, — в прошлый раз именно ворона унесла у него Машу и спрятала на дереве.

Теперь он смотрел вверх и думал, настолько ли умны вороны, чтобы прятать свои находки каждый раз в новом месте.

Однако следовало на всякий случай проверить гнезда.

Дед, как говорится, сошел с круга — только что в кукольном домике сидели две Барби, Маша и Кэт, и вдруг такой фокус — нет ни одной.

Буквально испарились за ночь.

Для кого теперь, спрашивается, мастерить музыкальный инструмент под названием орган, если Маша украдена?

Побежав под липами, дед Иван снялся с места и, голодный, отправился на автобусе по знакомому маршруту в поселок Восточный, надеясь встретить там мальчика по прозвищу Чума, чтобы этот Чума оказал ему любезность и слазил еще раз на липу, посмотрел бы в гнезда насчет Барби Маши.

Ведь дедова работа над музыкальным органчиком почти подошла к концу, оставалось только отделать скамеечку для куклы Маши.

Причем дед Иван смастерил этот музыкальный инструмент с одной маленькой хитростью — стоило посадить Машу за органчик, как скамейка прогибалась, пружинка под ней растягивалась, задвижка отскакивала и сама собой начиналась музыка, — а впечатление было, что играет кукла.

То есть органчик этот был замечательной игрушкой с механическим заводом (дед Иван уже подкрутил колесико) — не хватало только скамейки и куклы Маши для испытаний.

Спустя час осиротевший дед Иван, стало быть, уже бегал по поселку Восточный, и за ним следовали две уличные собаки — они, видимо, признали в нем старого друга и не отставали от него ни на шаг, а частенько и забегали вперед.

Дед искал мальчика Чуму в большом городе Восточный, ни на что не надеясь.

Была, правда, одна зацепка — местные пенсионерки.

Они наверняка знали и Чуму, и его мать Шашку.

Но дед Иван так и не решился обратиться к бабушкам, хотя они сидели наготове там и тут у подъездов на скамейках специально для информации (сбор и передача новостей, устная газета «Глаза жильцов»).

Но именно у них почему-то неловко было спрашивать, где здесь проживает парень Чума (имя дед забыл).

Не мог дед вот так просто взять и подойти к бабкам, которые по возрасту годились ему в невесты, и сказать: «Не знаете ли вы, где тут живет Чума или его мама Шашка?»

Бабульки наверняка бы подняли его на смех, обозвали психом и подумали бы, что это он таким путем хочет познакомиться с ними со всеми и жениться.

(Бабульки только об этом и мечтают всегда, чтобы иметь возможность сказать «во дурак больной» и посмеяться над каким-нибудь дедушкой.)

Тем не менее две собаки, сопровождавшие его, Дамка и Тузик, сразу догадались, кого ищет дед Иван.

Они помнили Ивана по прошлой встрече, когда им пришлось сопровождать куклу Барби в лес к тому месту, где дед Иван лежал без памяти, рукой в капкане.

Именно они спасли деда, так получилось.

А, как известно, если кто-то кого-то когда-то спас, то этот спаситель будет любить спасенного всю жизнь!

Тем более что дед Иван в прошлый раз еще и угостил Дамку с Тузиком хдебом, чем окончательно покорила сердца бедных собачьих нищенков.

И собаки, охваченные чувством любви к спасенному деду Ивану, нежно виляя хвостами, бежали впереди, оглядываясь и как бы приглашая его следовать за ними.

В это же самое время в городе, в квартире деда Ивана, зажегся свет, яркий, как в больнице во время операции...

Там вдруг зазвучал игрушечный орган — один, без деда и без Барби Маши (мало ли, соскочила пружинка в механизме), — и музыка играла, орган вздыхал, рокотал, нежно переливался, как ручеек, и гудел, как оркестр трубочей.

То есть работал на полную мощность.

Соседки в доме так и замерли на своих кухнях, вороны в гнездах прилегли, дети за помойкой во дворе перестали привязывать коту на хвост консервную банку, кот перестал дико орать и вырвался из старой телогрейки, в которую его завернули умные ребята.

Дяденьки за длинным дощатым столом перестали стучать костяшками домино. Они начали нежно переставлять их, как будто играли в шахматы, и произошло еще одно событие: бутылка под скамейкой, почти полная, сама собой внезапно ахнула и опрокинулась навзничь как бы в обмороке, короче говоря, вылилась.

А органная музыка все играла.

И местный дворовый бандит вдруг перестал заботливо считать патроны, а пошел и выкинул их в ближайший пруд вместе с пистолетом, наручниками и охотничьим ножиком типа «белка».

После чего этот бандит побежал в церковь и там, весь дрожа (а музыка играла), купил сто свечек и поставил их у всех икон, а потом этот бандюга заказал панихиду по мамочке и папочке (убиенным Анатолию и Матильде), которых ему пришлось прикончить, а то бы они его вдвоем прикончили, такие дела.

Мы не будем здесь говорить, что волшебник мастер Амати спустился в дедову квартиру из своего хрустального дворца в Гималаях, нет.

Мастер Амати никуда не спускался.

Но его живо интересовали все музыкальные инструменты мира, и для знакомства с ними у мастера существовало несколько волшебных способов.

Мастер Амати и не был, и был в дедушкиной квартире, и он там и играл, и не играл на игрушечном органе, и этот орган остался прежним — а может быть, и приобрел какие-то новые свойства.

Во всяком случае, один человек, проезжавший мимо дедова дома, который не видел собственных детей вот уже пять лет и не вспоминал о них ни по каким праздникам, вдруг резко крутанул руль «мерседеса» и въехал во двор своего бывшего дома.

Затем этот человек взбежал на второй этаж и позвонил, а когда ему открыла старая бабушка и уже совсем было хотела плюнуть ему в лицо и на этом захлопнуть дверь, странный посетитель (а орган все играл и играл) быстро заскочил в квартиру, окинул взглядом всю нищую обстановку, увидел две бедняцкие кровати детей, двух плюшевых старых мишек на подушках и множество зачитанных книг на полках — и только тогда он спросил старушку: «А дети в школе?» — и, не получив ответа, вынул из кармана свой большой кошелек и смиренно положил на письменный стол.

Бабушка тоже слушала тихую музыку из-за стены и поэтому не сказала: «Обойдемся без тебя» (а это был ее собственный сын), — а только прошептала со слезами: «Сердце тебе надо лечить, сердце», — и на этом мы их оставим.

Органчик поиграл-поиграл, а потом вдруг яркий свет в окнах деда погас и музыка кончилась.

Доминошники тут же стали страшно стучать костяшками об стол, кто-то крикнул: «Рыба!», кто-то протянул длинную руку под стол и обнаружил там пустую бутылку, и все начали обвинять друг друга, произнося вслух заковыристые фразы.

То были слова, которых вы не найдете в школьных словарях (это особый язык, который никто не хочет знать, но понимают его все в отличие от английского, который все хотят знать, но никто не понимает).

Странно, кстати, было бы наоборот, если бы доминошники за столом начали выяснять отношения и кричать друг другу по-английски, к примеру, «кто есть кто?».

А за помойкой, как только музыка кончилась, дети тут же начали с веревкой, телогрейкой и консервной банкой искать кота.

Но кот уже сидел на крыше и с интересом смотрел, как бегают мальчишки.

«Маленькие ведь, как мыши, — думал кот, — поймать и съесть».

А тот миллиардер, который только что оставил свой кошелек матери, тронув с места «мерседес» как раз, когда музыка прекратилась (то есть секунду спустя), подумал о том, что сделал большую глупость и надо бы вернуться, добрая мамаша отопрет. А уж как забрать лежащие на столе деньги, никого учить не надо — и этот человек решительно крутанул руль.

И его «мерседес» тут же крепко поцеловался с чужим автомобилем марки «чероки», и прохожий радостно воскликнул «Есть!», а из «чероки» уже вылезал владелец, похожий на трехкамерный холодильник, и на этом мы их тоже оставим, туда едут милиция с сиреной и «Скорая помощь».

Мы не говорим уже о том бандите, который, безоружный и со слезами на глазах, помолвившись в церкви, побежал по собственной воле в отделение милиции и силой стал рваться в камеру предварительного заключения. При чем он лез на дежурного сержанта, как таран, на коленях, стуча лбом об пол и вопя: «Я убил своих родителей, Толю Хромого и Маню Кошелку, вы их знали».

И он так плакал и убивался, что над ним сжалились и пустили его в камеру.

Но вот музыка кончилась, и бандит стал вырываться из камеры заключения обратно с криком: «Обижаешь сироту, мусор!»

На этом мы их опять-таки оставим.

ДЕД ИВАН И ПОДРОСТОК ЧУМА

Тем временем дед Иван, пребывая в поселке Восточный, шел и шел за собаками Тузиком и Дамкой, пока не обнаружил мальчика Игорька-Чуму на улице — этот мальчик бежал по краю тротуара, тряся пачкой завтрашней газеты «Ленинский путь» (местная восточновская пресса).

Дед, смутившись, купил у него экземпляр и спросил:

— Не узнаешь?

— А чо надо? — ответил ему малец.

— Ты еще с матерью ко мне приходил, — сказал дедушка Иван.

— А чо надо? — возразил Чума-Игорек.

— Помнишь, ты на дерево лазал, — сказал Иван.

— Ну и чо надо? — сплюнул Игорек.

— Ты мне нужен опять, — сказал дед.

— И чо надо? — просипел Игорек.

— Помнишь, ты еще на дереве нашел... В гнезде... — Тут дед Иван замялся.

— А чо надо-то?! — крикнул Игорек-Чума деду. — Кольцо, да? Кольцо, да? Так его у матери отобрали, по голове стукнули, она в больнице, понял, да? Кольцо твое.

Дед Иван опешил.

— Ты что! Я не знал!

— Вот, — вежливо заключил Чума. — Рой отсюда, дед. Нет у нас кольца.

— Да мне кольца не надо, оно твое.

— Мое! — улыбнулся Игорек-Чума такой улыбкой, что собаки на всякий случай отошли на расстояние протянутой ноги.

— И как ты теперь?

— А чо надо? — опять ответил Игорек. — Чо те надо-то, начальник?

— Надо опять посмотреть гнезда, — твердо сказал дед Иван. — Что найдешь — то твое. А мне надо проверить, не украли ли опять куклу.

— Куклы кому нужны? — искренне удивился Чума.

— Воронам, — сказал дед.

— А вам-то на что?

— Да это не мне, — соврал дед. — Выполнию заказ... А ты найдешь опять в гнезде что-нибудь, продашь, матери гостинца купишь.

— Ей сказали, надо минералку... Фрукты. А денег-то нету! — Тут Чума впервые пожаловался: — Не покупают газеты у меня!

Он посмотрел на дедушку Ивана своими маленькими голодными глазами.

Собаки подошли поближе и тоже слушали.

— Она уже неделю лежит, — сказал Игорек. — И есть нечего.

— Ну поехали! — сказал дед Иван. — У меня макароны есть.

— Вот газеты надо продать, — упорно произнес Игорек. — Тогда у меня у самого деньги будут. Мамке в больницу кто отнесет? Только я. А мать велела не брать ни у кого. Сказала, тебе сначала все дадут — и покурить, и угостят, и вышить предложат, а потом скажут: ты пил, ты ел, курил — отдавай деньги. Или иди воруй, убивай, зарабатывай с нами. Так скажут. Ей так сказали. Когда она была молодая. Ей знаешь как пришлось! Ты не знаешь, начальник! Вот они у нее и кольцо отобрали, как за те долги. Она плакала, не хотела отдавать.

Дед Иван оглянулся. Вокруг не было ни души.

— Так ты не здесь продавай газеты. Ты у автобусной остановки. Там хоть народу больше.

— Туда меня мужики не пускают... И тетки... Конкуренция.

— Ладно, — сказал дед. — Давай мне газеты, я сам продам.

Они пошли к автобусной остановке, где дед Иван, приосанясь, закричал тонким стариковским голосом:

— А вот кому завтрашний номер! Мэр города о воровстве! Куда уходят наши деньги! Маленькая зарплата и как с этим бороться!

(Дед сочинял вдохновенно.)

Редкие прохожие начали останавливаться. Пара милиционеров подошла, постояла и вдруг купила два номера.

Вдали, прячась за углом, маячил маленький Чума.

Всю пачку дед Иван продал за пять минут.

С раздувшимся карманом он пошел через площадь к Чуме.

Но его остановил какой-то парень.

— Деньги давай, дед, это не твоя территория. А это наша территория.

И тут бешено залаяли Дамка и Тузик.

Оскалясь, с пеной у рта, они кидались на парня, как охотничьи лайки на лося.

Парень отступил, споткнулся, упал.

Дамка кинулась к нему, самозабвенно лая. У нее, видно, были к нему свои счеы.

Тузик атаковал с другой стороны.

Парень вскочил и с проклятиями кинулся бежать, провожаемый храброй парой.

В это время подошел автобус.

Чума быстро среагировал и оказался в автобусе еще раньше деда.

Что самое интересное, обе собаки обнаружили под лавкой уже после отправления. Они лежали, тяжело дыша, и поглядывали любящими глазами на деда.

Дедушка Иван даже начал строить планы, как приведет их домой, будет кормить макаронами, гулять с ними, и что если их вымыть и расчесать, то Дамка будет вылитый тибетский терьер с отклонениями в сторону борзой (ноги длинноваты и общая потрясающая худоба).

Что касается Тузика, то он был ростом и ногами похож на бульдога, только с хвостом бубликом и не такой высокий, а мордой Тузик смахивал бы на терьера (усы и борода), если бы уши не подгуляли.

Дедушка Иван не мог признаться самому себе, что ему трудно возвращаться в пустой дом.

Однако деликатные собаки не стали никому навязываться, а сошли на первой же остановке «Фабрика-кухня». Видимо, ночью они подрабатывали сторожами.

Дед Иван, не глядя, отдал Игорьку-Чуме все деньги из кармана, зато Чума все их пересчитал.

Денег оказалось даже больше.

Может быть, кто-то по душевной доброте сунул Ивану лишнего, старикам не то что молодежи — все стараются помочь (хотя дед честно давал сдачу).

Или у него в кармане были собственные деньги.

— Ничего, важно, что не меньше! — сказал торжественно дед.

— Нам чужого не надо, — хмуро ответил Игорек и вернул сдачу.

— Это ты зря, но я тебя понимаю, — ответил дед.

Так они ехали навстречу приключениям, а тем временем волшебница Валькирия тоже не стояла на месте.

Волшебница Валькирия, она же телевизионный ведущий Валентина, она же ворона Валька, она же крыса Бесфамильная, даром времени не теряла и носилась по всему телевидению, как катер на воздушной подушке («подкидывш», по-морскому), а за ней на невидимой привязи, в виде водного лыжника, бороздил коридоры Сила Грязнов.

Валентина Ивановна, до одурения похожая на известную эстрадную певицу, хрипая, накрашенная, лохматая, в мини-юбке, отличалась от артистки в худшую сторону, т. е. имела необъяснимую привычку плевать на пол, ковыряться в носу и выражалась теми же словами, что и каменщик в том

случае, когда ему на ногу падает второй кирпич, или слесарь при виде свороченного набок вентиля с горячей водой, которая течет прямо в руки.

Тем не менее Вальку ценило руководство, все у нее кипело, указания исполнялись, уже человек привез хирургические инструменты, другой был послан за клюквой и т. д.

Тем временем Валька в сопровождении Силы Грязнова летела по коридорам телевидения, направляясь на совещание.

И тут произошел один досадный случай.

Валька завернула за угол, заложив крутой вираж, а Сила Грязнов не вписался в поворот и затормозил, ткнувшись плечом о стену, и тут же влетел в объятия юной милиционерки.

— Ваши документы, — приказала милиционерка, ослепительно улыбаясь.

Сила Грязнов где-то уже видел это личико, то ли вчера в ящике кухонного стола, то ли сегодня у Валентины в сумке...

Эдик (Сила Грязнов), и без того скандальный, а тут еще и плечо задето, оскалился и сказал прямо в это чистенькое, намытое, кукольное лицо:

— Пошла ты!

При этом он отодвинул милиционерку пухлой рукой.

Но она не отодвинулась.

Мало того, здесь же, как по волшебству, оказался патруль, и Эдика повели выяснять насчет документов (пропуск на телевидение у него куда-то делся).

Повести-то Эдика повели, но он снова возник на том же месте в пустынном коридоре у поворота.

Вместо него исчезла юная милиционерка.

Причем она исчезла как-то постепенно, растаяла по частям.

На месте ее белокурой кукольной головы оказалось рыло Эдика, красное, с продолговатым носиком и без подбородка, но зато с редкими усишками.

Вы бы видели эту морду над безупречным мундиром, юбочкой и блестящими сапожками милиционерки!

Потом испарился мундир, вместо него возник мятый серенький пиджак Эдика и под ним шерстяной свитер того же цвета, не стиранный с момента покупки.

Затем улетучились розовые ножки и начищенные сапожки и выявились тускло-синие джинсы, желтые на коленях, и заплеванные зимние коричневые сапоги на каблуках, стоптанных внутрь: то есть вылитый Эдик.

Эдик встряхнулся, сшиб ноготком лишнюю нитку с рукава (вот где была, кстати, роковая ошибка новоявленного Силы Грязнова, но об этом позже) и косолапо побежал за Валентиной Ивановной.

А другой Сила Грязнов в то же время буянил в местном отделении милиции, крича, что он всех казнит в кипящей кастрюле и сменит правительство, что он главный на телевидении и в мире. Была срочно вызвана скорая психиатрическая помощь.

ЭТО НЕ ТЫ, ЭДИК!

Приключения деда Ивана только еще начинались, когда он привел мальчика Игорька Шашкина по кличке Чума к себе во двор, и Чума, поплевав на руки, подтянулся и полез вверх на большую старую липу.

Тут же под деревом собрались болельщики — бабушка с внуком, который тоже хотел лезть на дерево, и она его держала, как владелица бульдога держит своего пса при виде кошки, — трехлетний же внук отчаянно вопил и молотил ногами в воздухе.

Далее под дерево пришли безработные мальчишки, которые все еще не поймали кота и поэтому носили с собой на всякий случай консервную банку, телогрейку и бечевку для приспособления банки к кошачьему хвосту.

Кроме этого, за событиями наблюдали домохозяйки из окошек, привязанные к своим кастрюлям и бакам.

Вороны, поднявшись с гнезд, носились над двором с криками «грабят» и «это наши яйца, это не вами положено, не вами и будет взято».

Сконфуженный дед Иван тоже стал кричать Игорьку, чтобы он не брал вороньих яиц.

Мальчики тут же кинулись тоже на дерево.

Однако недаром Чума — Игорек Шашкин славился во всем поселке Восточный своими талантами.

Мальчики не смогли подняться туда, где ходил свободно, на манер акробата, Игорек, то перемещаясь на одних руках, а то и ходя, как по канату, по тонким веткам.

В гнездах не было ничего интересного — вороны, видимо, в этот период интересовались только старой ватой, шерстью и поролоном, и их жилища напоминали распоротые матрацы.

Куклы Барби не было нигде.

Единственное, что нашел Чума, кроме яиц, был парик золотистого оттенка, загаженный и утоптаный (в нем как раз, среди локонов, и лежало будущее потомство ворон).

Чума вытряс из него яйца обратно в гнездо и положил себе в карман, подумав, что парик можно выстирать и отдать матери, она давно мечтала о чем-нибудь таком.

Со своей добычей Шашкин ловко спустился, попрощался с расстроенным дедом и побежал на автобус, а парик еще появится в нашем рассказе, ибо это был тот самый волшебный парик неряхи Валькирии, надев который человек сразу становился похожим на Вальку, как две капли воды.

Валькирия хранила этот парик в одном из своих вороньих гнезд, и ее родственницы, натуральные вороны, начали использовать парик с его обратной стороны как натуральную подстилку — очень удобно, ведь парик и есть гнездо, в которое некоторые кладут свою лысую голову, как яйцо.

Так что Валькирия, когда увидела, во что обратился ее парик, плюнула и забыла его в гнезде навеки (не стирать же):

Этот-то парик Игорек и припас для мамочки.

А дед ни с чем вернулся к себе домой и, пребывая в плохом настроении, пообедал теплыми макаронами и сел заканчивать скамеечку для Барби.

Что касается волшебницы Валентины Ивановны, то она уже ждала Эдика у лифта на телевидении.

Кстати сказать, Валентина Ивановна не могла бы точно сказать, зачем вообще ей нужен был Эдик.

Сильно пьющий, ленивый и злобный, вдобавок ко всему думает только о себе («А не обо мне», — говорила себе Валькирия), хотя все это ладно.

Ну моется только по субботам, размышляла Валькирия, почесываясь под париком, ну и я так моюсь, какая разница.

Далее Валькирия трезво рассуждала: ведь и я такая же, то есть много курю, пью и никогда не мою посуду, просто выкидаю! (Выкидываю, поправила она себя тут же, вспомнив уроки грамоты в Гималаях.)

А не мыла Валька посуду (а на фиг), потому что ела с газеты, будучи в душе вороной, иногда даже сидела на пустыре и рылась насчет червяков, которыми тут же и закусывала, и даже видавшие виды алкоголики из кустов наблюдали за этой картиной немного смущенно: сидит тетка на земле, выкапывает что-то из лужи и ест, обливаясь при этом грязью.

Но Валька ведь не видела себя со стороны в такие минуты.

Мало ли кто как ест. У человека часто нет времени и возможности контролировать свой аппетит.

Ну захотелось червячка заморить, ну и ладно.

А вот Эдика было как-то все время жалко.

Хотелось его кормить, баловать, покупать ему мороженое и цветные

шарики, новые штаны и рубашечки, хотелось приобрести ему деревянную кровать и трехколесный велосипед, ведро и совок для песка, игрушечные машинки, сачок для бабочек...

Но Эдику явно нужно было другое — власть над миром.

«Зачем?» — спрашивала себя Валькирия.

И так проживем.

«Мне не нужно ничего, — думала Валька, — его я как-никак прокормлю, будем ходить в парк, я его покатаю на качелях...»

(«Хочешь, сынок?» — мысленно говорила Валентина Ивановна.)

Наконец-то Эдик подбежал разболтанной походкой, как будто у него развинтились гайки, и волшебница Валентина с удовольствием на него посмотрела, сказала: «Успел, недовесок». — И они оба вошли в лифт ехать на совещание, на так называемую «летучку».

На летучке В. И. встала во главе длинного стола заседаний, подумала, поковыряла в носу, вытерла палец о стену и быстро перечислила главные вечерние программы и как с ними бороться.

Первое: все фильмы, игры и новости снимаются с эфира долой.

Второе: вместо всего этого по все программам пускаются две передачи — «Сам лечу свою куклу» и «Сам варю себе суп».

Третье: готовы ли кастрюли, вода, плиты, картошка-моркошка и все остальное?

Четвертое: готов ли оркестр духовых инструментов с маршем Шопена (так называемый «Марш Фюнебр», похоронный)?

Далее: готовы ли клюквенный сок, острый нож, штопор для выковыривания глаз, шило для ушей?

Есть ли спички и свечка для раскаливания клещей и наготове ли сами клещи?

Построена ли маленькая виселица, и куплен ли шнурок к ней?

Докладывали помощники, водители, грузчики, ассистенты, операторы и звуковики.

Все уже было закуплено, в случае нехватки средств Валентина Ивановна ловко доставала откуда-то из-под стола (на самом деле из воздуха) толстые пачки валюты.

Люди просто горели на работе.

У всех были красные уши и чуткие руки, которые сами собой шевелились при виде денег.

— А кто сидит на телефонной связи с Гималаями? — орала В. И. — Нам нужно будет соединиться с домом Амати в момент казни!

Дело двигалось.

Сила Грязнов сидел в кресле, выпрямившись, как струнка, и маленькие глаза его сверкали неподдельной злобой.

Валентина Ивановна несколько раз говорила, что именно Грязнову должны подчиняться все, кто сидит за главным пультом. Именно он должен будет переключить действие в нужный момент на кастрюлю с кипящим супом.

Но, когда В. И. произнесла в очередной раз: «И все, что он скажет, все выполнять как из пушки, понял-нет?» — она посмотрела на Силу и как-то засомневалась.

Что-то в нем было не то.

И вдруг Валька потянула носом воздух.

Тут же она завопила:

— Сила! Эдик!

— Ну, — лениво откликнулся Эдик.

— Ты че воще, чудик? — спросила Валька. — Совсем, что ли, уже?

— Ниче, — ответил Сила Грязнов.

— Ты че, в натуре, надушился, нет?

— Нет,— сказал Сила Грязнов и как-то странно заколебался, заструился в воздухе.

— Бандиты, измена! — завопила Валькирия. — Это не ты! Не он! Он ничем не воняет!

Сила Грязнов как-то вяло сказал:

— Не врубаюсь в юмор.

Валька вся просто кипела.

— Вчера чеснок жрал? Пива три бутылки выпил? Бутылку водки? Кислую капусту бочку на себя опрокинул? Когда искал рассол в подвале в магазине? — Она еще раз потянула носом. — А от него несет фиг знает чем!

Силу Грязнова в ответ перекосило и поволокло к открытой форточке.

Секунда — и он исчез.

В воздухе действительно стоял запах ландышей и молодого березового листа.

— Это мы еще выясним, кто тут шпионит,— злобно сказала Валентина,— и где мой Эдик.

Она сунула в рот сухую корку и принялась сосать, причмокивая.

— Так,— сказала Валентина Ивановна.— Где телефон?

И она заорала в трубку:

— Это мой сотрудник, вы что? Верните его! Куда? Это где это? А сколько время назад?

(Валька впопыхах забыла уроки доброго волшебника Амати, который каждый раз поправлял ее: «не сколько время», а «сколько ВРЕМЕНИ»).

— Да? Ну ладно, я сама вылетаю.

Тут сотрудники стали свидетелями того, что вместо Валентины Ивановны на столе оказалась лохматая ворона, которая крякнула, присела и вылетела в форточку, как снаряд.

Сотрудники, довольные и свободные, пошли в буфет, где мы их и оставим, а ворона Валька помчалась как сумасшедшая вслед за какой-то «скорой помощью», обогнала ее и уронила из лапы моток колючей проволоки прямо под колеса.

«Скорая» остановилась, шофер выскочил и присел перед дырявым колесом, вышел поразмяться и фельдшер, а Валька стукнулась оземь, обратилась в Володю-слесаря и открыла дверцу «скорой» пассатижами.

Эдик, выскочив из машины, кинулся на слесаря Володю под лозунгом «ща убью всех», желая отомстить за свой подбитый глаз, но Валькирия быстро сменила промасленный ватник и черные штаны слесаря на мини-юбку и белую пушистую кофточку.

Сила, увидев родное лицо, слегка успокоился.

Валькирия подула на Эдикиев глаз, похожий на лопнувший баклажан, и через мгновение Сила Грязнов смотрел двумя одинаковыми маленькими злыми глазенками.

— Поехали, сыночка,— сказала внезапно Валентина Ивановна.

И они поехали на такси обратно на телевидение.

— Я гений, ты никто! — воскликнул Сила Грязнов.

— Никто,— согласилась волшебница.

— Я властелин мира,— заявил Сила.— А они меня обижают.

— Я всех придушу за твою слезинку ребенка! — воскликнула Валентина Ивановна.— Ты у меня будешь царь мира.

— Когда? — с мукой в голосе спросил Эдик-Сила.

— Когда-когда, завтра вот.

И в доказательство она вытащила из сумки куклу Барби Кэт, которую с утра таскала с собой, и потрясла ею в воздухе.

Сила Грязнов хотел было разорвать куклу на запчасти, но Валентина Ивановна не дала.

— А то ты всю казнь мне испортишь. Терпи до завтра.

И она добавила:

— Терпеть, вертеть, видеть, ненавидеть, обидеть! Ты эти глаголы проходил в школе?

— Не понял,— ответил на это Сила.

— Ну вот, вот это все завтра и будет!

И с этими словами Валькирия сунула Кэт обратно в сумку, где пахло табаком, высохшим квасом (от старой хлебной корки), пудрой и почему-то керосином.

Потом Валькирия подумала, открыла свою сумку, полюбовалась на Кэт и сказала:

— Что-то она мне не нравится. Маша это или не Маша? Так. Хорошо. Ладно.

— Глаз болит,— пожаловался Сила.

— Мы отомстим, не мешай. Пусть все зрители принесут по Барби,— пробормотала Валентина Ивановна.— Авось я ее узнаю.

— Чего? — переспросил сонный Сила Грязнов.

Валькирия яростно сосала и грызла сухую корку, но, видимо, напрасно: ни в одном из пятнадцати томов книги «Несколько секретов для добрых волшебников» не содержалось совета о правильном проведении казни.

А Барби Маша сидела у деда Ивана в кукольном домике на окне и говорила в телефон:

— Кэт, Кэт, ты слышишь меня? Прием.

И Кэт, как бывалая радистка, отвечала полузадушенным голосом из сумки Вальки:

— Слышу тебя, прием. Какая-то казнь назначена на завтра. Остальное не знаю. Она подозревает, что я не Маша.

— Постарайся понять, как слышишь, прием.

— Слышу тебя, конец связи.

И тут вошел дед Иван и страшно обрадовался, увидев Машу в домике на окне, и в честь этого тут же пошел на кухню и принялся за макароны с томатным соусом.

СУПЕРПРИЗ

Чума — Игорек Шашкин только с утра сбегал за пачкой газет для продажи и уже было собрался идти к матери в больницу, нести ей продукты, как Шура Шашкина явилась домой сама, забинтованная, в воинственном состоянии.

— И все! — сказала она с порога.— Пусть сами теперь разбираются! Если я помру! Сами все под суд пойдут!

Игорек Шашкин был человек малоразговорчивый, и он только вопросительно уставился на мать.

— Выписали меня. Бинтов, говорят, больше нету, лекарств для самих врачей не хватает... И ладно! И то, я в больнице спала плохо... Еще вчера одну женщину положили, тоже по голове стукнутая, у ней сумку прохожий отобрал... А в сумке бутылка постного масла и три кило картошки... Он ей этой сумкой по голове-то и саданул. Наркоманы проклятые... А мы с этой больной вдвоем лежали, да... Ее ко мне положили... Коек не хватает, мы с ней валетом... А у меня бессонница... Она-то спит-ночует, а я не могу... И не повернуться... Я утром на обходе говорю, что же это такое творится, доктор, а она меня не поддержала, лежит на моей же кровати ногами мне в лицо и молчит, боится и такое место потерять, а доктор мне улыбается, «вы у нас выписная».

Тут Шура Шашкина обняла сыночка.

— А дома лучше!

Но суровый Игорек уже был занят: он просматривал сегодняшнюю газету, которую ему предстояло продавать.

— Ты ел чего-нито?

— Ел, — машинально отвечал Игорек, читая интересное объявление.

В этом объявлении говорилось, что для участия в передаче телевидения «Сам лечу свою куклу» приглашаются дети с родителями, дети нужны боевитые, с опытом вольной борьбы на улице, мужественные, не боящиеся крови — ни своей, ни тем более чужой; дети и родители, любящие совместные просмотры боевиков и ужастиков; родители тоже приглашаются такие, которые воспитали из своих детей бойцов, а не слюнтяев; и такие родители, которые спокойно реагируют на крики и слезы и готовы любыми способами вырастить детей твердыми, не знающими, что такое слюни и сопля, людей будущего.

Но самое главное, на что обратил внимание Игорек, была заключительная часть объявления, где говорилось о суперпризе передачи: это были две автомашины «мерседес» и ключи от трехкомнатной квартиры, а также туристические путевки в Пхеньян, в джунгли Кампучии и Анголы в пионерские лагеря к юным борцам.

Больше всего Игорьку понравилась идея с трехкомнатной квартирой: уехать из барака от пьяного соседа — это была их с матерью мечта!

Как часто они бродили по ночам, ожидая, пока дядя Юра утихомирится и перестанет бить топором в их дверь...

Единственным пропуском на передачу должна была стать кукла Барби в любом виде, даже безногая или безголовая.

Игорек задумался.

Он вспомнил, что он однажды доставал деду Ивану что-то из вороньего гнезда, что-то типа куклы Барби.

Может, дед ее и даст на один-то вечер?

— Собирайся, — сказал он матери, — поедем в город.

— Куда я с забинтованной головой? — возразила лежащая на своих высоких подушках Шура Шашкина.

— А у меня есть для тебя вона что! — сказал Игорек и достал из кармана какую-то лохматую, косматую, по виду драную ветошь.

— Ну спасибочки, — сказала с обидой Шура, — на помойке подарок мне отыскал!

Молчаливый Игорек с силой встряхнул свой подарок.

Полетели какой-то прах, камушки, веточки, песок и перья.

Возникло игровое сияние, и Чума преподнес Шашке дивный золотистый парик.

Шура взяла это чудо в руки, слезла с кровати и пошла к своему туманному старому зеркалу.

(Не забудем, что этот парик был волшебный, вороны Вальки, и тот, кто его надевал, автоматически принимал вид телеведущей Валентины Ивановны, причем парадный, при гриме, пудре и драгоценностях.)

Но, посмотрев на себя в зеркало, Шура засомневалась, всплакнула и сказала:

— Вид у меня не тот. Голова в бинтах туда не влезет, а лицо вообще, как ерошка нечесаная.

— Ладно, — промолвил Игорек, — ты парик пока не надевай, поедем так, а у входа натянешь.

Игорек покормил мать (на завтрак у них была бутылка «Пепси», шоколадка и батон — самая роскошная еда, о которой мечтают все мальчишки), потом они долго одевались, мать все сокрушалась, что нечего надеть, и в результате, при полном параде, во всем относительно чистом, хотя и неглаженом, они сели в автобус и поехали в город.

Кстати сказать, в этом автобусе под задним сиденьем лежали две горемыки, собаки Тузик и Дамка. Судьба их попржиала, и если раньше они получали хоть какую-то зарплату, кости и огрызки, работая сторожами во дворе столовой, то теперь столовую закрыли и переоборудовали в магазин «Итальянская офисная мебель».

Это было заведение, странное для поселка Восточный, где обитали в основном рабочие давно остановившейся чесально-валяльной фабрики.

Кому тут могла понадобиться офисная мебель, было непонятно: если кто и посещал магазин, то только в самом начале и ради смеха, местные жители смотрели на ценники и гоготали.

А чужие ездить в поселок Восточный боялись.

И зачем существовал этот магазин, раз в нем ничего не продавали, так и осталось секретом, в том числе и для нас.

Таким образом, Дамка и Тузик были навеки выгнаны со двора бывшей фабрики-кухни, где обосновалась страшная собачья охрана, и теперь ехали куда глаза глядят на автобусе.

И слизывали слезы с усов.

А Чума-Игорек с матерью Шурой, которая сидела и качала головой, обширной, как кастрюля (бинты не были видны под платком), — они попались собакам на жизненном пути в виде счастливого случая: в хорошей компании и ехать веселей.

Собаки перебрались под сиденье Шашкиных и замерли.

Там мы их всех и оставим и перенесемся в дом деда Ивана.

Что касается деда, то он заканчивал отделять свой музыкальный инструмент, отлакировал его и уже был готов посадить куклу Машу за этот органчик, но пошел обедать, чтобы дать лаку просохнуть.

А Барби Маша переговаривалась по игрушечному телефону с Барби Кэт.

Разведчица Кэт передавала:

— Мы на телевидении... Валька меня держит в сумке у локтя... Они говорят все время о том, будет ли работать виселица... Что нужна табуретка... Игрушечная табуретка... Так... Кто-то, женский голос, говорит, что знает одного мастера, у которого наверняка есть игрушечная мебель, он сделал сам домик для Барби... Она этого мастера снимала для телевидения, зовут дед Иван. Так... Плохо слышно... Валентина что-то шепчет... «Я, — шепчет, — знаю этот домик, мне подходит... Пусть едут за табуреткой... Или я, говорит, сама поеду...» Мы бежим к лифту... Трясет... Спускаемся... Маша! Спасайтесь! Они едут к вам!

Дед на кухне безмятежно и не спеша ел теплые макароны с кетчупом и читал любимую книгу «Маленький лорд Фаунтлерой», которую его бабушка получила в подарок, будучи маленьким ребенком.

Дед Иван не торопился.

А вдаль уже (Маша это чувствовала) запахло горелой резиной — оттуда неумолимо приближался автомобиль «TV» с антенной, визжа шинами.

Маша села в домике в свое кресло — спасти себя она не умела, а деду Ивану ничего не грозило.

Тут раздался резкий звонок в дверь.

Так могли звонить только очень грубые, неотесанные люди.

Дед Иван пошел открывать и впустил очень интересную компанию — Игорька Шашкина, его мать Шуру-Шашку с огромной головой и двух собак.

— У вас Барби? — вместо приветствия спросила Шура Шашкина.

— Что? — ответил дед Иван.

— Говорю, у вас Барби? А то там трехкомнатную квартиру дают... Но надо приходиться с Барбями. Без Барбей не пускают. Там в газете о Барбях сказано... Вы нам не дадите на денек? Так измучились, так измучились... Сосед с топором бегают... В больнице лежала... Голову разбили мне... Все отобрали, что вы Игорьку дали... Если бы в каждой семье было по Барбям... Хватит, я в больницу попала, хватит, с работы уволили... Кольцо-то забрали за долги... А то нет у всех Барбей, не напасешься... А трехкомнатная квартира — суперприз...

Все, что говорила Шашка, было чистой правдой, но она говорила таким визгливым голосом, что дед Иван ничего не понял и подумал, что это пришли нищие, которые должны быстро выкрикнуть свою историю и

быстро собрать деньги, прежде чем люди опомнятся, а сами на собранные деньги побегут пить и драться в свободное время топорами.

На слове «кольцо», правда, у Шашки промокли глаза, но лишь на мгновение.

Единственное, что показалось деду Ивану странным,— это начало рассказа, обычно это был громкий вопль: «Мы сами люди не местные, мы сами люди беженцы» — и еще одно: женщину-то он не узнал, а вот парнишка показался ему очень даже знакомым.

— Чума,— сказал дед, а Игорек откликнулся: «Ну».

— Нам хоть какую,— продолжала кричать Шура-Шашка,— хоть без головы, хоть без рук! Можем ее располовинить, если вы не верите, вам оставим одно, а себе возьмем иное.

Тут дед Иван всполошился.

— Вы меня извините,— начал он.— Но...

— И ты нас извини, если что не так,— перебила его Шура.— Но нам срочно надо. Да мы тебя знаем. Мы еще к тебе, дедуля, приезжали, что возьмем опеку над тобой... Вспомнил?

Тут в ход пошел Игорек.

— Нам надо куклу,— сказал он сипло.— Ну, которую я тогда достал. Ну вот эту. Еще из гнезда-то, я лазил.

И он показал на Барби Машу.

— Эту я не могу,— быстро сказал дед и спрятал Барби за пазуху.

Пришедшие замешкались.

Они не ожидали такого отпора.

Они думали, что старичок все отдаст хорошим людям, тем более что кукла-то нужна ненадолго.

— На один день! — закричала Шурка.— На единый день!

Они придвинулись к деду вплотную.

Шура-Шашка заходила со спины.

— Ну хоть без ног и без головы,— бормотала она, обнимая деда.

— Спасите,— негромко сказал дед.— Помогите.

Он сложил руки на груди крестом, как святой.

Собаки смущенно закашлялись — не залаяли, а именно поперхнулись.

Если бы они могли, они бы зарыдали, как рыдают дети, у которых разводятся родители.

О ужас! (Собаки зажмурились, и Дамка спрятала голову за спиной Тузика.)

Чума-Игорек полез деду за пазуху.

В этот момент слегка треснула дверь, собаки опомнились и бешено залаяли, и в квартиру свободно, как к себе домой, вошла телеведущая, бывшая ворона Валька-Валькирия, в сопровождении редакторши телевидения, которая заорала:

— Вот вам дед, вот вам вся мебель! И стулья, и табуретка!

Валька-ворона же увидела немую сцену — Чума-Игорек, взявший старика за воротник, и тетка с головой, как тыква, которая этого деда схватила сзади, и сказала:

— Во ястребки! То, что надо! Заберем их на передачу! Один к одному. Вали все кулем, потом разберем! Есть у них Барби?

— Есть, есть,— сказал мальчик Чума.— Вот у него.

И Чума для достоверности похлопал по дедовой рубашке.

Дед Иван стоял ни жив ни мертв.

— А,— сказала Валька,— я его знаю.

Собаки истошно лаяли на Вальку.

Она поднялась на цыпочки, замахала руками, как ворона, и гаркнула в ответ.

Собаки присели и замерли, закатывая в ужасе глаза.

Редакторша, растопырив локти, словно хозяйка на базаре, стала копо-

шиться в домике, табуретку не нашла и ухватила скамейку, приготовленную дедом для игры на органчике.

Скамейка была прикреплена к органу намертво и не поддавалась.

Маша, сидящая у деда на груди, постаралась, чтобы клей застыл, как мрамор.

Пыхтя, редакторша вертелась так и сяк.

— Не получается, это одно целое,— застонала она.

— Берем все целое,— весело сказала Валька.— Там ребята отпилят. Все едем. Так. Езжайте, я сама дойду.

Тут же в форточке оказалась ворона, которая, треща перьями, протиснулась на волю и была такова — как грязная тряпка, пущенная хозяйкой в мужика и в полете разматавшаяся...

ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ

Заботливо придерживая деда Ивана с двух сторон, Чума и Шашка повели его вниз.

Он шел как деревянный.

— Але! — раздался тихий голосок в наушнике у Маши. — Как слышите, прием! Радистка Кэт на проводе.

— Вас слышу,— отозвалась Маша.

— Меня положили в сейф и заперли, ничего не видно и не слышно.

— Я скоро там буду,— сказала Маша.

А на телевидении работа кипела: действительно, ассистенты поставили виселичку, положили клубок суровых ниток для связывания рук за спиной, поспорили при этом, Валькирия (она уже прилетела) кричала, что руки будут отрублены к тому моменту, когда надо будет вешать, а Сила Грязнов настаивал, что руки надо отрезать не до конца, чтобы обрубки оставались.

Сила Грязнов вообще развернулся во всю мощь и потребовал занавесить все черным, разжечь настоящий огонь, для себя велел принести маску Бэтмена и черный кожаный плащ.

Перед ним сияли любимые сорок экранов.

На двадцати стояла кастрюля, готовая закипеть, на остальных шли фрагменты из «Лебединого озера».

Грязнов жевал сразу десять жвачек.

Валентина Ивановна даже слегка устранилась от дел и любовалась со стороны Эдиком-Силой, повторяя как заведенная:

— Класс! Ну, отморозок, ты и крутой! Прямо как этот! Все в кассу, центровой! Погоди, сопли оботру!

— Уйди, не лезь! — кричал Сила, размазывая сопли по лицу полой кожаного плаща.

Тем временем у входа на телевидение ассистенты суетились, отбирая из многотысячной толпы рожки пострашнее. Но годящихся было так много и такие выразительные у всех были лица, что ассистенты буквально сбивались с ног — и тех хотелось, и этих, и эту семейку, и ту, которая пришла как с поля боя: у бабушки с дедушкой на лбах стояло по синяку, как будто им припаяли печати, отец с матерью держались за левые глаза, обведенные траурной чернотой, а девочка с рогаткой имела раздутое ухо и прихрамывала, держась сзади за джинсы.

Кукла Барби была зажата в кулаке у папы.

Причем было видно, что драка произошла только что, может, даже в троллейбусе.

Ассистенты раздумывали: а не считать ли такую драку недействительной, что, если семья просто разыграла скандал ради выигрыша суперприза?

Но, судя по злобным взорам, которыми обменивались не совсем остывшие взрослые, они еще недодрались, да и девочка щипала свою рогатку не просто так.

Короче, был сформирован большой отряд самых крутых семей, все они, потрясая куклами Барби, прошли к отделу пропусков, а остальные, недопущенные, устроили такой штурм телевидения, что были вызваны бронетранспортеры с солдатами, однако солдаты все не ехали, а Валька, посмотрев в окно, была так захвачена убойной силой толпы, что всех велела пустить, пусть сидят, или лежат в проходах, или висят на потолке — их дело.

— Это мои люди, — сказала она.

Когда все были рассажены, появилась еще более классная семья, Шура-Шашка и Игорек-Чума, которые гордо прошли вперед и сели в полупустой первый ряд.

Все приветствовали их аплодисментами.

Шашкина забинтованная голова была как солдатский котел на одну роту, у Чумы взгляд срезал наповал, а тощие руки были жилистые и черные, и в одной руке так и виделся ножик, а в другой — кастет.

Их еще на входе разлучили с дедом Иваном, поскольку его никак не пускали в зал.

У входа образовалась небольшая заварушка, кто-то громко кричал: «С собаками не разрешено», — другой, еще более тренированный голос возражал: «Никто и не разрешает». «А это что? — орали в ответ. — Две собаки».

Там действительно стояли дед Иван и Тузик с Дамкой, несчастные и сбитые с толку: редакторша держала деда под локоть.

Голос кричал:

— Мы пускаем только семьями, семьями, мама-папа-дети. А у вас только вот он да две собаки, это семья? Он что, отец собакам? Нужно дети-он-она, вместе дружная семья!

Дед молчал, собаки плакали, им было бы страшно без Ивана.

Потом произошло легкое замешательство, и собаки вдруг исчезли.

Дед Иван вошел в зал в сопровождении двух плохо причесанных детей и какой-то внезапно появившейся рослой девушки, но редакторша, шагая впереди, довела всю компанию до места и отвалила, так ничего и не заметив.

Наконец явилась Валентина Ивановна, встреченная бурей аплодисментов, поскольку за ее спиной в студию въехали и замерли два «мерседеса», а на большом экране были показаны комнаты той самой квартиры-суперприза и внешний вид дома.

Как раз рядом с Шурой и Игорьком редактор посадила четверых: пожилого мужчину, молодую женщину и парочку детей лет семи-восьми, очень непоседливых, которые имели странную привычку чесаться ногой за ухом, закатив глаза.

Видимо, их из-за этого умения и взяли на передачу.

Чума Шашкин с уважением, глядя искоса, наблюдал, как лохматая девочка в негнущемся джинсовом костюме, извернувшись, задрала ножку и скоблит ботинком шею.

При этом не менее лохматый мальчик куснул себя под мышкой.

У них были очень подвижные спины и страшно вертлявые шеи.

«Совсем дикие», — подумал Чума и толкнул мать локтем.

У молодой женщины была вообще странная внешность, какое-то резиновое лицо со стеклянными глазами и явно приклеенными ресницами.

Она улыбнулась, прикусила нижнюю губу, и по спине у Игорька пополз холод.

Зубы были пластиковые, на вид мягкие.

Рука выглядела, как протез, штамповка, со швами на пальцах и плохо напечатанными ногтями.

Старик же вежливо улыбался, слишком вежливо, и это было еще страшнее.

Среди живого, помятого, побитого зала он один сидел чистенький, какой-то сверкающий, как из алюминия.

— Не люди, — сказал с ужасом Игорек матери, но Шашка не расслышала из-за бинтов.

Начало передачи затягивалось, Валентина Ивановна то и дело что-то говорила в телефонную трубку, поднимая глаза к потолку.

Чума Шашкин слышал отдельные слова типа «Але, девушка» и «Заказываю Гималаи по срочной, по срочной».

Зал уже постепенно замирал, все чего-то ждали.

Ведущая, Валентина Ивановна, держала телефонную трубку у уха и молчала, но вдруг раздался громкий, на весь зал, гудок, и старческий голос сказал:

— ...не может быть!

— Угадали? Это опять я, Валентина Ивановна Аматыева. Ваша Валечка. Угадали?

— Как вам сказать? —, ответил, подумав, голос.

— Так это я, верьте мне. Мы начинаем все-таки нашу передачу, — торжественно сказала ведущая. — У нас все готово.

— Не может быть!

— Вы нас видите?

— Как вам сказать? — не сразу откликнулся голос.

— Сейчас мы будем лечить вашу Машу, она вся така больна!

— Не может быть!

— Операция на сердце... На всех суставах... У нас есть специалисты по глазам, по шеем, по лбу и по затылку. Причем это наши обычные зрители. Пусть неумелье... Но у нас в стране главное — это желание помочь! Все друг другу хотят помочь! Вот сейчас и помогут! А потом, чтобы она не мучилась, найдут выход... У нас уже все готово. Виселица вона... Вы все поняли?

— Как вам сказать? — помолчав, откликнулся старческий голос. — Не может быть!

— Может, может. Ладно, смотрите, — провозгласила Валентина Ивановна. — Передача теперь называется «Души прекрасные порывы». — И она засмеялась тихо-тихо. — И если вам станет неприятно — милости просим сюда, на нашу передачу. Спуститесь?

— Как вам сказать?

— И вы сможете остановить операции.

— Не может быть! — как-то без выражения сказал невидимый старик.

— Да может! — игриво сказала Валентина Ивановна и положила трубку.

Раздался барабанный грохот, и ведущая достала из портфеля маленькую Барби Кэт.

На большом экране отразилось лицо Барби Кэт — пустынное пластиковое личико с нарисованными глазами и грубо сработанный улыбающийся рот.

Были видны волосы парика, выходящие из ее пластиковой головы через дырочки на лбу.

Дырочки шли в шахматном порядке, верхняя часть лба была, как дуршлаг.

— Сейчас мы пустим барабан и назовем имя счастливых, которые начнут операцию! Именно среди этих операторов и будет разыгрываться суперприз! А желающие пусть поднимают руки! А в руках пусть будут Барби!

Операторы навели на зал свои камеры.

Лес рук с куклами стройно поднялся к потолку, публика, закричала, засвистела, все держали даже по две руки — кроме семьи, сидящей неподвижно около Шуры и Чумы-Игорька.

Старик, двое детей, похожие на щенят, и женщина в маске (это явно было у нее не лицо, а маска, и руки были ненастоящие) — они сидели неподвижно.

Только мальчик изловчился и куснул себя за локоть.

А девочка лизнула мальчика в ухо.

— А вы что сюда пришли? — загремел голос Валентины-Валькирии. — Смотреть пришли или участвовать? Покажи их, Сила, крупешником!

Камеры навели свои дула на первый ряд, где сидела странная семья.

Игорек Шашкин окаменел.
 На экране появилось лицо женщины.
 Зал заревел.
 Это было лицо куклы Барби.
 Пластиковый нос, нарисованные глаза, застывшая улыбка.

— Але! Вот оно! К нам пожаловала сама Барби номер один! — завопила Валька-ворона.

Она вскочила и рявкнула:

— Приветствую появление у нас Барби. Профессор Амати, вы слушаете нас? Вы смотрите нас? Самое благородное существо в мире пришло к нам, чтобы спасти маленькую, бедную куклу Кэт! Вы выйдете к нам, Барби Мария? Идите, идите!

ЗДЕСЬ ВСЕ СВОИ

Огромная Барби Маша встала и деревянной чуть неловкой походкой отправилась к большому столу, на котором были разложены крошечные орудия пыток.

Ужасное шествие большой куклы заворожило зал.

Даже Валентина Ивановна слегка струхнула.

— Мы тя не боимся, ты, манекен! Ты внутри пустая! Вот как, я недосмотрела, а она увеличилась!

Великанская Барби добрела до стола и протянула руку.

— Не, Кэт я тебе не отдам! — сказала ведущая. — У нас игра с маленькой куклой! У нас все для того!

Барби Маша стояла с протянутой рукой.

Камера показывала заледеневшему от ужаса залу огромное лицо пластиковой куклы, улыбающееся, неживое, с пышными капроновыми волосами.

— Ты сама уменьшись, — ласково предложила Валька, — тогда я отдам Кэт дедуле.

Огромный манекен исчез.

Вместо него на полу стояла крошка куколка, маленькая, нарядная.

Ведущая мгновенно схватила Барби Машу и поставила ее рядом с Барби Кэт.

— Значит, программа такая, мы начинаем лечить Кэт, а Машу попросим вызвать сюда дедушку Амати, еще одного нашего участника. Маша, свяжись с Амати, пусть спускается сюда. Где твой волшебный телефон?

Маленький Чума увидел, как напрягаются шеи у мальчика и девочки, но встать они не могут.

Дед, сидящий рядом с ним, тоже пытался пошевелиться, но вроде как окаменел.

А ведущая орала:

— Пожалуйста, крутите барабан! Так!.. На сцену приглашаются... Семья с седьмого ряда, двадцать пятый — двадцать девятый места! Музыка!

Стеснясь, встала с места кучка людей: бабушка, мама с папой, двое ребят.

Камера показала их крупным планом.

— Вы не смотрите, что они такие обыкновенные! — закричала Валентина Ивановна. — Они ссорятся каждый выходной, мама кричит на папу, папа уходит и пьет во дворе с мужиками, а бабушка настраивает детей против отца! А дети дерутся друг с другом! И в школе дерутся со всеми! Ура! Идите сюда! Вам нужна машина ездить на дачный участок, до которого три часа на электричке и потом ехать на двух автобусах и десять километров пешком! А там посажена картошка! А есть будет нечего! А отец безработный! А мать получает копейки! Ура! Как они покаты с ветерком!

— Мо-лод-цы! Мо-лод-цы! — закричал и засвистел зал.

— Пожалуйста, крутите барабан! Так... Еще семья! — лихо вопила ведущая. — Двенадцатый ряд, с пятого по восьмое место! Тоже наши люди! Мама плюнула в папу, папа дал ей по шее! Старший сын заступился за мать, началась драка! До крови! Бабушка запустила в папу табуреткой! Они все живут в одной комнате в общежитии, им нужна квартира позарез! Трехкомнатная квартира, ура!

Семья смущенно выбиралась на сцену.

— А теперь каждый хватает себе ножи и пилы! Здесь восемь предметов, кому-то одному не достанется!

Оружие не досталось одной бабушке.

Красная, она стояла с пустыми руками посреди вооруженных людей.

— Не тушуйтесь, — успокоила ее ведущая. — Вы и без ничего сможете, я же помню, как вы победили в драке в гастрономе, когда вас не пускала очередь! Вы стояли за дешевым сахаром! Потому что пенсия маленькая! И вы получили сахар! Хотя вам выворачивали руку! И сварили на зиму варенье! Хотя рука не работала два месяца! И вся семья ела! Я верю в вас! Я от всей души в вас верю! Вы герои! Другие бы давно загнулись! Вот перед вами пластиковая кукла, внутри у нее клюквенный сок, прошу! Первый, кто нанесет удар, будет записан на суперигру! Это всего-навсего манекен! Приз — квартира! Она вам так нужна!

— Сбередили мне руку, точно! — весело крикнула бабушка, держась за левое плечо.

Барби Маша ласково улыбалась в ответ, маленькая, нелепая, в парике, штампованная, стоящая на цыпочках, с пластиковым носом и пластиковыми губами, с грубыми, плохо сделанными руками, никому не нужная.

А ведущая схватила куколку Кэт и положила ее на стол.

Кольцо людей вокруг нее стояло неподвижно.

Дети, взрослые и старики смотрели на куклу, как-то посмеиваясь.

— Подбодрим товарищей! — закричала в микрофон Валентина Ивановна. — Они стесняются! Кто еще хочет попасть первым номером на суперигру, прошу сюда! О! Вот я вижу, идет к нам с десятого ряда... Приветствую смелость! Эта женщина — она непростая, она много лет кричит по всей лестнице на свою старуху соседку! Недавно после скандала бабку увезли с инсультом, ура! Победа! Женщина выиграла!

Народ как-то вяло зааплодировал. Кто-то коротко свистнул.

— Потому что соседка-бабушка всегда жаловалась, что к дочери этой женщины после школы приходят друзья, явные бандиты, и через стенку несутся крики: «Спасите!» И вынести это невозможно, так говорила старушка! Надо принимать меры! А что женщина может поделывать, если весь день она на работе и на дорогу уходит час пятнадцать! Поэтому срочно нужна машина ездить домой! «Мерседес»! Ура!

— Ура! — откликнулись в зале.

— Хотя, — тут Валькирия сделала паузу, — теперь старушка уже все равно помирает в больнице, и никто и никому больше никак не нажалуется! Дочь будет свободно проводить время со своими друзьями, ей уже двенадцать лет, ура! Мужественной женщине многое предстоит! В том числе выгнать дочь из дому! Похлопаем ей!

Зал жидко захлопал.

— Если бы, — продолжала вопить Валькирия, — ей могла бы помочь мать старуха, но они в ссоре, и женщина даже не навещает мамашу! Хлеба не принесет! Мало того! Ура!

— Ура! — подхватил кто-то невпопад.

— Мало того! Она выгнала из дому сына, когда он женился, потом выгнала из дому мужа, который заболел, а потом выгонит дочь, которая поселится в подвале с друзьями! Просим эту женщину сюда! Она совершенно одинока, и машина «мерседес» была бы ей лучшим другом!

Внезапно эта женщина, вышедшая из десятого ряда, махнула рукой, повернулась и, странно улыбаясь, пошла к выходу.

Вместо нее на сцену ринулась пара.

— Приветствую вас,— сказала в микрофон Валентина Ивановна,— вы сильные люди, вы недавно выгнали невестку с ребенком, когда у ребенка была высокая температура! Начиналась ветрянка! Вы дали невестке по шее! А ваш сын сидел на кухне и даже вам не помог! Черствый, бессердечный человек! Правда, он больной, у него не ходят ноги! Его вы оформляете в дом инвалидов! Вам очень нужна еще одна квартира, чтобы вы в нее переехали, а старую продали!

Зал засвистел.

— Она украла у меня золотую цепочку! — крикнула женщина в зал.— Наша невестка! Или ее гости так называемые! Приезжаем с участка, а цепки нет!

— Ура! — бодро откликнулась ведущая.— Украла и правильно сделали!

— Ага, а мы ее с ее пащенком кормили! И ее мужа! Вообще кто она такая!

Из тех восьмерых, которые стояли вокруг Барби, одна женщина вдруг тоже закричала:

— Да, я в него плюнулась, потому что он пришел домой утром неизвестно откуда!

Мужчина откликнулся:

— Я дал не ей по шее, а сыну, потому что он не учил уроки, а сидел перед телевизором, как осел! И не давал младшему заниматься! И так одни двойки!

— Нет, ты дал по шее мне! — возразила жена и заплакала.

Муж стоял красный, как праздничный флаг.

Вдруг все люди, вызванные на подиум, стали что-то кричать, поднялся жуткий гвалт.

Женщины вытирали слезы, мужчины махали руками.

— Это все очень интересно,— сказала в микрофон ведущая,— но прошу вас, продемонстрируйте, как ездит «мерседес»!

Машина, темно-вишневая, сверкающая, мягко проехала мимо сцены.

— Я! Я ее зарежу! — закричал человек, вставая и пробираясь между людьми.

— Да! Идите сюда! Вы герой, вы сбили в прошлом году ребенка и скрылись с места происшествия, а машину тут же продали. Ребенок остался жив, но он инвалид, его возят в коляске! Прощу вас! Ребенок сидит в третьем ряду, покажите его! А те ваши деньги, которые были получены за машину, нашла на шкафу и украла одна из ваших подруг! Вон она сидит, покажите ее!

Человек, вместо того чтобы идти к сцене, стал пробираться к выходу.

Его подруга в пятом ряду заслонилась от камеры...

А на экране показали маленького калеку и его родителей, которые во все глаза смотрели на идущего человека, и вот папа начал грозно подниматься...

— Да что такое? — шутливо сказала Валентина Ивановна.— Мы специально собирали зал по зернышку, по кирпичику, здесь все свои, вы все люди, все одинаковые, человек — падшее существо, вы это знайте! Нет никого без греха, и это хорошо! Мы братья и сестры и должны друг друга ценить! Папа, не волнуйтесь! Мы все знаем, что у вас есть подруга сердца, которая вас утешает!

На экране появилась мама, которая, выразительно покачивая головой, со слезами глядела на папу.

— Мама, не смотрите так! — заорала Валька.— Вы уже тоже нашли утешение, бутылка с утра, сигарета с травкой в зубы — и никаких проблем! Вы приглашаете к себе друзей и подруг! С ними веселей! И мальчику веселей! Скоро и его начнут угощать! Наша передача недаром называется «Души прекрасные порывы»!

Зал зашумел.

— Ну? — крикнула ведущая. — Начинаем! Кто первый возьмет Барби, тот и начинает суперигру!

Внизу опять проехала машина, сверкнув боками.

Первым на сцене начал действовать старший мальчик.

Он аккуратно взял за ноги Барби Кэт.

Другие мальчики тоже сунулись, но первый мальчик схватил и Барби Машу.

Разумеется, началась драка, в которой взрослые приняли участие, стараясь разнять пацанов.

Камера крупно показывала сплетение рук, сплетение ног, чей-то кулак, чьи-то ногти, затем на экране оказалась куколка, у которой кто-то выкручивал руку.

Было даже показано лицо куколки, улыбающееся, неживое.

Зал свистел от восторга, все жутко хохотали.

— Стоп! — заорал на весь зал голос ведущей. — Блин горелый! Чего вы ведете вообще как эти? Тормоза вообще. Сказано, что играем в доктора! Ложьте Барбей взад! То есть, извиняюсь, кладите их обратно на стол!

С трудом, загоразживаясь ото всех локтями, мальчики вернули кукол на операционный стол.

Семьи жарко дышали, прилаживая оторванные рукава, заправляя рубашки в штаны, приводя в порядок волосы.

— Сила Грязнов, ты там смотри, никого в суп раньше времени не отправляй, гы, шутка! — продолжал тот же голос.

— Закрой свой гроб и не греми костями, — прозвучало в ответ по динамике.

— А где инструмент? — спросила ведущая. — Где орудия?

Кое-что собрали с пола, не хватило ножниц, штопора и маленькой пилы.

Все смотрели друг на друга с подозрением.

— Ну деловые, — вздохнула Валькирия. — Ладно, будем работать с тем, что есть, а потом на выходе просветим на рентгене, кто попятил инструмент.

С того приз снимем, отдадим другим.

Семьи закричали.

Одна бабушка сказала:

— Наш зять любит взять.

Один отец сказал сыновьям:

— Домой не приходите, вырублю.

Женщина с краю заметила:

— А сам-то штопор-то. Взял-то.

Назревала новая драка.

— Итак! — закричала Валентина-Валькирия. — Все расступились, и операцию начинает... Начинает... Игорь Шашкин! Первый ряд, второе место. Похлопаем! Суперприз — трехкомнатная квартира!

И она побренчала ключами.

Чума-Игорек Шашкин, еще более худой и бледный, чем обычно, пошел к месту казни.

ОТДАЙ БАРБЮ, ДУРАК!!!

Негнушейся рукой Игорек Шашкин взял у одной бабушки-участницы хирургический нож ланцет (бабушка пихнула Игорька локтем), другой рукой Чума оперся о Барби Кэт и приготовился распилить куколку напополам, как чурбачок.

— Нет! — взвизгнула ведущая. — Сначала одну руку! По локоть! Сила! Транслируй по всем программам на Гималаи! И...

Игорек прилажился как следует, и на экране все увидели ручку куклы.

Огромный нож был занесен над сгибом локтя.

Чума-Игорек даже вспотел под светом юпитеров.

Вдруг раздался истошный детский вопль, и к сцене помчалась чья-то тень.

Кто-то, легкий, как комарик, летел к Чуме-Игорьку.

Чьи-то слабые ручки вцепились в его свитер.

— Отдай! — пищал голос. — Отдай Барбю, дурак! Не режь!

Игорек растерялся.

— Это моя Барби! Моя Барби! — пищал маленький ребенок и тянулся к кукле. — Отдай!

— Ошибка! — загремела Валька в микрофон. — Твоя кукла у мамы в сумке!

— Отдай, отдай! — пищал и плакал комариный голосок.

Маленькая рука упорно тянулась к кукле.

Чума-Игорек, растерянно улыбаясь, отступил.

Ребенок привстал на цыпочки и схватил Барби Кэт, а потом схватил и Барби Машу.

— Ну куда, куда, неутыка? — сказала Валька в микрофон и пошла на маленькую разбойницу как стена.

Ребенок упал на колени и согнулся, защищая животом свои сокровища.

(Это была та самая девочка Женечка, которая держала под подушкой Барби, а родители наутро вытащили у нее куклу, чтобы продать ее за бутылку, но не продали, потому что в то утро у «Гастронома» таких покупателей не нашлось. И девочка играла с Барби еще несколько дней, пока вся семья не пошла на телепередачу, отобрав у Женечки куклу. Конечно, ребенок все спутал.)

Зал шумел, как море.

— Пусть не мешает! — кричали одни.

— Че катит на пацанку? — возмущались другие.

Ведущая опомнилась и добрым голосом сказала в микрофон:

— А хочешь, сама отрубишь ручки у кукол?

— Не-а, — возразила девочка, которая сидела на коленках лицом в живот, как свернувшийся ежик.

— Ну иди, поиграемся, иди, дура маленькая, — ласково сказала Валька и, с трудом нагнувшись, взяла девочку под локоток. — Иди, выиграешь, подарю тебе этих кукол, двух, хочешь?

— Хочу, — сказал ребенок себе в живот.

— И «мерседес»! — закричал в зале далекий папа.

— Да! — ответила Валькирия.

Зал захлопал.

Папа в семнадцатом ряду радостно потирал руки, переводя стоимость «мерседеса» в стоимость бутылок водки, спутался и вспотел от счастья.

А ведущая Валька, согнувшись, повела девочку к столику, на котором находились маленькая виселица и при ней музыкальный органчик с игрушечной табуреткой (рабочие так и не смогли отпилить скамеечку, плюнули и поставили орган рядом с виселицей).

Игорек окаменел, смущенно улыбаясь, а его мать, Шура-Шашка, в этот момент решительно сматывала бинты с головы, собираясь ринуться в бой вместо своего неумелого сына.

Она бы не отдала Барбей!

Вы что, трехкомнатная квартира!

Она сейчас пойдет и вырвет Барбей, вернет их Игорьку!

И в тот момент, когда Валькирия осторожно, вполголоса, учила девочку Женечку, куда поставить куклу Барби и куда накинуть маленькую петлю, Шура-Шашка наконец сдернула, поморщившись, последнюю повязку со своей большой головы и надела, шипя от боли, парик.

Трам-бам! — и в первом ряду вместо помятой Шуры-Шашки засияла еще одна ведущая Валькирия, в таком же шелковом балахоне, с ярко-золотой прической, с тем же слегка опухшим видом и в черных босоножках (о, волшебный парик!).

А девочка своей тоненькой, как спичка, рукой доверчиво накинута петельку на шею Барби Маши (Барби Кэт она сунула за пазуху) и поставила куклу ногами на скамеечку.

Затем (шептала ей Валькирия) надо будет убрать табуретку из-под ног Барби, то есть отодвинуть вбок органчик со скамеечкой, и ей подарят обеих кукол!

— Хорошо? — по-доброму шептала Валька.

— Хаяшо,— отвечал ребенок.

Барби Маша стояла на скамеечке перед органом с петлей на шее, как партизанка в тылу врага.

Но ребенок не отпустил (на всякий пожарный случай) обещанную куколку, держал ее одной рукой крепко-крепко.

Скамеечка стала прогибаться под весом Барби Маши, маленькая защелка соскочила, пружинка освободилась, и органчик начал играть.

Он издал первый могучий рев, вздохнул и запел на множество голосов.

Под куполом зала засветился яркий свет, и все вздохнули.

Все замечтали, сердца у всех забились, глаза прослезились...

Дед Иван освободился от колдовства, встал и пошел к сцене.

Два неуклюжих лохматых ребенка преданно побежали следом за ним.

Туда же отправилась и мама Шашка, как две капли воды похожая на ведущую Валькирию.

Что касается самой Валькирии, то она тоже стояла и мечтала.

Она даже выронила из пасти свою вечную сухую корку (черствую корку науки).

В ее маленькой голове проносились видения — старый подвал, дружная семья ужинает коркой сыра... Мама-крыса в серых мехах, братья и сестры, пушистые и усатенькие, теплые и дружные... И вот уже это не мама-крыса, а сама Валька в серой шубе, бархатистая, пухлая, аккуратная, с чистым хвостом, кормит сыром своего сыночка Эдика (разумеется, это ее сын, как она раньше не догадалась), тоже чистенького, аккуратненького, бархатного, и все у них в порядке... Норка теплая, убранная, запасы есть — там мешок корок, там сало в пакете... Крупа «Артек»... Печенье «Юбилейное»... Сыр «Пошехонский»...

А люди — они несчастные... Им хочется и то, и другое, а жить дружно они не умеют... Надо дать им, сколько они пожелают, наколдовать — раз плюнуть... Вот сотни «мерседесов», вот гора телевизоров в упаковке... Вот ключи от квартир... Целый дом на триста квартир, всем участникам передачи по квартире... И той несчастной выгнанной невестке квартиру... И той старушке с инсультом — пусть ее возьмут из больницы, пусть она живет у дочери, и все будут рады, будут любить бедную брошенную ими бабушку... И тот ребенок-калека, пусть он встанет на ножки и идет с папой и с мамой, и будут они жить вместе... А тот несчастный, который уже год не спит, с тех пор как сбил на улице ребенка, — пусть он подарит им свою новую машину, ладно. И та бедная женщина, которая украла у него со шкафа деньги, потому что он год пил, ел и одевался за ее счет... она обнищала... и эта женщина тоже уже полгода не спит и боится — пусть она выйдет за него замуж, и тогда деньги останутся в семье...

Так мечтала Валька, а органчик играл, кипятясь и подпрыгивая, и число ключей и «мерседесов» росло на сцене, ящики с телевизорами громоздились один на другой.

И сама Валька давно уже тоже воплотила свои мечты в жизнь, она стала дородной крысой, превратила Эдика в крысенка и теперь хлопотала, устраивая новую жизнь в подвале телевидения, как раз под кладовой ресторана.

А Шура-Шашка раньше деда дошла до сцены и сказала:

— Выиграли все! И мы тоже!

И взяла себе ключи и положила их на капот «мерседеса».

И велела:

— Подходить по одному! — И туманно пояснила: — По семье на рыло!

Все ее поняли сразу.

Шура-Шашка, златогривая, в шелках, с опухшей рожей, была награждена ревом зала и аплодисментами.

Народ начал действовать незамедлительно, но, поскольку музыка играла, все встали в дружную, чинную очередь, рядами, и, говоря друг другу «спасибо» и «пожалуйста», смеясь от души, они подходили к Шашке и получали из ее рук ключи, машину и ящик с телевизором.

Как-то все так волшебным образом устраивалось, никакой давки и смертоубийства, но дед все никак не мог дойти до своей Маши Барби, которая почти висела с петлей на шее на табуретке и нежно улыбалась, а ребенок стоял на страже около виселицы, держа Барби за ножки и ожидая момента, когда можно будет спрятать обещанную куклу за пазуху.

Дед никак не мог дойти до сцены, потому что везде вилась очередь, а он-то не занял очередь, то есть не встал в ряд, а впереди себя никто никого не пропускал, такие дела.

А кричать и что-то доказывать (да не нужна мне ни машина, ни квартира, а мне нужна кукла Барби) дед не мог, ему было как-то неудобно.

Таким образом, дед Иван с неизвестно откуда взявшимися косматыми детьми, которые всюду преданно его сопровождали, был оттеснен в конец очереди.

Он стоял и смотрел, как все больше клонится кукла Маша в усталой руке ребенка, как шнурок натягивается на ее шее...

Он представлял, как больно и тяжело Маше, но ничего не мог поделать.

Он знал теперь, что она живая, и боялся, что она задохнется.

Сердце его больно билось в груди, горло пересохло.

Между тем органная музыка играла, вежливая очередь двигалась. Вот получили ключи от машины и квартиры родители больного ребенка, вот радостно повезли его в коляске... Вот он встал и, хромя, пошел ножками сам между папой и мамой...

А Шура-Шашка, испытывая страшное желание сорвать с себя парик или хотя бы почесать под ним больную головенку, тем не менее раздавала призы, радостно улыбалась и говорила какие-то вежливые фразы типа «Будем здоровы» или «Ну, поехали», которые помнила еще со времен своей застольной молодости.

Но сама она при этом зорко следила за растяпой Игорьком: он даже в очередь не влез, а стоял и глупо шарил глазами, ища потерявшуюся мать.

«Чисто телок», — думала Шура, но позвать сына было некогда, а вот почему он сам не идет к матери, Шашка не врубалась.

Она же не видела себя со стороны, не знала, что выглядит, как принцесса цирка, в своих черных шелках и с золотыми волосами.

Игорек искал совсем другую Шашку — тощую, как вобла, такую же жилистую, беззубую и загорелую, причем забинтованную.

Музыка играла, но никакого особого счастья она ему не приносила — Чума тосковал по маме Шуре как маленький.

Мимо него тащили ящики, толкали вручную «мерседес» (не в каждой ведь семье имеется свой шофер, приходилось волоочь волоком), причем все обращались друг с другом с повышенной заботливостью.

Вот последние в очереди, дедушка с бабушкой, сверкая свежими синяками, передали молодым ящик с телевизором и взяли ключи...

Зал постепенно опустел.

Шура со стоном содрала с себя парик, кликнула сына, и мрачный Игорек сел за руль «мерседеса».

Когда мать с телевизором взгромоздилась на заднее сиденье, Чума включил зажигание (если вы хоть раз угоняли соседский грузовик, вы легко справитесь с зажиганием) — и Шашкины уехали на новую квартиру.

А дед был уже у цели и готовился прыгнуть на сцену.

И тут раздался легкий писк — ребенок, карауливший Барби, был схвачен папашей за руку (семья давно взяла машину и ключи от квартиры и забыла насмерть о девочке, и только уже на улице, когда подрались, кому садиться за руль, бабушка вдруг завопила, что где Женька-то, совсем очертенели, ребенка потеряли, анчутки — и папаша был командирован за Женькой обратно на телецентр, он и потащил дочь уходить).

Когда отец поволок ребенка вон, ребенок, в свою очередь, поволок куклу Барби за собой и поволок также за собой виселицу, на которой висела кукла.

Ноги Барби соскользнули со скамеечки, музыка сразу кончилась, свет погас.

Виселица волочилась по полу, за ребенком, веревка натянулась на шею Барби Маши, голова почти уже была оторвана...

Дед ринулся спасать куклу, мощными руками столяра он оборвал шнурок виселицы и хотел сказать: «А куколка-то моя», — но ребенок даже ничего и не заметил — эта Женечка сунула Машу Барби за пазуху и, влекая отцом, исчезла в дверях...

Что оставалось деду?

Растерянный, он взял орган под мышку и пошел вон.

Дети, лохматые, нечесаные, попытались схватить его за руку, но не получилось.

Дед уходил.

Мальчик и девочка устались ему в спину и захныкали.

Но дед не слышал их тихого плача, он как бы оглох.

Опустившись на четвереньки, дети сидели в зале одни, но уже неумолимо приближалась команда уборщиц с зычными голосами, они вошли и двигались по проходам к сцене.

И мальчик вдруг увидел на полу сухую корочку и схватил своими крепкими зубами.

Корочка хрустнула.

Лохматая, грязная девочка вопросительно потянулась своим замурзанным личиком к брату — и он, добрая душа, выронил из пасти полкорочки.

Они не ели уже двое суток, несчастные дети, и были голодны, как собаки.

Они схрумкали крепкий, каменный сухарик за десять минут — правда, их к тому времени уже выгнали из зала на улицу.

Однако не забудем, что в сухарике содержалось пятнадцать томов книги мастера Амати «Советы добрым волшебникам».

Через десять минут на улице, на лавочке, сидели брат и сестра, оба в очках, знающие по семь языков (плюс венгерский без словаря), компьютерно образованные (в объеме самой крупной энциклопедии в мире под названием «Британика»), брат причем умел играть на скрипке, а сестра на рояле.

Однако это не помешало первой же шедшей мимо группировке подростков попытаться побить двух детей-очкариков.

И хоть брат знал все приемы у-шу, но что-то не давало ему поубивать своих противников и даже нанести им телесные повреждения.

Он только стоял, как стена, с очками в руках, терпя оскорбления.

А сестра за его спиной крутила перед противниками фигой (все-таки дворовое прошлое давало о себе знать).

На этом их и застал дед Иван, который отдыхал от предыдущих событий на троллейбусной остановке в ожидании транспорта.

Ему очень не понравились агрессивные детские крики за кустами.

Его временная глухота сразу прошла.

Дед Иван прогнал группировку подростков простой фразой «Толя Хромой вас ждет» (почему-то именно эти слова пришли ему на ум, хотя умной Барби уже не было с ним) и сказал двум худым очкастым детям:

— Я вижу, вы приехали издалека, а где папа с мамой?

Дети замялись.

— Мы их никогда не знали, — честно сказал мальчик.

— Так. — Дед Иван покашлял. — Не хотите ли выпить со мной чаю? Есть также теплые макароны с томатным соусом. Вас как зовут?

— Дуняша, — отрекомендовалась девочка.

— Тимоша, очень приятно, — откликнулся мальчик.

— Меня дед Иван, — сказал дед Иван. — Вы беженцы?

— Мы сами не знаем, — улыбнулся мальчик. — Не спрашивайте.

— Простите, больше никогда не буду, — сказал дед. — Хорошая погода, не правда ли?

И, смущаясь и пропуская друг друга вперед, компания села в троллейбус и отъехала.

Когда они пришли к деду домой, Дуня ахнула и присела у подоконника, глядя как завороженная на кукольный домик.

Там, в своем любимом кресле, сидела маленькая кукла Маша и читала любимую книжку «Стихи».

Правда, на шее у нее был обрывок шнурка — в виде галстучка или бантика.

— Можно я ее возьму на минутку? — вежливо спросила Дуня, умная, как собака (семь языков и высшая математика). — Надо кое-что снять с нее.

— А сумеешь? — сказал дед Иван строго, ставя на место музыкальный органчик.

— Разумеется.

— Ну валяй.

И через минуту он сказал:

— Молодец, руки-то хорошие у тебя, однако невымытые! Все марш в ванную, мыть руки — макароны на столе!

И он выкинул обрывок шнурка в открытое окно.



З м е й к а ч е р н и л

Из оды «Я»

1

Точно по телу мне выбрал божественный жребий
место — вон это место кладут на лафет;
точно по разуму — в склеп уносимое время, —
бренные место и время назвав «человек»,

то есть что цел я и вечен: вечный и целый,
я через Nihil плыву, как египтян ладья,
в профиль и в фас алебастрово-ликий и -тельй,
за метрономом гребцов из-под века следя.

Как меня звали, кто мои белые крали,
ливни в деревне плясали со мной или без,
социализмом ли иль кипарисным убрали
лиственным путь мой по жребию вешних небес,

всё, что из целой и вечной материи выпало
мышцей и мыслью во временный местный пробег,
вечно и цело отныне. Что бы там ни было,
Бог для *меня* выбирал это. Я человек.

2

На «кто ты? и что? и каков?» отвечаю: Я.
А что значит «я», думать — моя забота.
Струя семенная. Семейного древа края.
Не ты и не он. Не не-я. Не никто и не кто-то.

Не тем, что не «да», это «не» в аккурат по мне,
а тем, что не «нет». Выбракованная Ниневия,
срединого царства столица, великого Не,
неведеньем спрятана в зону невиденья Вия.

В неведенье что-то толчется — не я ли живу,
гадая, не зная зачем, к чему-то готовясь
такому, пространство чего шириной с Неву,
а список минут на слух — менюэт и повесть?

Там делается что-невесь кем-невесь. Кто-невесь
есть я. Это я. Это Я мое царствует втайне.
В нем нет содержания, одно только творчество есть,
есть творчество в вечном бесшумном его бормотанье.

Одинокое на холме

(Что такое дерево? — Дыры и пещеры,
как фонтанчик пляшущая в пустоте мошка,
скрипача, спеленатого в кокон, как торреро,
пассы, швы, вербники, петельки смычка.

А поскольку хочется больше, чем отмерено,
вот мы и отправились в счет грядущих лет:
Иванов в Италию — поглядеть на дерево,
Кириллов в Америку — тот увидет свет.)

Вяза облетающего легкий шар и парус,
набранное золотом по контуру крыло
в голубое лоно, в ребра упиралось,
пчелками, чешуйками прядало, трясло.

Дерево горячее обривали наголо,
а оно все тыкалось в мамку головой —
так они и ластились, два огромных ангела,
золотой — став бабочкой, ветром — голубой.

Но нужней и проще что-то было третье,
то ли что спустился и не поднялся
этот блеск октябрьский в двух шагах от смерти,
то ли глаз, заметивший вяз и небеса.

Городской пейзаж век спустя

Синий, холодный, резкий над водой мускулистой
ветер, окончен розыск! Трепетную вакханку
ты потерял навеки, угомонись, не рыскай
здесь, где цирк Чинизелли торсом теснит Фонтанку.

Нет больше грешной, ветер, нет бежавшей за угол
в шали скользкого шелка, в шляпе черного фетра,
ни в стороне от сверстниц, ни одной, ни с подругой —
в жгучих твоих объятьях, в майских объятьях ветра.

Нет покаянной, горькой, нет прихожанки верной
Симеона-и-Анны, кротко, покорно, гордо
сжавшей и растянувшей, как трехпролетной фермой,
мост между Нет и Было воплем мук и восторга!

Нет больше хрупкой ветки, нет больше гибкой змейки,
раковины, поющей чем звучней, тем спокойней, —
есть этот мост в сиянье майски слепящей смерти
между площадью людной и пустой колокольной.

Плакать не надо, ветер, время ее минуло.
Ставь не на человека, ставь на моря и земли —
или на полдень, полный свежести, блеска, гула,
когда львы и гимнасты входят в цирк Чинизелли.

Прежде возделывания земли

Гале

Когда играют «Караван»,
форель из озера Севан
выпрыгивает на два фута,
и жизнь еще не началась,
еще зовут Стефана Стась,
и, как верблюд, бредет минута.

Поет Король, танцует Дюк,
прошелся по шелкам утюг,
и нервная моя система —
шатер, и ствол, и каждый нерв —
раскинута, как фейерверк,
как куст в оранжерее тела, —

как деревцо добра и зла:
добром цветущая ветла
и злом — дрожит, стучится в окна

души моей. Душа моя,
зачем же ты, зачем же я
не верим, что созрела смоква!

С сосцами пальцы в караван
играют, плющат *саксофан*,
дрожит спинного мозга келья,
и плод печали и забав,
не тверд ли, сморщен ли, шершав, —
перстами пробует Психея.

Играют «Караван», я юн,
юней на десять тысяч лун;
и нервная моя система
чиста, упруга; я не пьян,
я просто юн. Но караван
миражем видит сад Эдема.

Подражание Пастернаку

Кроме шелеста крови, прислушаться,
тишина — и младенческий вздох
из печи значит только, что сушатся
в ней грибы и что первый подсох.

Это ночью. А утро, редутами
пионерски надраенных форм
ощетинясь и светом продутое,
задирает охотничий горн.

Но в осинник войди — и поэзия
прежде ритма, и звука, и слов
зренье выстудит холодом лезвия,
осеняя видением лоб,

не великая, общая, пестрая,
с лету, с отблеска, с полусловца,

растравляя, внушая, упорствуя,
побеждавшая век и сердца,

а тебе лишь открытая, скрытая
от тебя лишь, настолько твоя,
что приводит к рыданию рытвина
и в восторг — содроганье ствола,

та, которой все те не растроганы,
кто не ты, та, которой поэт —
бледный юноша, взоры и локоны,
но ни строф, ни поклонников нет,

та, которой ни с кем не поделишься,
даже с тем, кого встретил в лесу,
хоть и гриб он срезал не по-здешнему
и стирал, выпрямляясь, слезу.

* * *

То — прострел в поясницу, то — неделю мигрень,
в марте — гастрит, в апреле — стенокардия,
про зубы или про грипп и рассказывать лень,
всю жизнь одно за одним, такая картина.

И что любопытно, хворь прыгает вверх и вниз,
одно идет за другим, но никогда не вместе —
это, как оно будет, показывает организм,
когда навалится разом всё, стало быть, к смерти.

Что это? сердце? ты тикало, как часы,
прощай! Мозги, в вас мир клокотал, как в воронке!

Желудок — знаток натюрмортов в каплях росы!
Прощайте, ветров ущелья и флейты — бронхи!

А жаль, так верно друг другу служили вы,
рудами и родниками кормясь своими,
так ткань была совершенна, так тонки швы,
что даже носили когда-то душу и имя.

Джанни

Змейка чернил на бумаге «манилла»
цвет изменила, смысл изменила
сразу со *здравствуй* на *неразбър* —
слух о писавшем припелся с повинной,
время метнулось спиной буйволиной:
дней не осталось замуслить до дыр.

...Он появлялся в Крещенский сочельник,
теплый, как булка, белый, как мельник,
козьи сыры привозил и вино.
Жизнь осолив и культуру осалив,
чувствовал книгу профанную «Алеф»
только как речь он, а речь как кино.

Взмыв на Шри-Ланке, летел аэробус
с ним в Новый год к Эвересту — он глобус,
словно квартиру, ключом отпирал:
в Лондоне спальня, прислуги каморка
в Вене, в Париже кухня, в Нью-Йорке
лифт, и брандмауэром — Урал.

Он полюбил нас — а что это значит:
лица без жалости, землю без качеств,
правда, язык наш — звездная ночь,
правда, что «здравствуйте» — то катастрофа,
правда, не Азия и не Европа,
спичка — для вписок, для вымарок — нож.

В Предсибирии, в Зауралии
из реки Сысерть
убежала Смерть,
прибежала в Рим
полюбиться с ним —
как-то слаще оно в Италии.

Это не «вечная память», а проба —
помнишь как, помнишь как, помнишь как... Что бы
вспомнить, с тобой о тебе говоря? —
милого Звево забавное слово;
с рейнским сухим судака разварного;
честность очков под ногами ворья.

Джанни (и колокол: джанни! джованни!),
ни отпеванье, ни расставанье —
чем встретить день студень такой?
Кто из живых знает смерти меру?
Вставлю, пожалуй, в кассетник Карреру,
мессу креольскую за упокой.

*Господь, прилей кровь моей вере!
 Господь, пожалей меня зверя!
 Господь, утешения двери
 открой скулящему псу!
 Господь, Отец мой небесный,
 твой дух и состав телесный
 внеси в закуток мой тесный,
 а я свою боль внесу.*

18 января 1995

9 Мая

Бабка моя, именем Соня,
 не похороненная в блокаду,
 духом муки и дров в межсезонье
 вдруг пролетает по Ленинграду —
 к выцветшим пятнам, к атомам угля,
 к дюнам, где дождь — мулине рукоделья,
 а облачка — взбитые букли
 бабки моей, именем Бейля,
 в сторону Луги и дальше на Ригу,
 в атомах кремния, серы, железа,
 к вою смотревшего ту корриду
 глухонемого юрода-леса,
 не похороненной после расстрела.
 Так я по крайней мере увидел
 их, когда «в землю отъидешь» подпела
 хору старушка на панихиде.

* * *

Мне сказали: мир этот создан
 монолитным, потом расселся
 между центростремительной к звездам
 гонкой и центробежной к сердцу,
 просочилась, мол, порча в щели
 вещества — из небесных трещин,
 потому что, приняв крещенье
 от начал, он был переkreщен.

Кто сказал мне об этом? Музы.
 Но ходил и в народе слух,
 что пространство и время — грузы,
 выпадающие из рук.
 От начал,— сказали,— *вот веришь?*,
 стал крошиться земли сустав,
 мироздания зад и перед,
 да и твой кровавой состав —

от начал, когда влага рос
 сад поила, не руша скал,
 взор сиял, и слезных желёз
 не закрылся еще канал,
 цвел восторг, пылала тоска,
 мысль не сжевывалась мечтой,
 свет не ржав был, тьма не тускла,
 и отсутствовало Ничто.

А теперь-де, Москва,
 где живут одна
 и чье Всё — ничего,
 как орбит статус-кво —
 супротив сельца,
 где клевал петух
 зерна звезд с крыльца,
 а сердца —
 тук, тук.

*Песенка для Лёвы**Train's gone away and will never come back*

*Поезд ушел от станции и назад не вернется,
ждать его больше нечего, он не придет никогда, —
в блюзе нью-орлеанском вроде того поется
с гитарным стоном, с надрывом, с припевом *шаб'дабуда*.*

*Вон он ныряет в березовую, в клеверную *шаб'дабуду*.
Как вам, коровки, пасется? как привес и удой?
Мыкните виолончелью, я подсвищу в дуду.
Так бы и мчаться то лиственной, то снежной *шаб'дабудой!**

*Снежной, белой, бесчувственной даже еще и лучше,
это как плыть в Америку или без снов уснуть.
Память в мороз тупей, а разлука разлучней,
не угадать, где главный, где параллельный путь.*

*Расходись, провожающие, — нет связи с *шаб'дабудой*.
Следующие на подходе к станции поезда.
А ваш все дальше уносится и давно уж пустой —
лишние только слезы, если вернется сюда.*

* * *

*Мотивчик отзвучал, его кладут на дно
шкатулки заводной и, даже на ночь в церкви
не ставя отпевать, увозят в душный зной,
под хвою и песок на дюну в Сестрорецке.*

*Бедняжка оттрубил. А как им баритон
надрывно веселил сердца Матрён Абрамен
и Яков Фомичей! Но фьють — уже с трудом
сам вспомню, почему и я бывал им ранен.*

*Истлел, в момент истлел, уплыл в подзол полей
путями струй, как всё, минутно что и бренно,
в залив, в разлив воды, в Разлив, где Лорелей
с шарманкой спит вдали от Вагнера и Рейна.*

*Исчез совсем, никем не может быть напет,
ни высвистан у птиц, ни выпытан у дивчин
и хлопцев на кругу. Вот этот, что ли? нет?
Ни этот и ни тот — так вообще мотивчик.*

Чужая недвижимость

*Водя пером того, кто болел и умер,
в тетрадке того, кто выстрелил себе в лоб,
на палку того опираясь, кто обезумел,
на весла того, кто, за борт упав, утоп,*

*что я делаю, как не с огнем играю,
лет со сколько не важно, в общем, давно, —
если только и вправду сползаю к краю,
а не вцепился в стул и смотрю кино?*

Эх, обкидали грязью кого-то мальчишки,
нет, завернули в плед, везут на курорт,
эй, он стреляется в смокинге и манишке,
рыба — его, что ль? — в беззвучный целует рот —

или, вон, давится, воеет, врачам не верит,
шарит рукой по нестираной простыне...
Главное — знать: *вместо* меня — или *перед*?
пусть *заслоняя* — или *готовя* мне?

* * *

Толе

Подушечкой пальца придавишь на скрипке струну,
как шкет подбираясь чутьем сквозь обертку к гостинцу,
объявишь: «Ну, Гайдн. Ну, не знаю. Да мало ли, ну», —
и время пойдет убежать от большого к мизинцу.

Всё что-то мурлыкал, по хвое бродя и песку
в стране, где парламент глухим обсуждается бором,
где бриз нагоняет, потом разгоняет тоску,
где то лишь история, что распевается хором.

Но звуки — стволлов, насекомых, пернатых братья —
в компании сосен, и птичек, и пчел верховодя,
от крон до корней волокном древесины пройдя,
и *до* отзывались подзола, и *соль* мелководья.

Смычок тебе правую сложит в щепоть, а струна
на левой раскроет щепоть — так смотри, не заныкай
ту пьесу, не Гайдна, а то ли на М, то ли на —
не важно, — где двое вдоль моря идут за черникой.

Каприччо черничное, старый черничный концерт,
забыв про чернильные ноты, экспромтом, ну как-то,
забыв про страну, где позвякивал молот о серп,
ведь ты мне сыграешь? Черничное то пиццикато.

* * *

*Анатолий Генрихович, ты совсем седой,
а когда-то был ужасно молодой!*



К у ч а

ПОВЕСТЬ

I

Холодным апрельским днем математик Сорокопут Аркадий Лукьянович ехал по своей надобности в один из районов Центральной России. Район этот находился не то чтобы далеко от столицы, но крайне неудобно. Надо было ехать пять часов поездом до станции В., а там с привокзальной площади шли некомфортабельные местные автобусы. Это еще более двух часов, потеранных для жизни, и чисто тюремного мучительства в сидячем вагоне: скорее бы отсидеть.

Сорокопут уже совершал подобную поездку полгода назад, и впечатления были свежи. Более того, если в первую поездку он отправлялся с каким-то чувством неизведанного, с какой-то надеждой на новое, интересное в пути, то теперь он уже заранее знал, как будет изнывать от неподвижности, с какой мольбой будет часто поглядывать на свои ручные часы, с каким нетерпением искать ответ на циферблатах встречаемых вокзальных часов, поделенных на величины постоянные, закрепленные индусскими цифрами. Цифрами, которые напряженно волокли, вытягивали личность из древнеегипетской «кучи» — хуа. И вязкая почвенная монотонность вагона, и однообразный, созданный унылым копиистом пейзаж за окном: поля, кусты, семафоры, людские фигурки — казались ему существующими еще за семнадцать бездонных столетий до Р. Х., когда они были засвидетельствованы в математическом папирусе Ахмеса, математика или просто переписчика, — это тоже терялось в «куче» — хуа. Так названа впервые неизвестная величина, «икс», неопределенность, бесконечность «икс» — липкий глинозем или сыпучий песок.

Пифагорейцы рассматривали определенные, осязаемые числа как основу мироздания. Они любили полновесную, сочную жизнь. Но гений Архимеда перечеркнул их надежды, он снова вернулся к египетской куче, вернулся уже на более высоком уровне весьма больших чисел и посвятил этому особое сочинение «О счете песка».

С тех пор у науки появилась навязчивая идея сосчитать бездну, ибо вся наука пронизана математикой, как тело кровеносными сосудами, и соблазны математики вместе с кровью поражают прежде всего самое слабое, самое большое место науки — философию.

Аркадий Лукьянович Сорокопут был человек «многоцветный» вопреки стараниям его предков приобрести, по совету Тургенева, «одноцветность», если они мечтают об успешной деятельности среди народа.

Происходил Аркадий Лукьянович из семьи потомственных математиков. Прадед, Николай Львович, личность в семье легендарная, профессор Московского университета, занимался теорией алгебраического решения уравнений высшей степени. Теория эта была связана, как говорят математики, с явлением иррациональным, или попросту с чудом. Будучи долгое время объектом безуспешных усилий, камнем преткновения многих великих математи-

ков, включая Лагранжа, Ньютона и Лейбница, она была в принципе решена мальчиком, французским школьником Эваристом Галуа, портрет которого, принадлежащий прадеду, достался Аркадию Лукьяновичу и висел над его письменным столом.

Собственно, это была литография с карандашной зарисовки, на которой Галуа был изображен молодым офицером посленаполеоновской Франции. Ему было двадцать лет. Надо ли удивляться, что мемуар, посланный ранее, посланный французским школьником во Французскую Академию, мемуар, содержащий в себе целую отрасль науки, был академиками отвергнут и осмеян.

Лейбниц, который тоже не верил в мнимые числа, в иррациональное, все же писал: «Из иррациональностей возникают количества невозможные или мнимые, удивительной природы, но пользы которых все же невозможно отрицать. Это есть тонкое и чудное пристанище человеческого духа, нечто пребывающее между бытием и небытием». Так писал Лейбниц. Но во Французской Академии сидели тогда просветители и вольтерьянцы, материалисты и сатирики, насмехавшиеся над духом и верящие только в «познаваемое неизвестное», т. е. в древнеегипетскую «кучу», где «икс» не из небесного эфира, а из глины и камня, из песка, из грунта, из материи. Таков был их личный вкус, и обвинять их в этом нельзя. Это был их личный вкус, закреплявший отныне надолго возрастающее господство «кучи», бесформенного диалектически «познаваемого неизвестного».

Академики-вольтерьянцы отвергли дух, «куча» казнила тело. 30 мая 1832 года 20-летний Эварист Галуа, может быть, талантливейший математик XIX столетия, был убит на дуэли своим товарищем, «познаваемым неизвестным», «кучей», поглотившей его тем же модным тогда способом, которым «познаваемое неизвестное» поглотило плодоносную пушкинскую зрелость и оборвало лермонтовский расцвет.

Впрочем, методы менялись, и «гуманная» казнь по способу доктора Гильотена чередовалась с бесформенным пиршеством народа, когда к задушенной французской революционной толпой женщине бросался «икс», распарывал ей грудь и впивался зубами в сердце.

Во время господства «кучи» не ночь, а день становится временем убийц, которые более не таятся. Дух же, иррациональное же, уходит под покров ночи.

Всю ночь перед дуэлью-убийством Галуа писал письмо своему другу Шевалье. В письме-завещании этом он излагал свои оригинальные и глубокие идеи, которые не хотел унести в могилу. Развитие этих идей стало основой целой математической отрасли.

Аркадий Лукьянович иногда, в моменты «иррациональные», глядя на висевший над столом портрет, воображал эту теплую гоголевскую майскую ночь, отворенное окно, лунное лицо апостола от математики, шелест французских кленов, которые казались ему деревьями более благородными, чем вульгарный каштан, с которым связано почему-то у иностранцев представление о Париже. Нет, Галуа любил клен, и ночной клен шептал обреченному юноше все, что он не услышит в своей несостоявшейся жизни гения, которого сожрала «куча».

Может быть, под влиянием этой легендарной реальности, этой «романтической математики», Николай Львович, профессор, ушел «в народ». У русской интеллигенции 70-х годов XIX века была своя логика. Они слышали крик нестерпимой боли, но для многих источник этой боли не был ясен, и приходилось идти на ощупь, выбирая в поводыри то Тургенева, то Лаврова. (Что же касается Нечаева и Ткачева, маленьких наполеончиков революции, то это было как раз наоборот — хождение народа в интеллигенцию.)

Николай Львович, с французскими своими впечатлениями (незадолго до своего решения уйти из университета он вернулся из Франции) и французским своим кумиром, отправился в русскую глубинку, склоняясь более к «русскому французу» Тургеневу, призывавшему к просветительству, а не к агитации и

землепашеству. Спасение духа он видел в одухотворении глины, наподобие того, как это когда-то совершил Господь. Задача, как стало впоследствии ясно, не только невозможная, но и дерзко опасная, ибо одухотворять пришлось глину бесформенную, тогда как Господь прежде всего придал глине форму.

Вместе с портретом Галуа к Аркадию Лукьяновичу дошел и номер журнала «Вперед» за 1874 год с выцветшими пометками красного карандаша, хранящими руку прадеда.

Аркадий Лукьянович часто перечитывал статью, особенно места, подчеркнутые Николаем Львовичем.

«Для работы среди крестьян, — говорилось в статье, — нужны люди, которые сумели бы сжиться с народной жизнью... Подобные люди не опускают своих сильных рук, не вешают уныло голов».

Тургенев считал, что для такой деятельности наиболее подготовлены «одноцветные народные люди». И, развивая эти идеи далее в своем романе «Новь», добавляет к одноцветности еще один важный признак народного интеллигента — «безмянность». Спасители народа будут «одноцветны» и «безмянны». «У нас нет имени, — соглашаясь с Тургеневым, сообщает в своем воззвании журнал «Вперед», — мы все русские, требующие для России господства народа».

Так началось новое время, возник новый человек, в идеале — безмянный по форме, одноцветный по содержанию. И в соответствии с этим идеалом ломали себя в прокрустовом ложе народопоклонства предки Аркадия Лукьяновича.

Николай Львович оставил профессорство и уехал в глухой северный уезд учить крестьянских детей математике. Впрочем, из этой затеи вышло многим более, чем из профессорского землепашества. Сын Николая Львовича, Юрий Николаевич, также талантливый математик, профессор Новороссийского университета, не без восторга перед личностью отца, но разочарованный в его идеях, увлекся анархизмом и после ряда неприятностей с властями имперской России работал в Брюссельском Вольном университете. Таким образом, Лукьян Юрьевич Сорокопут родился в Брюсселе в 1902 году.

В 1917 году с пятнадцатилетним сыном, западным якобинцем, вернулся Юрий Николаевич в обетованную Россию, где увидел при свете белого дня сцены, перекликающиеся с пиршеством французской революционной толпы. «Одноцветные» и «безмянные» на его глазах пилой отрезали руки «грабителя народа», а в ноздри грабителю вколотили добротные столярные гвозди. Так расовый кишиневский погром четырнадцатилетней давности, в котором трудились народные столяры по мясу, вырезая языки и забивая гвозди в тело, перерос в классовый петербургский погром, с сохранением «трудовых» народных традиций. И дворяне, в том числе и дворянские антисемиты, радовавшиеся «пробуждению сознательного народного гнева», ощутили этот гнев и этот «труд» на себе.

Под влиянием этого «свободного труда» Юрий Николаевич на нервной почве заболел астмой и к тому же вскоре был застрелен каким-то вооруженным гармонистом, когда во время народных танцев встал на стул и, задыхаясь, начал дискуссию на тему «Гражданские права и нравственная ответственность». Тем не менее Лукьян Юрьевич, бывший западный якобинец, до 1940 года дожил более или менее благополучно, благоразумно избрав в математике бездейную область, орудия с простыми, не иррациональными числами, предпочтение которым отдавали пифагорейцы. А именно: он стал бухгалтером плодоовощной базы города Ртищево Саратовской области. Здесь и родился, здесь проживал Аркадий Лукьянович. Впрочем, отбыв семилетний срок как уроженец города Брюсселя, столицы враждебного государства, Лукьян Юрьевич с семьей переехал далеко на Запад. На Запад СССР, где, по сути, прошло детство Аркадия Лукьяновича и откуда он штурмовал столичный физмат.

Время было размахистое, но ему повезло, и, продемонстрировав каче

ства потомственного математика, он стал студентом университета. Помог и наплыв евреев в математику, на котором была сосредоточена основная борьба приемной комиссии. А Аркадий Лукьянович все-таки был сыном простого русского бухгалтера.

Итак, он стал студентом, но, как уже было сказано, оставался человеком «многоцветным». Впрочем, «многоцветным» с математическим уклоном. Когда в первый и, очевидно, в последний раз в своей жизни он на втором курсе полюбил сильно, до счастливой бессонницы, женщину красивую, глупую, развратную, то писал ей стихи: «Оля, О-ля-ля, начинается с нуля». Оля обиделась: «Значит, я ноль без палочки?» И тут же засмеялась своему случайному, однако удачно сказанному каламбуру. В кругах, где вращалась Оля, палочка означала сексуальную непристойность.

Но Аркаша, который был чист и любил так сильно, как только девственник может любить порочную красавицу, начал ей с пылом, с жаром объяснять, что ноль — не пустота, а важнейшая величина. И недаром именно индусы, возродившие математическое творчество после того, как оно угасло в Греции со смертью греческой культуры, именно индусы ввели ноль в употребление. Ноль — это математическая нирвана, блаженное состояние покоя, достигаемое путем полного отрешения от посторонних и потусторонних бурь, нейтральный промежуток между рациональным и иррациональным числом.

Пылкая речь влюбленного математика о нуле произвела на Олю примерно такое же воздействие, как речь его деда Юрия Николаевича на рабоче-крестьянскую массу, собравшуюся в 17-м году под гармошку отпраздновать свою историческую победу. Ибо говорить серьезные вещи несерьезным людям — значит оскорблять и себя, и их. Тем более путанно, задыхаясь от астмы ли, от любви ли. Гармонист ответил на оскорбление пулей, Оля отказом и разрывом. Аркадий мгновенно сник, съезжился, но постепенно ожил опять, как деревцо после мороза, начал расти, правда, не так бурно, а более умеренно. Вскоре он женился на миловидной шатенке, умной, способной своей сокурснице, и перестал писать стихи.

II

Так ехал Аркадий Лукьянович в сидячем вагоне до станции В., пытаюсь занять себя то мыслями о прошлом, то научным журналом. Ехал во второй раз, как и в первый, с той лишь разницей, что теперь за окном была весна — худшая пора года в Центральной России, когда зимний холод усиливается весенней сыростью, а северо-восточные ветры выдувают последние крохи жизни из бездомных птиц, зверей и прочих живых существ. Как ни тяжело было в вагоне, как ни немела спина, ни ныла поясница, ни стягивало кожу на голове, вскоре предстояло покинуть стены и крышу, принять в лицо оскорбительные плевки мокрого снега, заплывавшего циферблат часов на сырой платформе, подъехавшей к вагону, переполненной мокрыми озьявшими людьми, рвущимися внутрь вагонной духоты, чтоб спастись от снега и ветра хоть ненадолго. А снег и ветер, подобно расшалившимся подросткам, добавляли им в спины, затылки и задницы последние пинки через открытые двери, и пинки эти достигали Аркадия Лукьяновича. «Скоро ты будешь одним из них, — с тоской подумал Аркадий Лукьянович, — согласно расписанию, через пятнадцать минут».

Он посмотрел на свои ручные часы, сверил их со станционными, цифры на которых, казалось, корчатся и дрожат от хулиганского российского климата.

Поезд пошел, заскользила вязкая насыпь, и так было лучше, ибо она отгораживала унылую законную даль. Но вот насыпь оборвалась, словно ее обрубили, коротко мелькнул мост, начало поворачиваться серое пространство, возле шлагбаума стояли подводы и самосвал, и жалость к кучке серых

людей возле подвод кольнула снизу под ребра. Но навстречу, загораживая озябшую Россию, уже несся фирменный столичный поезд густо-синего цвета, как околышек военно-жандармской фуражки. Мелькали за занавесками литые щеки, безмолвный визг хохочущих женщин, бутылки пива на столах. И, когда встречный экспресс унес свою сытость и тепло, за окном уже в несколько рядов стояли на соседних путях цистерны, товарняки, какие-то одиночные пассажирские вагоны. Это уже была станция В. Все вокруг зашевелилось, закашляло, завздыхало, и Аркадий Лукьянович тоже поднялся, взял потфель и вышел. Первое впечатление было не такое уж мрачное, как казалось. Здесь, за домами станции, ветер был не так силен, к тому же на Аркадии Лукьяновиче было хорошее теплое непромокаемое пальто, хорошая теплая шапка, теплые непромокаемые ботинки и мягкие кожаные перчатки. Все по сезону и все импортное. Потфель тоже был австрийский, привезенный женой с какого-то антивоенного научного симпозиума.

Так, оберегаемый своей хорошей одеждой и обувью, Аркадий Лукьянович Сорокопут с достоинством прошелся по платформе, расправляя затекшие части тела и даже производя легкий массаж на ходу то одной, то второй рукой. Зрительная память у него была хорошая, и, не спрашивая, он нашел в хаосе переходов выход к привокзальной площади, откуда отправлялись рейсовые автобусы. На площади, однако, стало похуже. Ветер здесь гулял удалой, задирал полы пальто, силился сорвать чешскую, помещичьего образца, цигейковую с большим козырьком шапку, и Сорокопут пожалел, что не надел презираемый женой отечественный треух.

Он повернулся, ища автобусную остановку, и тут же ощутил плевков прямо в глаза. Холодная снежная слюна потекла за ворот. Но еще хуже ощущений были впечатления.

Мокрый, жалкого вида лозунг из последних сил хрипел на вокзальном фронтоне: «Да здравствует многорукий коммунистический субботник». И неоновая надпись в гриппозном полубреду сообщала об ожидании жиров. Лишь приглядевшись, Аркадий Лукьянович понял, что речь шла о зале ожидания транзитных пассажиров, но часть букв горела хуже или вовсе погасла. Автобусы стояли в дальнем конце площади, у дощатого киоска, на котором висело расписание рейсов. Толпилась очередь к окошку кассы. Именно толпилась, так было всегда после прибытия поезда. Впрочем, когда самые сильные и ловкие были обеспечены, стало поспокойнее, и Аркадий Лукьянович пристроился следом за самыми слабыми, главным образом старушками, начал двигаться к окошку кассы.

Из расписания он узнал, что ему не повезло. Автобус ушел двадцать пять минут назад, и теперь следующий собирался в рейс через час с небольшим. Он уже начал тосковать, как услышал крик: «Одно место до...» И назван был непосредственный пункт назначения. Народ в очереди и не шевельнулся, конкуренция среди местной публики за места в такси была явно не столичная. Народ здесь был экономный, считая, что собственные силы — предмет дешевый и единственный им принадлежащий излишек того, что они отдают государству.

Аркадий Лукьянович знал о возможности ехать от В. на такси, но, как ему объяснили, возможность эта была крайне невелика. Такси появлялись редко и подчинялись правилам теории вероятности, а не местного автотранспортного хозяйства. Однако вот оно, вот кожаное покато сиденье, дающее отдых позвоночнику, вот мягкий, ласковый свет внутреннего плафона, вот наркотический запах шоферской куртки и бензина, вот самоотверженная прочность небьющегося стекла и штампованного железа, принимающего на себя бешеные удары природы, тогда как мощный мотор подобно мечу рвет и режет враждебное пространство, прокладывая счастливым путь к заветной цели со скоростью 80—100 км в час.

— Такси! — крикнул Аркадий Лукьянович, подняв руку.

«И-и-и!» — передразнил ветер. Надо было кричать громче.

— Такси!!!

«Такси!!!» — заорало эхо в другом конце площади.

Ловок, ловок был конкурент, четко материализовавшийся в свете фонаря. Пожилой человек бежал несолидно, как мальчишка, и держал в руках трехлитровую стеклянную банку с каким-то продуктом. Хлопнула дверца, ожил мотор, подмигнул красный зрачок.

— Такси!!! — крикнул Аркадий Лукьянович.

Это уже был звонкий крик отчаяния.

Здесь оно дышало, оставив на мокром снегу проталины, здесь оно стояло на своих следах от рубчатых шин. Тепло и комфорт растаяли, как мираж, реальностью был дикий холод безжалостной площади...

Аркадий Лукьянович покинул эту площадь через час. На этот раз он был среди сильных, он брал автобус штурмом. Ему оторвали две пуговицы пальто, но сидячего места он не добился. Вокруг учащенно дышал народ, и Аркадий Лукьянович дышал в общем ритме с народом. Вспомнились стихи отца, Лукьяна Юрьевича, посвященные его умершему товарищу, бывшему буденновцу: «Он был среди сильных, он брал Перекоп, награда ему — лакированный гроб».

Автобус действительно напоминал гроб на колесах, хоть и не лакированный. Набитый мешками, кулями и телами, воздух твердел, ядовитые продукты распада, образующиеся в результате жизнедеятельности, грозили прервать обмен между организмом пассажиров и окружающей средой. Чем спасается русский человек в такой крайней ситуации? Острым словом, ибо, кроме как на шутку, надеяться не на что.

— Граждане крестьяне, — это кто-то из глубины, — сейчас будем дышать по очереди...

Засмеялись. Стало легче. Поехали.

— Так только до Нижних Котлецов будет, — подбодрила Аркадия Лукьяновича какая-то женщина, узнав в нем человека нездешнего и неприличного. — В Котлецах свободней станет.

Дружеское расположение женщины к Аркадию Лукьяновичу продолжалось, правда, недолго. Минут через десять автобус сильно дернуло, подбросило, центробежные силы оторвали женщину от поручня и, гипнотизируемая ускорением, хоть и упираясь массой, усиленной ватной курткой, женщина двинулась мелким напряженным шагом в сторону Аркадия Лукьяновича, ударом лица о локоть Аркадия Лукьяновича выбила из его рук австрийский портфель, отшатнулась и вторично в тот же локоть лицом...

— Пардон, — сказал Аркадий Лукьянович почему-то по-французски, подбирая портфель и потирая ушибленный локоть.

Женщина не ответила, пробираясь назад к своему мешку.

— Порасставляли портфелей! — злобно пожаловалась она сама себе.

И Аркадий Лукьянович понял, что его «пардон» так же нелеп здесь, как, например, запах французских духов. Надо было все смазать шуткой либо промолчать.

Потеплело. Мокрый снег сменился холодным дождем, более шумным и сердитым, чем снег, лишь лизавший окна автобуса, тогда как дождь начал буйно в них стучать.

За окном господствовал все тот же серый цвет, который сопровождал и поезд. Каменные заборы, каменные дворы автохозяств и кучи, кучи, кучи...

Все было свалено в кучи. Железо, какая-то серая масса, то ли удобрение, то ли цемент... Мелькнула куча порченой картошки, над которой кружило воронье, и издали это напоминало картину Верещагина, где вороны кружили над полем битвы, над кучей черепов.

Пейзаж действительно напоминал поле прошумевшей битвы. Какой и с кем? Кто поизмывался над этим среднерусским полком, где все было разбросано, неучтено, над всем царил глиняный древнеегипетский идол «хуа», все было первобытной алгеброй, возникшей за семнадцать веков до Р. Х., между тем как поля эти нуждались просто-напросто в прочных четырех действиях арифметики, которые любой бухгалтер легко отобьет на костяшках своих

счетов. Остатки же математики, которые достались по наследству от людей, которых теперь уже нет, почти нет и скоро совсем не будет, реквизированы для дел военно-космических так старательно, что полям этим и арифметики не осталось, только бесформенный «икс», «хуа», куча...

Автобус остановился у шлакоблочных тоже кучей расположенных домов-башен городского типа. Это и была деревня Нижние Котлецы, вернее, бывшая деревня, растоптанная каким-то военным заводом.

Народ потянул к выходу, под дождь, бегом через поле к домам. Вышла и женщина, взвалившая на себя мешок. Остановилась под дождем, перекрестилась на церковь, которая стояла среди еще сохранившихся остатков деревни, потом, стуча по спине мешком, побежала вслед за остальными к шлакоблочным домам.

Стало свободней, Аркадий Лукьянович сел, блаженно закрыв глаза, балуя свое тело, баюкая его на расшатанном пружинном сиденье. Навалилась усталость, хотелось спать.

Здесь, подальше от железной дороги, пейзаж стал пустынной, но и чище. Дождь утих, начало смеркаться, где-то вдаль уже рассыпалась позолота огоньков. Водитель включил свет и в автобусе, отчего явилось какое-то праздничное настроение отдыха после трудов и бед.

Автобус повернул с шоссе и выехал на проселок, зачвакал колесами по глине. У края поля перед канавой сидел на корточках мужик в кроличьем треухе, справлял свою нужду. Автобус с множеством людей в освещенных окнах, можно сказать, застал его врасплох... Мужик, не суетясь, коротким движением сдвинул треух с затылка на лицо, укрыл свой облик от посторонних глаз и уже инкогнито, безмянно, в качестве «икса», «хуа», небольшой кучки, продолжил свое дело.

«Как просто», — подумал Аркадий Лукьянович и, окончательно успокоенный этой снаой, словно восковая свеча, притчей, заснул.

Он проснулся от шума воды. Еще во сне ему казалось, что он каким-то образом оказался в лодке, а когда пересел из автобуса в лодку, не помнит. Автобус действительно шел по воде, вода плескала чуть ли не у окон. Аркадий Лукьянович услышал тревожное словцо: «Наводнение... Речной разлив...»

Пассажиры собирали вещи, слухи спорили со стихией, кто сильней напугает. «Не проедет, мост снесло». «В прошлый год перед Пасхой так же». «А предыдущий рейс проскочил». «Эх, не повезло!» «Надо бы к перевозчикам». «Да они же все пьяные перед Пасхой». «Деньги за перевоз берут по пятерке с рыла и еще вымочат... В прошлом году женщину с детьми утопили. Нет, я в Михелево ночевать, утром разберемся». «И верно, — поддакнул кто-то, — ночь да пьянь... А лодки у них дырявые...»

Автобус выбрался на возвышение, вода ушла из-под колес.

— Все, — объявил водитель, — дальше не пойдет.

— А как же деньги? За билет уплачено?

— Не мне платили, государству, — сказал водитель, — с него и требуйте.

Аркадий Лукьянович сошел на болотистую чвакающую почву. Опять шумел дождь. Хоть тьма еще не стутилась, то там, то здесь мелькали фонари. В сером сумраке была видна черная вода, в которой плыли грязные льдины. В воде уныло стояли телеграфные столбы и какие-то цистерны. Автобус был весь в грязи, и с противоположной стороны реки, у остатков моста, тоже видны были автобус и кучка пассажиров возле. Это был рейсовый, который возвращался на станцию В.

Лодочники-перевозчики, в большинстве мальчишки 16—17 лет в высоких рыбацких сапогах, перекликались пьяными голосами. Невдалеке в речную воду впадала «Волга» — такси, и шофер возился в моторе. «Тоже не проскочила», — удовлетворенно подумал Аркадий Лукьянович и не без злобства заметил, как метался по водной кромке ловкий конкурент со своей стеклотарой, ругаясь с перевозчиками. Один пьяный перевозчик, оскорбленный, видать, ловкачом, толкнул его, и ловкач умело упал на спину, держа над

собой трехлитровую банку со столичным дефицитом. Впрочем, несмотря на страхи и сомнения, большинство все же договорилось с перевозчиками, ибо, когда автобус развернулся, чтоб ехать назад, до Михелева, кроме Аркадия Лукьяновича, сидело еще три человека, какая-то общая компания.

«Вот те раз, — подсадовал Аркадий Лукьянович, — ну народ, ну можно ли слушать такой народ? Наговорят, напугают, а сами уже на той стороне. Может, специально, чтоб конкурентов меньше было на лодки. Да делать нечего, придется искать ночлег в этом Михелеве, о котором еще недавно и не думал, и не слышал».

Автобус мотало, качало, опять плескалась вода, было впечатление морского шторма, подкатывало от живота к горлу, видать, не только у Аркадия Лукьяновича, потому что один из пассажиров предался морским воспоминаниям. «У нас на флоте специальное штормовое меню было. Рассольники, солянки, щи из квашеной капусты, ржаные сухари, баранки, сушки... Побольше солено-копченых продуктов...»

Аркадий Лукьянович вспомнил, что ел только с утра, дома и наспех, рассчитывая пообедать на вокзале в В., но пробегал все время по площади, простоял за билетом. Он полез в портфель, однако там нужных сейчас сырокопченостей не оказалось, а скорее наоборот, три плитки шоколада «Дорожный» и два апельсина. А хотелось горячих щец или хотя бы ржаных сухариков.

Копаясь в портфеле, Аркадий Лукьянович и сообразить не успел, как остался в автобусе один. Три пассажира выскочили и были уже далеко позади.

— Водитель, — растерянно позвал Аркадий Лукьянович, — вы, собственно, куда едете?

— А вам куда? — не останавливая автобус, спросил водитель.

— Мне в это... Михелево.

— Центральная усадьба или бараки?

— Центральная, — ответил Аркадий Лукьянович. В бараки ему явно не хотелось.

— Можете сейчас выйти, — сказал водитель, останавливая автобус и открывая двери.

Аркадий Лукьянович подхватил раскрытый портфель и торопливо вышел во тьму. Тьма была первородная, как до сотворения мира. Лишь позади освещенный автобус и вдали слабые, полуживые огоньки-комарики носились роем.

— Водитель, — испуганно сказал Аркадий Лукьянович, — а где же эта?.. Центральная? Где Михелево?

— Напрямую до развилки, — сказал водитель, — а оттуда минут двадцать ходу...

— А вы что ж, туда не едете?

— Мне в другую сторону.

— Нет, — заупрямился Аркадий Лукьянович, — я билет купил, а вы меня в поле оставлете... Какое же это Михелево? Это поле... — И он ухватился руками за надущую резину, не давая дверям закрыться.

— Пусти двери! — по-звериному коротко рыкнул водитель. — Я тебя прямо к дому доставлять не обязан, долгогривый, — добавил он уже сверх нормы, намекая тем самым на длинные волосы Аркадия Лукьяновича.

Аркадий Лукьянович заметался. Расстегнутый портфель, как расстегнутые брюки, мешал активным действиям, а между тем водитель возвышался над ним статуеобразно, подобно скульптурному изображению диктатуры пролетариата.

— Я кандидат физико-математических наук, — пытался обрести достоинство Аркадий Лукьянович. Это была уже совсем политически неграмотная формулировка. За такие слова в 1917 году вполне могли застрелить. Но водитель лишь с шумом запер перед самым носом классового врага двери в светлый мир автобуса, оставив Аркадия Лукьяновича тонуть в окне тьмы.

Тьма глухо рокотала, и Аркадию Лукьяновичу казалось, что он слышит грозный плеск ее волн. Впрочем, постепенно глаз освоился, и стали различимы бугры, кучи, какая-то неровная, разоренная местность. Но чуть левее — что-то вроде газона. Аркадий Лукьянович застегнул портфель и пуговицы пальто, которые уцелели все, кроме двух, потерянных еще на станции В.

Как всякий интеллигент после скандала, он уже упрекал себя, насмехался над собой, жалел о своих дурных качествах, спровоцировавших на грубости, очевидно, усталого рабочего человека.

«Пойду по газону, — решил Аркадий Лукьянович, — там уж точно не разрыто».

Он сделал несколько шагов напрямик и рухнул в яму, ослепленный сильной болью в левой ноге.

III

Боль, ненормальное, повышенное ощущение. Характер боли бывает различный в зависимости от причины и анатомического положения подвергшихся раздражению чувствительных нервов. Острая боль фейерверком ударила в сознание Аркадия Лукьяновича, и она несла с собой тревожный крик: «Сломал, сломал левую! Опять сломал левую!»

Потом острая боль перешла в режущую, пульсирующую, опадающую подобно огням фейерверка, остановивших свой первоначальный взлет, и вместе с ней начала опадать из сознания тревога: «Вывих или только ушиб».

Потом шипящий огонь боли оставил тело и охватил лишь левую ногу, снова усилившись до крика без слов: «А-а-а!»

Боль стала рвущей, потом перешла в давящую, потом в ноющую и, наконец, в тупую. А тупая боль — это уже хроническое состояние больного. Аркадий Лукьянович знал, что с этой болью придется смириться и жить.

А жить заново начинать надо было с крика. С крика о помощи. Но что кричать, как кричать, о чем кричать? Аркадий Лукьянович хотел вспомнить, что он кричал и как звал на помощь в прошлый раз, когда сломал левую ногу. Ибо он уже ломал левую ногу в ситуации если не тождественной, то подобной. По крайней мере обе эти ситуации вполне подчинялись теории пропорции простых чисел, известной древним грекам и заимствованной у них индусами. Но индусы улучшили технику расчета. Они писали не на папирусах, а на досках, посыпанных цветным песком, с которых легко стиралось написанное, освобождая место новой математической ситуации. Прошлое исчезало и запечатлялось в настоящем. А между прошлым и настоящим царил индусский беспристрастный судья — нуль. Проходя через нуль, прошлое отдавало все ненужное, загромождающее память. Разве вспомнить Аркадию Лукьяновичу, что кричал студент физмата Аркаша восемнадцать, нет, даже девятнадцать лет назад, сломав ногу у щиколотки и порвав связки.

Общежитие было за городом, и от электрички приходилось еще минут сорок идти пешком. Чтоб сократить путь, наиболее отчаянные прыгали из электрички на ходу. Вернее, наиболее расчетливые, способные довериться математическим расчетам скорости, параллелограмму сил. Подкладывали промокашку между автоматическими дверьми и на ходу их раскрывали в нужном месте, на закруглении, где электричка всегда замедляла ход.

85 раз прыгал Аркаша благополучно. На 86-м групповом прыжке разбился. Аркаша предполагал, что может разбиться, но на двухсотых или даже трехсотых прыжках, а значит, еще несколько месяцев можно было прыгать спокойно. Где-то в расчете была допущена ошибка. К тому же в день неудачного прыжка был туман, и поезд почему-то не замедлил ход. Из четырнадцати прыгавших шесть разбилось. Двое насмерть. Разбившихся в тумане милиция искала с собаками, хоть, придя в сознание, все, кроме покойников, кричали. Однако ночь, туман, лесная местность, слабые силы.

Здесь тоже ночь, дождь и яма-граншея не менее трехметровой глубины.

Аркадий Лукьянович лежал неподвижно в холодной глинистой жиже на дне, а мощная стена глины уходила в небо, усиленная кучей грунта, протыкавшего небо насквозь, как протыкают его шпили знаменитых готических соборов. Недаром в прошлом существовало понятие «готический роман». Готический — значит страшный. Куча грозила поглотить Аркадия Лукьяновича, как она более ста лет назад поглотила Эвариста Галуа, математика, стремившегося ее рассчитать, а значит, обезоружить и сделать безопасной.

Глина и вода, лесная нордическая лихорадка создали во времена египетского папируса Ахмеса племени белесых, белокожих варваров, лишенных пигмента из-за болотистых испарений. Готика вознесла их болотистую мифологию к небу. В славе их деяний всегда была эта болотистая лихорадка, и культурная мощь плодоносной европейской почвы всегда таила в своих глубинах эту зыбкую топь языческого сознания, а к европейскому духу при всем его царственном аромате время от времени подмешивался омерзительный запах гниющих болотистых испарений.

Так, среди глины, ночи, сырости ощутил телесно, а не умственно Аркадий Лукьянович Сорокопут, интеллигент-европеец, свое давнее варварское болотистое происхождение, ощутил настолько телесно, что задрожал в болотном ознобе. Он был уже поработан кучей, свободным оставался только голос. И Аркадий Лукьянович начал защищаться голосом.

— Помогите! — крикнул он первое, что могло прийти на ум. — Я здесь, я упал в яму... Я упал в яму и сломал ногу!

На этой фразе он остановился, и эту фразу он кричал час и сорок семь минут подряд, ибо время оставалось с ним, не подвластное куче, на светящемся циферблате противоударных ручных часов. Время было живо, ободряло, напоминало о силах цивилизации, а значит, можно было надеяться. Тем более не такое уж было сверху безмолвие, как казалось первые минуты после падения. Жизнь, хоть и слабая, редкая, продолжалась. Однажды Аркадий Лукьянович услышал шаги и голоса. Шло несколько человек, мужчины и женщины. Голоса пели. Начинали женские: «Вижу в сумерках дня в платье белом тебя». «Ты рядом, ты рядом, моя дорогая, — невпопад влезали мужские, портили мелодию, — ты рядом, ты рядом...» «Но так далека, как звезда», — исправляли, облагораживали женские голоса, подобно тому как женские бедра исправляют, направляют неумелые мужские движения.

И среди боли, среди варварской могильной глины вдруг прекрасным мраморным античным надгробьем вспомнилась Аркадию Лукьяновичу Оля, его первая, красивая, глупая, развратная, вечная для него женщина, как абсолютный индийский нуль — Нирвана, — перекликающийся с безрукой Венерой, от которой ведется отсчет красоты и женственности. «Без твоих голубых ясных глаз я заснуть не могу», — пели удаляясь мужские и женские голоса. Ночь и холодный дождь им были «по колено».

Говорят, покойник первые три дня слышит. А может, и дольше? Слышит, но не понимает. А может, и понимает? Недаром Аркадий Лукьянович, проходя по кладбищу, по инстинкту старался не говорить или говорить шепотом.

Когда Оля отказала ему, он три дня, ровно три дня, странная цифра, лежал на койке покойником. Ничего не ел, только пил воду из графина. Он слышал, нет, это уже потом он слышал, что Оля вышла замуж за Микулу Селяниновича, рекордсмена по метанию молота, крестьянского сына.

Сорокопуты тоже по происхождению были из крестьян, дальний предок их был деревенский мукомол в Ардатовском уезде Симбирской губернии. Хоть в семье говорили, что по подлинному происхождению были они из украинских селян, вывезенных с Волыни помещиком в свое симбирское поместье. Потомки селян этих давно забыли свою украинскую мову, но, что интересно, сохранили в одежде какой-то украинский элемент — вышивка, монисто, хоть против этого велась борьба и даже случались порки.

Так рассказывал отец.

Кстати, отец при всем его волжском говоре любил носить вышитые украинские рубахи. Итак, Сорокопуты были крестьянско-селянского происхождения. Но они шли в общество индивидуально, а не в классовом порядке, шли в общество через приобщение к грамоте, через внутреннее преобразование, робко и благоговейно ступая под своды жизни разумной.

Эти же врывались в общество революционно, прямо с деревенской околицы, гордились своей красной отрывкой, расческами мосторга кудрявили влажные чубы, говорили «хватя», «будя» и несли свои чистых кровей анкеты во все партийно-государственные инстанции. В последнее время победный поток их несколько поиссяк. Все хлебные места оказались заняты ими же, и приходилось вести уже не классовую, а внутривидовую борьбу. Поэтому часть их метнулась в фашизированное недовольство.

Но муж Оли, судя по всему, был типично советский зажиточный крестьянин, заслуженный мастер спорта. Он переплюнул за границу по метанию молота и привозил импорт, а также бил Олю иногда, но без замаха и вполсилы, чтоб не убить.

Так слышал Аркадий Лукьянович. Однако затем он был извлечен из могилы своей умной, миловидной женой, тоже математиком, по девичьей фамилии Далдаренко, и слухи-воспоминания об Оле рассосались, ушли в небытие. А теперь они возродились опять, и, потеряв надежду, может, одной Оле жаловался Аркадий Лукьянович, твердя: «Я упал в яму и сломал ногу».

Когда исчезла песня о белом платье, некоторое время было тихо, и Аркадий Лукьянович погибал, но затем возник шум мотора и шум колес. Кто были эти четырехколесные? Они, безусловно, слышали крик Аркадия Лукьяновича, потому что один из них внятно произнес: «Пьяный кричит!» И уехали. Что делать? Кого просить? Оставалось стать идолопоклонником и молиться куче, молить глину, чтоб отпустила живым.

Нет, каково бы ни было безжалостное недовольство деревенской околицы, а Советская власть еще прочна.

— Кто здесь? — послышался зычный голос Советской власти, и возник проблеск надежды, соскользнул, проколов тьму, луч карманного фонарика.

— Я упал в яму и сломал ногу, — собрав остаток сил, крикнул Аркадий Лукьянович.

Ответ, видимо, не удовлетворил.

— Кто здесь? — повторила вопрос власть.

— Сорокопут Аркадий Лукьянович. Кандидат физико-математических наук.

— Один?

— Один.

— Ну, по одному и вылазь...

И крепкий просмоленный кусок каната опустился в яму. Ситуация соответствовала — опять спасала милиция.

Аркадий Лукьянович ухватился обеими руками, ноги же не помогли, висели грузом. Он слышал, как милиция дышит тяжело, волоча канат, но на полдороге, еще упираясь лицом в склизкий грунт, но уже чувствуя вольный воздух поверхности, Аркадий Лукьянович опомнился и захрипел.

— Товарищ... товарищ... вернуться надо...

— Что?.. Куда...

— Портфель забыл...

— Хрен с ним...

— Документы...

— Ах ты...

Канат пополз назад. Аркадий Лукьянович старался посадить свое авариное тело на одну правую ногу, но зацепил грунт и левой. Опять вспыхнул фейерверк, правда, быстро погасший. Аркадий Лукьянович уже привык к боли.

От грязи и воды портфель стал вдвое тяжелей, как, впрочем, и пальто, и

шапка, и ботинки. Одну перчатку он потерял и в сердцах выбросил вторую. А выбросив, пожалел. Канат обжигал. Обжигал теперь обе ладони, да еще мешал висевший на запястье портфель-камень.

Стучат, грохочут лебедки, работают сердца-моторы на красном, липком горючем своем. Все увеличивается объем крови при каждом сокращении. Увеличивается число сокращений в минуту, и сердечная мышца не успевает уже перекачать всего горючего, не успевает отдохнуть в те короткие доли секунды между двумя ударами. Пульс за двести восемьдесят в минуту. Задыхается от жажды, не может напиться кровью аорта. Еще, еще... Всё. Запасы исчерпаны. Сердечная мышца стала вялой и дряблой. Вялыми и дряблыми стали мышцы рук. Руки сами отлипают от каната. Сейчас назад в канаву, в пасть глиняного идола, в раскаленную докрасна боль, сломанной ногой с размаху о грунт.

Однако уже бруствер, и цепкие пальцы милиции вцепились в ворот, арестовали, не дали ускользнуть.

Жизнь — это дыхание. И с дыханием она возвращается. Когда человек перестает задыхаться и начинает дышать. Разумеется, люди тренированные возвращаются к жизни гораздо ранее. Не прошло и минуты взаимного тяжелого дыхания, как милиционер осветил карманным фонариком лежащего мешком на бруствере Аркадия Лукьяновича и сказал:

— Документики, пожалуйста.

Аркадий Лукьянович, преодолевая тяжесть собственных рук, полез в карман и протянул удостоверение. Милиционер взял и, осветив фонариком, прочел.

— Значит, доцент,— сказал он потеплевшим голосом,— московский доцент... Как же это вы?

— С автобуса... Высадили в темноту...

И пока милиционер помогал ему подняться, и позднее, когда он стоял, опираясь на заботливо подставленное плечо, Аркадий Лукьянович все рассказывал свою историю.

— Да, не повезло,— сказал милиционер, выслушав,— хотя, с другой стороны, очень повезло вам, но не нам. Я в том смысле, что эти разгильдяи из «Облстроймеханизации» уже более месяца, как разрыли, а трубы теплоцентрали все не укладывают, несмотря на неоднократные сигналы в разные инстанции. А если бы уложили трубы, то недели б две не засыпали. То у них смолы нет для задела концов, то яйца мешают. И если б вы на эти трубы свалились, то, извиняюсь, хребет бы сломали. Идти можете? Был бы у меня мотоцикл с коляской, я б вас в В. в больницу доставил, а на этом велосипеде вдвоем не уместиться, тем более с больной ногой.

И Аркадий Лукьянович увидел прислоненный к столбу велосипед.

— Мне по штату мотоцикл положен, поскольку участок большой и беспокойный, да, видите, езжу на велосипеде. Начальник говорит мне: «Токарь, по штату положено четверо постовых, а я вынужден троих держать. Требуют возле сберкассы, возле сельмага, на центральной усадьбе и в рай-банке. А штатное расписание не позволяет, так что, Токарь, приходится выходить из положения». Токарь — это моя фамилия. Токарь Анатолий Ефремович, местный участковый. Рабочая фамилия. Да я и был рабочим, только не токарь, а слесарь. Но потом по путевке комсомола в милицию направили. И у вас, я вижу, фамилия необычная. Точнее говоря, математическая по профессии. Тяжелая фамилия. Сорок пудов. Восемьсот сорок килограмм, если арифметику не забыл! — Он засмеялся.

— Нет, фамилия моя очень легкая,— ответил Аркадий Лукьянович. Этот пустопорочный разговор помогать вернуться сознанию к бытовой прочности из шоковой крайности, в которой оно пребывало. — Фамилия моя птичья. Не «д» на конце, а «т». Сорокопут — это птица такая.

— Птица? Не слышал. Мы ведь здесь, можно сказать, в глухомани, хоть недалеко от столицы. Подмосковная Сибирь. Особенно как весной река разо-

лется, телефонная связь портится и на другой берег перебраться целая проблема.

Токарь Анатолий Ефремович был парень совсем молодой и чем-то напоминал Аркадию Лукьяновичу молодого дьякона, безгрешным, круглым, даже с румянцем лицом, что ли? Ибо безгрешными бывают люди либо святые, либо добрые, но глупые, не способные понять дурное, ими же содеянное, ни натурой, ни умом.

Аркадий Лукьянович, медленно опираясь на пятку, шел со своим спасителем, придерживающим его правой рукой в то время, как левой он вел велосипед с зажженным фонарем, освещающим дорогу. Портфель Аркадия Лукьяновича Токарь прикрепил к багажнику.

Дождь перестал, но ветер по-прежнему швырял в лицо клочья холодной тьмы. Даже комариный зыбкий рой огоньков исчез с горизонта. Все умерло, и, казалось, уже наступил тот, предрекаемый Библией, катастрофический период, когда на обезлюженной земле человек рад встретить человека.

Да, такое испытывал московский доцент математики Сорокопут Аркадий Лукьянович, идя рядом с участковым милиционером из дремучей провинции Токарем Анатолием Ефремовичем.

Токарь говорил:

— Образование у меня все-таки пока недостаточное, учусь я еще заочно, а здесь проблемы приходится решать самые разные, которые иногда, извините, ученому философу не под силу. Я когда в комсомол поступал мальчишкой-пионером, меня спросили на комсомольском собрании: какая разница между городом и деревней? Я ответил: никакой... Меня поправили: будет никакой... Вот именно — будет... Это мне теперь ясно и как участковому, и как члену культкомиссии райкома комсомола. По стране, согласно нашей печати и радио, ежегодно добавляются миллионы квадратных метров жилья, миллионы семей справляют новоселье, а мы здесь не можем добиться поставить на капитальный ремонт барак, где молодые ребята живут, стрелочники со станции. Барак этот еще с военных времен стоит, ремонтировали его двадцать лет назад. Да и как ремонтировали? Полы на полметра ниже каменного фундамента, в комнатах круглый год сырость, одежда плесневеет, печи греют слабо, крыша течет. Объект опасный. Мой предшественник за этот объект орден Красной Звезды заработал. Это наш милицейский орден. Его обычно либо за тяжелое увечье дают, либо посмертно. В пьяную драку меж двух ножей попал. Трехлетняя девчушка осталась. Дело горком разбирает. Воспитательную работу, говорят, запустили. А как ее вести в таких условиях, если только водкой и греются? Вот проблемы. С грехом пополам в прошлом году добились — заменили на кухне один квадратный метр штукатурки, провели освежительный ремонт квартиры. Попросту побелили. И сушилку побелили. Подновили одну печную трубу и кровлю. Но крыша как текла, так и течет... Поэтому в барак, который поближе всего, я вас не поведу, хоть и думая первоначально. А до Михелево с поврежденной ногой вам не добраться. Пожалуй, к Подворотовым пойдем, к старикам. Самому Подворотову, согласно паспорту, девяносто семь лет. Заслуги имеет революционные. И словоохотливый. Любит о революционном прошлом поговорить. Да что говорит, уже не полностью контролирует. Пробовали мы его два года назад к пионерам на встречу снарядить, так он такое там понес, что дети перепугались. Мне от райкома комсомола внушение было... Ведь культурная работа с подрастающим поколением — дело тонкое, ответственное. Вот недавно в михелевской школе-восьмилетке был у нас вечер солидарности с борьбой народов Латинской Америки. Так у одной девочки-восьмиклассницы лакированные туфли-лодочки украли. Поди разберись, кто украл, одни свои были, актив. Ну, решили со всех участников вечера по рублю удерживать, чтоб стоимость туфель вернуть. Кто заплатил, а кто не хочет, ко мне идут жалуются. И верно, за что рубль платить? Или поехал парень молодой на станцию и сорвал с клумбы цветок. Нарушил, конечно. Но директор учреждения

выбежал и паспорт отобрал. Парень ко мне. И так каждый день с утра до вечера. Если не одно, так другое. Сегодня с вами. В кои веки заехал к нам московский доцент математики. Его б в математический кружок пригласить перед ребятами выступить, а мы ему, пожалуйста, яму выкопали.

Так за разговором подошли к какому-то одноэтажному низкому дому, выплывшему из тьмы, как погашенный бакен посреди реки.

— Софья Трофимовна... Токарь это...

IV

Дверь открылась словно сама собой, хоть слышен был щелчок замка, и Аркадий Лукьянович опять очутился в яме. Такое было ощущение от царящей тьмы и земляного запаха.

— Софья Трофимовна, — позвал Токарь, — я тут с приезжим. Доцентом московским. На одну ночь.

Молчание.

— Я за ночлег заплачу, — добавил Аркадий Лукьянович.

— Софья Трофимовна, вы хоть бы свет зажгли, — сказал Токарь.

— Дед не велит ночью лампочку жечь, сердится, — ответил старушечий голос из тьмы.

Но чиркнула спичка, и зажглась свеча. В свече есть что-то успокоительное, таинственно-нездоровое, особенно для современного глаза, привыкшего к электричеству, и ощущение ямы еще более усилилось. Пол был земляной, но чисто прибранный, сухой. В углу русская печь, и на ней чугунок, видать, очень старый. Стены голые, и только один портрет человека в форме сержанта, стриженного, похожего на уголовника. Возле печи ситцевая занавеска, там, очевидно, спал дед. Войдя, Сорокопут и Токарь остались стоять у порога. Стояла и Софья Трофимовна у печи. Лохматая, взгляд безумный.

Постояла так и скрылась где-то, в каком-то закутке. Вдруг появилась в белом платочке, улыбнулась, пригласила на лавку у прочного самодельного стола. Аркадий Лукьянович сел, вытянув больную ногу.

— Вы бедно живете? — спросил он Софью Трофимовну.

— Нет, — ответила она, — деньги есть, да зачем они?

— Это доцент московский, — сказал Токарь, — с ним несчастье случилось. Ногу сломал. Я его у вас до утра оставлю.

— У нас только две лежанки, — ответила старуха, — деда и моя.

— Это ничего, — сказал Аркадий Лукьянович, — я люблю сидя спать. Хотя спать что-то мне пока не хочется. Нога зудит. Вы мне только свечу оставьте, я за свечу отдельно заплачу.

— Шапку давайте, — сказала старуха, — и пальто снимите, я просушу. — Она взяла вещи и унесла их за печь.

— Ну вот, — Токарь посмотрел на запястье, — третий час ночи. Ну, до утра.

Он распрощался и вышел. Исчезла старуха. Аркадий Лукьянович остался один у горящей свечи. Впрочем, не один. Большая часть тела, большой орган, внутренний ли, внешний ли, обретают некую независимость от хозяина, становятся предметом внешнего мира, особенно в тишине. Большой орган живет своей самостоятельной жизнью, вступает в спор, вступает в диалог со своим бывшим обладателем, иногда приобретая над ним большую власть, а иногда договариваясь, примиряясь, напоминая о своей самостоятельности незначительным покалыванием или жжением. Так и левая нога Аркадия Лукьяновича, оставшись с ним при свече наедине, вначале накинулась, терзая, терроризируя, довела до испарины, но постепенно угомонила примирительно, терпимо и договорилась особенно не тревожить, если Аркадий Лукьянович будет соблюдать условия договора — держать ее в одном положении, вытянув. Лавка стояла у печи, он привалился спиной к теплomu оштукатуренному боку. Стало удобно. Аркадий Лукьянович уже думал вздремнуть, как вдруг обнаружил себя еще один собеседник из-за занавески.

- Ты кто? — спросил хоть и стариковский, но достаточно ясный голос.
- Приезжий, — ответил Аркадий Лукьянович.
- А чем занимаешься?
- Математикой.
- Значит, книжки читаешь?
- Читаю.

— Понятно, — сказал дед, — помню, совсем мальцом работал я у помещика-земца, который себя вроде за революционера выдавал. Книжки читал. А земчиха тоже. Всё под зонтиком погуливает, а ручки белые и с книжечкой. Подойдет и так посмотрит ласково. А ты в пылище, загорелый весь, руки растрескались, поясницу разогнуть нельзя. «Ах, погибель на тебе», — думаешь. Так вот — земчиха эта грамоте кое-кого учить пыталась, книжечки давала. За свободу вроде, за крестьянство. А как полиция обыск сделала, то пошел слух, что в действительности земчиха очень много книг имела нехороших, как полон дом воды напустить и как из собак людей делать. Есть такие книжки, математик?

- Пожалуй, есть, — ответил Аркадий Лукьянович.

— Ну, так вот, — наставительно сказал дед, — господам зачем революция нужна была? Чтоб опять к себе крестьянство взять. Царь-то сначала согласился, а потом схитрил. Ладно, отдам вам опять крестьян на три года, но без права суда. Думает царь, раз крестьянин суду помещика неподчинен, значит, за три года всех их перережет. Господа ни в какую — право суда над крестьянином им подавай. Вот и началась меж ними и царем катавасия. А народу что царь, что господа. У народа своя дорога.

Я к сознательной революционной деятельности впервой подростком приобщился. Работал я в имении князя Трубецкого. Там во время сбора ягод рабочим одевали намордники, как псам. Намордник из редкой парусины, приделанный к деревянным палочкам. Захочешь пить, подойдешь к приказчику, тот завязки развяжет, попьешь, опять завяжет. Лютый был князь, всех обижал. Ну и начал с ним один крестьянин судиться. Судился, судился, да проиграл. Что делать? Приходит ко мне товарищ Васька, говорит: «Так, мол, и так. Крестьянин согласен полтинник дать, если сено подпалишь, а попадешься, судить будут, скажи на суде, что тебе полтинник князь дал, чтоб страховку получить за сено». Все и произошло согласно указанию товарища Васьки. Он мне отцом стал революционным.

«Бить тебя будут, — говорит, — молчи знай, за что бьют. Все вытерпи, ибо нет еще пока нашего закона. У господ в тюрьме вместо закона подлые фантазии». И точно, смотритель в тюрьме курево отнял.

- «Будь мое право, — говорит, — отнял бы не только табак, но и хлеб».

От свечи по голым стенам бесшумно передвигаются темные пятна, точно призраки давно перегнившей жизни, точно осколки чего-то давно разбитого, бегут по стенам к ситцевой занавеске и там материализуются, склеиваются в единое голосом глубокого старика.

— Работал я потом в каменоломнях, — продолжал оживлять бегущие по стенам тени голос из-за занавески, — рабочий день восемнадцать часов. Помню, в то утро лениво начали работу. То сон налегал, то мешали бурить потные ломы. Один с досады предложил закурить. Не успели сделать папироску, пришли к нам из соседних припоров покурить и пополам горе поделить. Это, товарищ, был братский отдых и любовь. Сначала у нас речь шла о табаке, что много курим и правительству много угод и прибылей даем. Тут кричат: «Бросай ломы! Идем бить полицию! Наверху забастовка!» Пошли. Тут слышу голос. То наш же товарищ, сознательный. И барышня. Барышня говорила очень популярно. Тут увидели казацкого полковника и казаков. Быстро двинулись рабочие и войско навстречу друг другу. Барабан забил тревогу, выстроились казаки с нагайками в руках.

«Приготовьте палки! — скомандовал товарищ Васька. Палок у большинства не оказалось. — Набирайте камни!» Рабочие наклонились, чтоб взять камни, но вместо камней смогли взять лишь горсти пыли. Нечем было

защищаться. Кто-то крикнул: «Долой войско!» Толпа начала разбегаться. Остальные кричат: «Не у逃айте!» Толпа уселась. Товарищ Васька запустил речь во всех святых серафимов. Тут появились солдаты со штыками. Толпа разошлась кто куда.

Иду, смотрю, Лазарка плешивый с Чудинихой выходят из кабака, смеются, на нас глядя, и называют нас вшивой командой. А я уж сильный тогда был. Погнался. Они от меня в ворота и заперли. Я ударил в ворота и сказал: «Правы, что успели забежать». Но запомнил. Меня товарищ Васька учил: «Ты все запоминай, пригодится». Заботливый был. Это уж после, в революцию, придет: «Поели мяса, товарищи?». «Поели, товарищ комбат». Это уж после. А тогда не так уж много времени минуло, аккуратно на разговение, в Петров день, встречаю опять около кабака Лазарку плешивого с Чудинихой. Они уж все позабыли. «Антошка, говорят, айда с нами». Ладно, зашли, выпили. Побыли недолго, и Лазарка, купив штоф водки, захотел выпить на воздухе. Попшли по дороге на завод, в березняк, чтоб распить водку. Отошли версту или полторы, засели в кустах и начали попивать. Тут Лазарка за что-то начал браниться с Чудинихой. Чем дальше, тем больше. Я их начал разборонять, тогда Чудиниха на меня опять: вшивая команда. Я ударил сидевшую рядом со мной на земле Чудиниху так, что она опрокинулась, потом сорвал с нее платок, завернул его кругом шеи, затянул наглухо и, оттащив Чудиниху, концами платка привязал ее у самой земли к березке. Лазарка все это видел, но боялся, поскольку считал меня сильнее себя и не смел противоречить. Я ему говорю: «Садись к водке, кончим ее всю и разойдемся, а что видел — забудь. Строго-настрога приказываю...» Мне потом говорили, что Лазарка все мучился и пьяный кричал, что покончит с собой, ибо впервые видел, как при нем убили человека. Меня арестовали, да я ни в чем не признался и был выпущен, а Лазарка себя черкнул по горлу бритвой и умер.

Так закончил Антошка, старик 97 лет, свои устные мемуары.

Когда кровь приливает к органам слуха какого-нибудь человека, по всему миру начинается звон колоколов, внушая тревогу и страх. Когда удар в висок воздействует на зрительный нерв, индивидуальная световая вспышка равносильна атомной, и последнее, что видит насильно ослепленный человек, — это мощный поток солнечного света, даже если это происходит ночью или в темном подземелье.

Голос престарелого убийцы из-за ситцевой занавески воссоздал в стародавнем рядувом, мелком, комаринном убийстве как бы математическую модель системы народных убийств и народных убийц. Убийц, лишенных «человеческого лица», не индивидуальных, не каиновых, не нероновых, не чингиз-хановых. Это были убийства родовые, народовые, это были убийства не как факт истории, а как факт фольклора, однако фольклора, вступившего в союз с идеологией, бюрократизированного мещанского фольклора с его скучными зверствами, о которых не запоют слепцы на ярмарках.

Так беседовал Аркадий Лукьянович со своей больной ногой, ибо старик давно уже храпел за перегородкой, бестелесный, бесформенный для Аркадия Лукьяновича, вообще не существующий помимо голоса, и Аркадию Лукьяновичу даже показалось, что если отодвинуть ситцевую занавеску, то там обнаружится даже не пустота, а неопределенность, «икс», «хуа». Больная нога сделала эту простую задачу чрезвычайно тяжелой, требующей жертв, боли, страдания, но соблазн рос, и Аркадий Лукьянович начал уже соображать, как подняться, меньше тревожа ногу, и на что опираться, преодолевая пространство в два-три шага до занавески. Но в этот момент, когда он уже намеревался приступить к решению задачи, из закутка вылетела старуха. Бесшумно, по-совиному махая крыльями платка, облетела голые стены, черным по серому, и уселась рядом.

— Заснул Подворотов, — сказала старуха, поправляя темный крылатый платок на плечах, — он ведь каждый день, а то и по два раза в день Чудиниху душит. Он после немало народу подушил. Но это уж ладно, это от государства, а Чудиниху от себя. И мне чуть что — Чудиниха! — кричит.

— Это ваш муж? — спросил Аркадий Лукьянович.

— Какой там муж! — обиделась, поджав губы, старуха. — Это мужа моего отец. Мужа молодым на фронте убило, а вот дед живет.

— Это муж? — указал на портрет сержанта Аркадий Лукьянович.

— Сын мой, Константин, — сказала старуха.

— А он где?

— Неизвестно, — ответила старуха, — его нет.

И, поджав губы, дала понять, что более о сыне Константине говорить не надо.

Помолчали.

— Самогончику вам необходимо, — сказала старуха, — холодная глина хуже холодной воды здоровье берет. Вам грудь и живот изнутри прогреть надо. Вам для жены и детей себя беречь надо.

— Детей нет, — сказал Аркадий Лукьянович.

— Хорошо, — быстро откликнулась старуха, — хорошо, у кого их нет.

Лучше всего тем.

— Не согласен, Софья Тихоновна.

— Трофимовна, — поправила старуха.

— Софья Трофимовна, мы с женой хотели ребенка, да Бог не дал, как говорят.

— Значит, Бог вас любит, а вы и не понимаете.

Она поставила графин, три старых граненых стакана и тарелку с яблоками.

— А третий для кого? — спросил Аркадий Лукьянович.

— Для Кости, — сказала старуха, — может, увижу его еще хоть раз, — и быстро перевела разговор на другое, начала рассказывать про яблоки. — Это с молодых деревьев. Видишь? — (Мелькнуло это «видишь». На «ты». Порожденное, доверчивое.) — Видишь, ни одного червя. Со старых деревьев хоть и слаже, да червивей. Русская антоновка, сорт славянка. До апреля хранить можно. А апрельское яблоко на рынке в цене.

Они чокнулись, выпили, закусили и продолжили разговор о яблоках, светский английский разговор, ибо в старой Англии в приличном обществе не принято было говорить ни о политике, ни о личных делах и бедах, ни на другие темы, вызывающие споры и угнетающие. Но чем дольше они говорили об антоновке или анисовом яблоке из Поволжья и чем теплей становилось в желудке от самогона, тем громче хотелось Аркадию Лукьяновичу кричать, точно опять в яме, а теплота святой воды и сочный вкус безгрешного плода высоко над ним и воспринимаются им только в воображении.

Ведь если и был на яблоке библейский грех, то он давно уже взят на себя людьми, как и все грехи природы, животных, птиц, рыб и первобытных дикарей взяты на себя современным человеком с его оперными идеалами и обобщественными личными вкусами.

Вот почему личная жизнь современного человека — это яма, и высокое житейское мужество — сидя в ней, не кричать, а шептать, не звать на помощь общество, а молить о помощи Первородство свое, откуда начался лабиринт, путь в яму. Ибо с помощью крика из ямы можно попасть только в кучу. Так говорила Аркадию Лукьяновичу его левая, очевидно, сломанная нога. Она также хлебнула самогону и теперь говорила Аркадию Лукьяновичу вещи откровенные и неприятные, поскольку современный человек в современной России как целиком, так и по частям своим, в трезвом виде искренним быть не может. Где он, этот недостижимый рай английского приличного общества, где люди сходятся, чтобы доставить друг другу удовольствие и продлить жизнь? Нет, в российском обществе люди мучают друг друга злой искренностью, опьяняют себя идеями ли, водкой ли, или тем и другим. Столетия должны пройти, прежде чем люди в российском обществе, сойдясь, смогут безмятежно почивать, а то и уютно похрапывать в мягких креслах и разойтись свежими и бодрыми, а не с охрипшими глотками, тяжелыми головами, дрожащими руками и злобой в сердце.

А если нет собеседников посторонних, то с собственным телом возникают разногласия. И повсюду адский напор бытовой повседневности, в кото-

рой рядом существуют мертвые и живые. Ибо российская история все еще не обрела кладбищенского покоя, она все еще мучает живых своими оборотнями, она все еще не достигла примиряющей красоты, не уложила тысячелетие свое в вечный Мемориал. Она все еще не беспристрастный судья живым, а их сообщник или враг...

Так продолжала говорить левая нога, а между тем старуха Софья Трофимовна протягивала Аркадию Лукьяновичу мятый конверт, какой обычно бывает у людей малограмотных, пишущих письма медленно и занавивающих их. И, верно, Софья Трофимовна сказала:

— Вы — (опять «вы». Как краток миг родства и доверия!) — вы мне за постой не платите, вы мне лучше письмо это грамотно перепишите.

— Ваше письмо?

— Нет, подружки моей, Рыгаловой Елизаветы Семеновны. Мне писать некому. Я тоже не шибко грамотная, но все же получше пишу, чем Елизавета. Я еще года два назад, когда глаза были здоровей, и газеты читала. А теперь вот письмо по неделе переписываю. А то Валя, дочка ее, пишет, чтоб так не присылала. Разобрать ничего нельзя, и муж смеется. Вы сперва почитайте.

Аркадий Лукьянович взял письмо и при свете свечи прочел:

«Здравствуйте май радные

ваши писма получил большая вам спасибо валя ты спрашиваеши чева мне прислат мне пришли килаграма четыре муки. Здес нет муки и болшы ничева ненада А то скоро будут праздник мучки нет.

валя я писала получила разерпин. Я ева нимагу принимает уминя очин балит сердце пасли ева. Нихажу ослабла

Валя был Серге. Он ничева нигаварил чта получил бадерал и ли нет низнаю насчет драв у миня драв ест хватит давесны валя мне нада ват такеи таблетки пириданин гипитазод ват мне нада такеи таблетки достаниш та вишли паскареи и дражец. Паличку унас умир Сергей Лексев бариса брат едва дня полежал и умир. Мне стала палучи всо досвидания

ваша бабушка и мама

валя пачему ты непишыш Ледке».

Это был язык племенной, а не национальный, близкий по духу к «Слову о полку Игореве». Язык небольшого, но реального славянского племени, утопленного в разросшейся рыхлой символической «русской нации» со своим «будя» и «хватя» как явлением промежуточным к серой обобществленной речи. И латинские имена лекарств, как послы иноземной державы, как иноземные гости, присутствовали в этой племенной грамоте Рыгаловой Елизаветы Семеновны из деревни Михелево. Это был язык мыслителя, хоть мыслил здесь не разум, а инстинкт, наподобие птичьего или звериного. И потому антиподом ему являлась народная реалистическая речь современной деревни, обработанная и бюрократизированная городом.

Продолжением же племенного языка является язык культуры, который ныне один только и может быть подлинно национальным, сохранившим в своей международной широте музыку племенной речи, которую уже давно утратила кичливая пугачевщина и стенькоразинщина. Однако, чтоб перевести племенной язык на язык культуры, нужен литературный талант переводчика, которым Аркадий Лукьянович не обладал, и чем более он переписывал славянскую грамоту Елизаветы Семеновны, тем более она, как будто бы сохраняя и проясняя смысл, в то же время переставала быть письмом любящей одинокой бабушки и мамы, а становилась писаниной темной деревенской жабы из тех, что, переехав в город, сидят на лавках и зло смотрят в спину прохожим. Слова, которые писал Аркадий Лукьянович, были не народные и не культурные. Это были слова, ушедшие из культуры в народ со своим евангелием-букварем, в пределах которого составлялись агитлистки и революционные лозунги. Это было слово-мутант, изменившее свою клеточную структуру и ставшее изнутри злокачественным, при сохранении прежнего облика.

Прежде святые или просто безобидные слова, такие, как любовь, свобода, братство, демократия, либерализм, мир и т. д., — они травили умы,

выедали сердца и души, размножались делением во всё новые, по внешнему виду здоровые и нужные, но больные изнутри слова. Больные слова рождали больные идеи, которые умирали не сами по себе, а вместе с жертвами своими, как всякая злокачественная опухоль. Мертвые идеи ложились на кости, кости на идеи. Так росла куча, революционный «икс», в недрах которого происходили вулканические процессы самовозгорания от взаимодействия идей и костей. А первоисточником всего вулканического процесса разрушения было слово, порвавшее с культурой.

Перегорев в глубинах вулканической кучи, оно извергалось и затопляло мир. Теперь это были либо слова-посредственности, либо слова-безумцы. В облике добра, справедливости, права, правды слово говорило пошлости либо митингово хрипело, проповедавая смерть пошловатым ли удушением в березнячке, монументальным ли государственным истреблением. Жертва же, у которой отнято слово, лишена всякой защиты, кроме протестующего сердца.

При любой смерти одинаково сильно стучит сердце в бессильном своем желании противостоять разрушению. Даже будучи вырванной из тела, сердечная мышца, в отличие от мышцы скелетной, продолжает сокращаться-протестовать. Так, очевидно, вело себя сердце женщины, вырванное из груди «иксом» во время Французской революции. Так вело оно себя в зубах отравленного больным словом революционного канибала. Так оживает оно во время медицинского опыта в физиологическом растворе, полное несбыточных надежд, ища по соседству с собой легочную артерию и аорту, родную среду, грудь родного человека, но находя лишь страшное стекло пробирки, стеклянной своей ямы. И тогда оно начинает из последних сил стучать, задыхаясь, скользя культяпками вен по стеклу, как по мокрой глине. Стучать, стучать, стучать и, чувствуя внезапное облегчение, став легким, невесомым, взлетает из стеклянной ямы-пробирки в воздух.

Простуженный нос Аркадия Лукьяновича внезапно освободился от слизи, облегчил дыхание и вызвал ощущение полета в воздухе. Аркадий Лукьянович проснулся. Рядом с оплывающей свечой лежало переписанное письмо. Ворчали в мыльном рассветном тумане разбуженные стуком старики Подворотовы. Это участковый Токарь стучал в окно.

V

«Какой дикий сон, — подумал Аркадий Лукьянович, — сердце в медицинской пробирке... Сколько же я спал?»

Спал он не более пяти-десяти минут.

— Как выспались? — спросил Токарь, профессионально угадав мысли, и, не дожидаясь ответа, видно, прочитав его на осунувшемся лице Аркадия Лукьяновича, добавил: — Конечно, с покалеченной ногой спать затруднительно. Я вам костылек принес. Не очень-то новый, стоптанный костылек, но все-таки. Вы как решили, в местную больницу добираться, в Нижние Котлецы, или в Москву?

— Постараюсь в Москву.

— Тогда собирайтесь. С утра можно на шоссе такси найти прямо до Москвы. Правда, до шоссе километра два, дойдете?

— Постараюсь, — сказал Аркадий Лукьянович, вдохновленный и обрадованный такой перспективой добраться быстро и комфортабельно в свою обеспеченную жизнь из нынешнего бедственного положения.

— С хозяйкой расплатились? — спросил Токарь.

— Нет, я денег не возьму, — сказала Софья Трофимовна, придерживая руку Аркадия Лукьяновича, полезшего в бумажник.

— Ну хоть подарок, — сказал Аркадий Лукьянович и вынул из портфеля сохранившиеся невредимыми три плитки шоколада «Дорожный» и два апельсина.

— Это другое дело, — сказала Софья Трофимовна, — это к чаю. — Она завернула шоколад и апельсины в какую-то тряпицу. — А то дед сразу сожрет, — сказала она, понизив голос, — он любит сладкое. Сахар ложками ест.

На улице подсохло и даже несколько подморозило. Сухой воздух плеснул в лицо, словно умыл его. Но идти было тяжело. Костыль надо было освоить. Он выскакивал из-под руки, и Аркадий Лукьянович несколько раз оступался на больную ногу, от чего знакомый уже фейерверк остро ударял в затылок.

Токарь придерживал Аркадия Лукьяновича под руку, в другой руке у него был какой-то мешок.

— Нет,— сказал Токарь,— так мы к полудню к шоссе доберемся. А у меня дел на сегодня выше головы. Вот ребятишки кости старые обнаружили, скелет человеческий. Наводнением склон размыло. Любой скелет полагается на судебную экспертизу. Собрал я кости в мешок, а следователь ругается. Это верно, костяные остатки трупа следует по инструкции упаковывать, иначе экспертиза не примет. Да где я возьму в местных условиях коробку с прокладками из ваты? Кости, конечно, старые, хрупкие, но что поделаешь...

Так за беседой миновали Сорокопут и Токарь переезд, бараки, траншею, очевидно, начало той самой, в которую свалился Аркадий Лукьянович, и сохнущую на веревках целую роту мужских кальсон. Пахло мазутом. Это была уже местность фабрично-железнодорожная.

— Далеко Михелево? — спросил Аркадий Лукьянович, который изрядно устал, передвигаясь на одной ноге.

— А мы к Михелево не идем,— ответил Токарь,— мы к шоссе. Устали, да?

— Устал,— сознался Аркадий Лукьянович,— отдохнуть бы малость.

Помимо усталости, всю дорогу Аркадия Лукьяновича мучил мешок, отнимающая последние силы. Старался не смотреть, да нет-нет и глянет.

«Чудинихи кости,— влезло в голову,— которую Подворотов платком удушил. За занавеску не поглядел, так хоть бы в мешок...» — нет-нет, да глянет.

И не выдержал, попросил:

— Анатолий Ефремович, можно мне в мешок заглянуть?

— Зачем? — удивился Токарь.— Разве скелет никогда не видели?

— Любопытно.

— Ладно, видно, научное любопытство у вас. — И приоткрыл мешок.

Это была отполированная временем широкая крестьянская кость, видны были остатки грудной клетки, в которой некогда куковало давно исчезнувшее сердце. Скелет же 97-летнего убийцы был по-прежнему упрятан во все еще жадную к жизни, потребляющую сладости, сахар глиняную плоть.

Холодная испарина оросила лоб и шею Аркадия Лукьяновича, его глаза закатились, живот подобрало.

— Да вам совсем худо,— услышал Аркадий Лукьянович очень далекий, слабый голос, который, однако, постепенно начал приближаться и взорвался паровозным звуком, оглушив: — О-о-о-о!

— О-о-о,— сознался Аркадий Лукьянович,— о-о-о!

— Так, может, в Котлецы? Там больница неплохая.

— Нет, в Москву...

— Вот что,— сказал, подумав, Токарь.— Я вас пока в котельню посажу, а сам на шоссе. Котельня недалеко, согреетесь.

— Согласен,— ответил Аркадий Лукьянович.

«Еще как, еще как согласен»,— ответил бы он, если б знал заранее, что встретит в котельной человека своих кровей, циника, скептика. Вот чего ему не хватало в продолжение этих страшных суток его «хождения в народ». Вольтеровской веселости перед мертвой ямой, полной страшных вопросов бытия. Перед ямой-убийцей, к которой ведут протоптанные по бездорожью индивидуальной судьбы тропиночки, тропочки мелких неприятностей.

— Офштейн Наум Борисович, морской инженер. Ныне истопник. Точнее, ныне инженер-кочегар.

А в глазах не ясный свет солнца — мудрый свет луны. Вместо золота — не медь, серебро. Отнят день, осталась ночь, брошенная убийцами за ненадобностью из-за официального статуса своего. Осталась катакомба-котельня, чисто прибранная, с гудящей топкой и полками книг.

— Морской инженер?

— Да, со стажем и научной степенью кандидата. К доктору не добрался. Вот-вот, но не добрался.

— Наверно, были неприятности?

— Умеренные. В том смысле, что я был к ним готов. Настоящие неприятности всегда неожиданные, неприятности, в приход которых не веришь. Моя фамилия Офштейн, по-русски переводится — встать! Я всегда чувствовал, что рано или поздно мне скажут: Офштейн — встать! Вот я и встал и вышел...

— А как теперь?

— Я жизнью нынешней доволен. Никогда раньше у меня не было столько свободного времени, никогда раньше я так много не читал, и никогда раньше меня так не ценило начальство. Я ведь в районе единственный непьющий истопник. И с коллегами моими, истопниками, у меня замечательные отношения, что нельзя было сказать о моем прошлом коллективе, включая обоих замов Ивана Ивановича — Рахлина и Рохлина. В общем, очень, очень...

В котельной было тепло, уютно и как-то безопасно. И Аркадию Лукьяновичу подумалось, что университетские, академические и прочие учреждения нынешней интеллигенции представлялись ему теперь по воспоминаниям более хрупкими, неустойчивыми, готовыми в любой момент обрушиться и придавить находящихся там обитателей.

— Значит, вы считаете, что для интеллигенции настало время уходить в пастухи? Образно говоря, пасти стада фараона?

— Ну, так крайне я не думаю. Однако творчество — дух, а не статус. Встречный поток не исключен. Академик-пастух и пастух-академик. Так, впрочем, было в библейские времена. Академики-книжники сверху, пастухи-пророки снизу.

— Ну, библейские времена невозвратимы, — сказал Аркадий Лукьянович, — кроме того, тогда интеллигенцию еще не приручили. Не только Пифагор, но даже Лейбниц или Ньютон еще существовали в диком, независимом виде. Наука и культура жили все-таки еще в природных условиях. Их еще не посадили на цепь и не заставили бегать по государственному двору, они еще не брали пищу из рук. Конечно, главная мозговая кость манила всегда, но тогда ее бросала сама наука или культура. Вспомним спор между Лейбницем и Ньютоном о приоритете в исчислении бесконечно малых величин. Тщеславный спор о том, кто первым ощутил дыхание Абсолюта, дыхание нуля, оставаясь при этом живым. Возможно ли ныне подобное чистое тщеславие, не заглушено ли оно спором за государственные почести? Цель была еще велика, методы мелки, вплоть до обвинений в адрес Лейбница, будто, переписываясь с Ньютоном, он узнал о его открытиях из частных писем и присвоил эти открытия себе. Впрочем, метод, даже творческий метод, всегда бывает мелок по сравнению с целью. Цель всегда связана с философией, с Богом, с идеализмом, с культурным целым, метод же — это технология, это материальное.

— Материальное, — эхом отозвался Офштейн, — цель науки государственным потребностям всегда вредна, методы необходимы. Вот такое противоречие. Так оставим же академикам методы, а цели возьмем с собой как ненужный официальной хлам. Сколько они еще протянут на отсеченных от целей методах? Ну, пятьдесят, ну, сто пятьдесят лет. Уже теперь методы все более и более теряют силы. Они существуют, они приносят пока успех только из-за грандиозных целей, которыми были рождены. Это, извините меня, басня старика Крылова. Жрут методы-желуди и рылом подрывают корни дуба, на котором эти желуди растут... Ха-ха-ха... Ха-ха-ха...

Так они беседовали за закрытыми дверями, за прочным крюком, который предусмотрительно набросил Офштейн, когда Токарь, оставив Сорокопута в теплой котельной, ушел на холодный ветер, к шоссе, ловить для больного такси.

Библейский человек после катастрофы, после безлюдья рад любому

первому встречному человеку. Но второго человека он уже должен искать. Третий же — безразлично, кто будет, если найден второй.

Впрочем, до третьего они еще поговорили в свое удовольствие, и больная левая нога, как бы заключив с бывшим своим хозяином мир, дипломатично их разговору не препятствовала.

— Вот в одной из тех книжек, — сказал Офштейн, указав на полку с книгами, — в одной из этих книжек, которые я начал читать, став истопником, сказано о прямой линии материальной жизни между обезьяной и лопухом... И один из наивных идеалистов XIX нашего российского века обрушивается на этих детей Тургенева с такой силой благородного рыцарства и расходует себя дочиста в борьбе с ветряными мельницами настолько, что, когда перед ним и ему подобными встали простые проблемы текущей революционной практики, они внуками Тургенева оказались полностью затоптаны, обнаружив свое бессилие. Так произошло, потому что внуки эти ясно отделили цель от методов, самого Тургенева оставив тоже на другом берегу, среди пугающих птиц и наивных идеалистов ветряных мельниц. Более того, внуки выиграла также и теоретический спор, умело завлекая наивного идеалиста на поле, выгодное себе, между обезьяной и лопухом. А в этом промежутке прав не только Дарвин, но и Фейербах, заявляющий, что его сердце отвергает религиозное утешение. Действительно, какое тут утешение, если начало жизни ха-ха — обезьяна, а конец жизни ха-ха — лопух? К тому же идеалист всегда впечатлителен, поскольку идеал неосвязаем. А впечатлительность при чрезмерном напряжении переходит в истеричность. Поэтому некоторая грубость суждений идеалисту не вредна, действуя успокоительно, проясняя взор. И к Дарвину надо бы было по крайней мере отнестись повнимательней. Подумать, отчего же это человек религиозный и от религии не отрекшийся верит одновременно в обезьяну? Может, между моментом создания глиняной основы, придания этой основе формы и одухотворения глины прошли как раз те самые многие миллионы лет эволюции? Вот такие вопросы, будоражащие нервы. И вот как идеалисты запутались в своих нравах-идеалах, как в сетях. А моего деда, аптекаря, послушать не захотели. Мой дед вовремя сказал своему сыну, Борису, моему отцу: «Боря, скоро грянет буря», — и он оказался неплохим буревестником революции.

Последнее Офштейн сказал с жаргонным акцентом, очень смешно и засмеялся.

— Ха-ха-ха! — услышал Аркадий Лукьянович и свой вольтеровский смех международного агента-интеллигента, плетущего в подпольной котельной заговор международной интеллигенции.

— Когда я смеюсь над смешным, — утирал глаза Офштейн, — то, как сказал Маркс, это значит, что я отношусь к нему серьезно.

— Главная беда народников, по-моему, — сказал Аркадий Лукьянович, — в том, что, идя в народ, они хотели не научиться крестьянскому, а разучиться всему некрестьянскому. Впрочем, думаю, если бывший приват-доцент видел вдруг несущую на коромысле ведро бывшую выпускницу института благородных девиц, он вполне мог сказать: «Мадам, силь ву пле, эк вас, мадам, скособочило».

И опять смех заговорщиков. Так смеются близкие друзья или влюбленные. Так смеялись он и Оля, когда вместе еще планировали общую жизнь, общий заговор против остального мира.

«Никаких воспоминаний об Оле», — восстала левая нога, возразила болью, давно не напоминавшей. Аркадий Лукьянович поморщился.

— Что, болит нога? — спросил Офштейн. — Я вам сейчас дам таблеточку, успокоит.

Он поднялся, ладный в своей чистой спецовке, подошел к аптечке, взял таблеточку и налил воды в чистый стакан.

В этот момент в дверь застучали.

— Вот ваш милиционер идет. Пора расставаться. Если не возражаете, обменяемся телефонами.

Однако это был не Токарь, всерьез застрявший на пустынном холодном шоссе, а коллега Офштейна, истопник.

— Здравствуй, Ньюма,— сказал он, входя и неся на лице визитную карточку — алкоголик.

— Здравствуй, Степан,— ответил Офштейн.

— О,— воскликнул Степан,— здесь пьют!

— Воду.

— Какая вода! Это ты мне говоришь! Я же своих за километр вижу. Я же их по лицу узнаю. А у этих непьющих такие лица ехидные. И так они нам, пьющим, завидуют. Верно, товарищ?

— У товарища лицо не пьяное, а больное,— сказал Офштейн.

— Другое дело. Раз больной, никаких претензий. Ну, а по профессии кто будет товарищ не пьяный, а больной? — спросил Степан, по-прежнему обращаясь к Офштейну, видно, стесняясь прямо заговорить с незнакомым и явно не местным человеком.

— По профессии я математик,— ответил Аркадий Лукьянович.

— Тогда вообще все правильно,— сказал Степан,— что я, математики не помню, что ли? Корень петрушки двух чисел... Да... Плюс выдающееся произведение первого числа на второе. Или тело Архимеда, погруженное в жидкость... Проблема только, в какую... Вот нас после работы оставляют слушать лекции о пользе безалкогольной жидкости.

— Не беспокойся, Степан,— сказал Офштейн,— был «Союз за освобождение рабочего класса», будет «Союз по освобождению рабочих от кваса». Ха-ха!.. Хи-хи!.. Ты чего пришел?

— Знаешь ведь, за сигаретами. Сегодня меня к следователю вызывают по делу Коли Диденко. Нервничать буду, так хоть твоих приличных покурю, из столицы. А то местные горло дерут, да и нервы горло дают, так что ни слова не скажу. А не скажу, кашлять буду, следователь подумает, запираюсь. Это все Петьки Воронова дела, передовика-профсоюзника.

— Бывшего,— сказал Офштейн,— Воронов тоже в бунт подался, в недовольство... Ты на кого котельную-то оставил?

— На практиканта из ремеслухи...

Степан снял трубку настенного телефона.

— Алле... Сашок? Как дела? Приходил? Ты сказал, что меня нет?

— Тут ты,— с шумом распахнув дверь, сказал одутловатый дегина с темной повязкой на левом глазу,— чего ты бегаешь от меня, Мирончук? Совесть рабочая у тебя есть?

— Поздоровался бы, Воронов,— сказал Степан,— вот кочегара Офштейна еще сегодня не видел. И вот товарищ из Москвы.

— Ах, из Москвы... Ну что там? На Мавзолее высоко стоят, от народа далеко. А в Польше, например, я по телевизору видел, правительство прямо руки протягивает, достает народ.

— Мало ли что! — возразил Степан.— В Америке правительство вообще среди народа ходит. Но это не значит, что так правильно. Верно, Ньюма?

— Мое дело вопиющее, товарищ москвич,— обратился к Аркадию Лукьяновичу Воронов.— Вот вы человек свежий, не местный, посудите сами. Я бригадир передовой бригады экскаваторщиков треста «Облстроймеханизация». Фамилия моя Воронов Петр Васильевич. Работал я на строительстве теплоцентрали.

— Той самой канавы, куда вы, Аркадий Лукьянович, свалились,— вставил Офштейн.

— А вы не совывайтесь! — повернул волчью голову в сторону Офштейна Воронов и обнажил желтые клыки.— Здесь пока не кнессет, а советская котельня. Так вот, пришел я после смены мыться. Баня на территории завода. Кочегар Диденко. Дал ему три рубля, чтоб он пустил горячую воду. Помылся, прихожу, в кармане брюк нет тридцати рублей. Я к Диденко, поскольку больше никого не было. А он лом схватил и слева по голове. Глаз левый выбил, мог убить. Не знал я, что он уже три раза сидел. Знал бы, плюнул бы на тридцать рублей. Теперь у него восемь лет строгого режима, а у меня вставной глаз. Да и то пользоваться глазом не могу,— все более распаялся Воронов,— нигде порядка нет. У меня правый глаз голубой, а

московский завод протезирования прислал мне левый глаз черный. Такого при Сталине не было, чтоб над рабочим человеком издевались. Если б Сталина не отравили, мы б уже имели бесплатный хлеб и колбасу.

— А я-то здесь при чем? — сказал Степан. — Я, что ли, эту бесплатную сталинскую колбасу у тебя отнял или черный глаз прислал? Чего ты за мной бегаешь, меня в свои доносы вставляешь?

— Как при чем? Я дело на пересмотр подал. Его расстрелять мало. Он общественную опасность представляет. Он тебе, Мирончук, ножом угрожал в бараках у стрелочников? Угрожал, свидетели есть. Вот ты и подтвердить должен. А как же? У меня мать престарелая, мне ей помогать надо. С чего? С пенсии?

— Молись, — сказал Степан, — может, Бог поможет.

— Бог, — насмешливо сказал Воронов, — он поможет, Бог. Мать моя старая, она молится. Я говорю, тебе Бог копейку хоть даст, молись не молись. Она отвечает: ты мой Бог. А на какие средства я буду Богом? Мне обязаны платить как за производственную травму.

— Избит на производстве, — сказал Офштейн.

— А вы не вмешивайтесь! — побагровев от злости и горя, крикнул Воронов. — Дайте русским людям меж собой поговорить...

Эти слова, видно, оскорбили и привели Офштейна в растерянность. Во всяком случае, его прочный скептицизм исчез. Очевидно, брал верх инстинкт безоружного рода его, не боявшегося силы чужих мыслей, но боявшегося силы чужих кулаков.

— Ничего ты не сделаешь, Воронов, — сказал Степан.

— Что?

— Зачтокал... Ты, Воронов, пойми, у тебя глаз один, тебе его беречь надо.

Так они ворковали на басах, пока не отворилась дверь и вошел участковый.

Офштейн явно обрадовался, как радовались его предки, когда во время погромной атмосферы соизволила являться власть. И действительно, Воронов мигом присмирел, пооберел и сказал:

— Я, товарищ лейтенант, пришел с Мирончуком поговорить по поводу свидетельских показаний.

— Ладно, это потом, — сказал Токарь, — такси вам нашел, товарищ доцент. До самой Москвы.

Токарь помог Аркадию Лукьяновичу подняться, и догадливый Воронов быстро подал костьль.

— Товарищ доцент, — шепнул Воронов, помогая вместе с Токарем преодолеть Аркадию Лукьяновичу ступеньки, — может, там в Москве позвоните на завод протезирования? Отсюда звонить сложно. Скажите, если надо, я на примерку глаза приеду... Напомните, глаз голубой, фамилия — Воронов.

И уже на улице, когда Воронов торопливо писал на бумажке, Аркадий Лукьянович вспомнил, что попрощался с Офштейном лишь кивком головы, который, однако, можно было принять и за обычное движение, которым длинноволосый поправляет упавшие на лоб волосы. А телефонами так и не обменялся. Забыл. Забыл ли? Что-то повеяло, чем-то подуло, и вот Аркадий Лукьянович в компании профсоюзника-антисемита Воронова и участкового милиционера Токаря, власти нашей советской в миниатюре со всем ее добром и злом. А человек, с которым еще недавно так радостно беседовал, с которым чувствовал такое родство, общую духовную расу, общие, приятные сердцу парадоксы, этот человек брошен, отстранен торопливо и мимоходом. И Офштейн это понял. И Аркадий Лукьянович сам это понял. «Так-то, Аркаша, правнук, внук, сын русских демократов. Вот цена нашего ума, наших духовных разговоров, нашей чести... Впрочем, какая честь может быть у дворни?»

У дворовой интеллигенции. Главное, чтоб на конюшне не вышорили, вот о чем думаем днем и ночью. Как же тут не забыться хоть иногда в умном, оппозиционном разговоре, как в пьянстве от постылой своей жизни забывается Степан? Ах, как мерзко, как больно... Вырвать бы все с корнем... У

чисел, как у петрушки, есть корень... Ха-ха-ха... Степан это верно подметил... А что подумал обо мне Степан? Да и во что верит Степан, кроме водки? Вот старый вопрос русского интеллигента. Только заданный с позиций морально-политических. А с позиций религиозно-философских тот же вопрос выгладит по-иному: есть ли у человека душа? Раз она болит, значит, пока еще все-таки не заменена рефлексами головного мозга. Значит, еще можно исправить, вернуться. Куда? Куда может вернуться базаровская лягушка? А тем более лягушка Ивана Михайловича Сеченова, знаменитого русского физиолога-демократа, последователя Белинского и Чернышевского.

Когда на обнаженный мозг лягушки накладывают кристаллы поваренной соли (сыпать соль на раны), рефлекс замедляется, когда на лапку капают серной кислотой, они усиливаются. Так, через прогрессивное зверство, было доказано Сеченовым отсутствие в человеке «Божественной души».

«Но, если я иду в компании материалистов Петра Воронова и Анатолия Токаря, что ж это так ноет? Левая лапка? От перелома ли, от серной кислоты ли? Болезнь развивается скачкообразно».

— Потерпите, — сказал Токарь, глядя сочувственно на искаженное лицо Аркадия Лукьяновича, — сейчас дойдем. Такси, вот оно. Вплотную к котельной не доехать, застрянет.

Наконец мягкое сиденье, о котором мечтал уже давно, которое унеслось из-под него на станции В., наконец комфорт и вежливый коротконосый таксист за рулем.

— Ну как? — спросил Токарь.

— Сразу лучше, — улыбнулся Аркадий Лукьянович.

Много ли надо человеку? Мягко, удобно, тепло. Сейчас понесемся со скоростью сто километров в час, и эпизод с Офштейном будет уменьшаться и уменьшаться, несясь назад по одной из параллельных линий в бесконечность. А в бесконечности он столкнется со второй параллельной линией, пискнет, как комар, и исчезнет. Ведь сам Офштейн исповедует скепсис и цинизм, как сладкую приправу, вот он и стал жертвой собственной философии, вольтеррианства, своего серьезного смеха.

Так успокаивал себя Аркадий Лукьянович, так он привел в норму свое сердце и дыхание, так ублажил он, устроил удобно свою покалеченную ногу.

— Поехали? — услужливо спросил шофер.

— Минутку, — сказал Токарь, наклоняя свое румяное лицо диакона-комсомольца, — я прошить вас хочу, Аркадий Лукьянович. Я, как уже говорил, учусь заочно. Не могли бы вы посмотреть мои контрольные работы? Мне, конечно, неудобно затруднять...

— Обязательно, — сказал Аркадий Лукьянович, — я вам очень обязан... Вы, можно сказать, мой спаситель...

— Это мой долг, Аркадий Лукьянович...

И два расплывшихся лица за стеклом, и такая же улыбка на лице у Аркадия Лукьяновича. Такая улыбка, мечта фоторепортера. Там, в газетной глубинке, могут быть проблемы острые, трудности роста социалистической страны, но на первой полосе только улыбка, эталон революционного оптимизма, а также призрак благонадежности. Улыбка, которая объединяет, которую можно снять с одного лица и надеть на другое. Не важно, что у Воронова желтые клыки, у Токаря три выбитых передних заменены стальными, а у Аркадия Лукьяновича зубы разъедены лимоном и коньячком. Небесная улыбка коммунизма может рекламировать лучшие сорта зубной пасты. И Аркадий Лукьянович ехал, растягивая благонадежно губы согласно рекламным образцам, пока однообразные дорожные впечатления не заставили его начать читать учебное сочинение Анатолия Ефремовича Токаря на тему: «Коммунизм — это молодость мира». Тогда губы Аркадия Лукьяновича сами по себе взбунтовались, изогнулись змеями и опять приняли форму вольтеррианскую, как в подпольной котельной. Но этого никто не видел, тем более Аркадий Лукьянович хихикал себе в носовой платок. А шофер внимательно смотрел в ветровое стекло на смертельно опасное, мокрое шоссе.

VI

Заметив во вступительном слове, что «у нас нет такого пессимизма, как у героев Ремарка», Анатолий Токарь перешел к анализу истории.

«Человек при рабовладельческом строе был приравнен к слону. У него не было имени. Но вот вспышки разума все чаще и чаще мелькают во мраке средневековья. Пока это мыслители, художники, поэты. Капитализм, засучив рукава, вцепился в штурвал истории. И... революция! Да здравствует человек труда! Война прервала наш мирный труд, но враг жестоко поплатился за это. И снова труд.

Взлетели в воздух первые космонавты — это люди труда. Оросили безводные пески Кара-Кума — это люди труда. Схватили за руку маньяков, размахивающих атомными и водородными бомбами, — это люди труда!»

Смешно... Но чем же, кроме церемониальной внешней стороны, отличаются труды наших диалектиков с академического Олимпа? По крайней мере в Токаре-милиционере есть гордость первобытного дикаря-охотника, ежесуточно отдающего свои физические силы, которые так же эксплуатируются Центром и которыми Центр живет. И потому его наскальный марксизм не имеет прямого отношения к его труду, а является забавой и ритуалом при свете костра. «Не вникая», милиционер Токарь находится в состоянии умственного равновесия, а значит, способен и на доброе. Но что поддерживает платежную силу академика-олимпийца?

В отличие от улитки, будучи существом высшего порядка, он знает, что тело его мягко и съедобно, а живет он лишь идеологическим панцирем своим, с которым сросся, в котором ест и спит.

Если милиционер Токарь чувствует себя охотником, то академики и прочие творческие личности с Олимпа постоянно чувствуют себя дичью. Чувство это верно, ибо особенно в тот период, когда улыбка коммунизма пахла «Герцеговиной Флор», сталинским табачком, их после народной каши ели особенно много в качестве деликатеса. Оттого затейливы их панцири, разнообразна и умела их мимикрия, естественна и убедительна их марксистская диалектика. Убедительна для тех, кто сеет, пашет, строит, блюдет. Для кого «вникать» профессионально вредно, и потому он считает марксизм частью окружающей природы, в которой не сомневаются и которую не замечают.

Так мыслил Аркадий Лукьянович с сочинением милиционера Токаря на коленях.

Вообще, подобно многим в его среде, Аркадию Лукьяновичу нравились благородные мысли, не требующие благородных поступков. А чтоб выглядеть справедливым, особенно нравилось ему благородное самоунижение, также не требующее публичного изменения и отречения. И потому в этом самоунижении можно было говорить вещи лишь отчасти справедливые, а значит, односторонние.

Конечно, интеллигенция вырождается и демонстрирует далеко не лучшие качества. Но можно ли упрекать крепостного за то, что он перестал принадлежать себе и прикреплён к земле для удовлетворения экономических нужд государства? Причем, если крепостной землепашец есть один из способов земледелия, пусть не самый прогрессивный, то крепостной интеллигент попросту вреден государству, и пользоваться его трудом можно в той же степени, как и топить печи ассигнациями или выжигать вековые леса ради самоварного угля.

И сам Аркадий Лукьянович и многие его коллеги в науке и культуре были людьми, любящими свое призвание, талантами, готовыми без остатка посвятить себя поискам тайн бытия, впечатлениям жизни, ее неясным звукам, ее святым слезам, ее усталому смеху. У вместо этого они удовлетворяли лишь мелкие нужды государства по отысканию игольного ушка в космосе, чтоб протащить через него ядерного «верблюда», напугав тем самым и себя, и весь мир. Труд этот, помимо всего прочего, скучен и утомителен.

Потому все менее чуток к неизведанному становится интеллигент, все менее его томят творческие желания и все более он впадает в болезненную усталость, все реже хочется быть наедине со своими мыслями, и тянет либо в сон, либо в коллектив с его мышинными усилиями по созданию тех самых ядерных «верблюдов» в космосе и идеологических «слонов» на Земле.

Так, усталый от мыслей, задремал Аркадий Лукьянович наедине с собой, а коротконосый шофер смотрел только на шоссе.

Пустынно было шоссе в этот ранний ненастный час, и крайне увеличившийся из-за слякоти тормозной путь требовал незначительной скорости. Однако коротконосый, видно, торопился и летел над землей. Все было тихо и пустынно вокруг, кроме промелькнувшего у обочины пьяного.

О пьяном не стоило бы уже и говорить, как о надоевших пеньках, позаячьи скакавших через вырубленные участки пришошенного леса. Однако этот лежал в холодной грязи, обхватив обеими руками нечесаную голову, точно кричал безмолвно: «Боже мой!» А рядом лежала его шапка, как лежит она перед нищим. «Боже мой!» — просьба это или просто вздох? Да и услышит ли его Бог, подаст ли? И что он просит, этот Человек России, этот «икс», часть «кучи», комок, валяющийся в ненастье в среднерусском поле? Может, он просит вместо болезни, которую растравит, лежа в грязи, вместо мучительного кашля и сильного исхудания простой, ясной смерти?

Туберкулез в народе называют чахоткой, потому что человек чахнет днями, ночами, месяцами. Может, он просит у Бога вместо этого мгновенной смерти, чему способствовали бы переутомление, голод, непосильный труд, через которые прошел этот человек за тот исторически короткий период развития страны, летопись которой скорей напоминает историю болезни? А может, он просит солнечного света, который убивает не окрепшие еще бактерии? Или хотя бы стакан горячей кипяченой воды, также, согласно медицине, способный в начальной стадии простуды воздействовать на туберкулезные палочки?

Но не получить ему солнечного света с обложенных серым налетом больных небес. И некому подать стакан кипятка. Пустынная местность. Все разумное укрылось под крышами и за стенами.

Однако вот впереди оказался самосвал. Виляет самосвал, заносит его кузов то влево, то вправо, а такси с коротконосым шофером не сбавляет хода. Неужели ошибся Бог или секретарствующий ангел, неужели перепутал он мольбу о смерти?

Аркадий Лукьянович умирать не хочет, несмотря на болезнь и на сломанную ногу. В его костях еще достаточно органических веществ, еще далеко до старческой хрупкости скелета. Шины на мягких прокладках, а если надо, так и гипс, поправят дело. Такие упругие ноги еще долго могут идти, еще впереди полным-полно всякого, еще не прожита судьба. Еще будет Госпремия, университетская медаль, член-корреспондентство. Никуда от него не делась и его миловидная умная жена, которая в научно-общественной карьере даже успешней мужа. Есть интересные друзья, дорогие сердцу книги, радостные праздничные застолья, пряно пахнущие йодом крымские волны. Есть все, чего лишен брошенный у обочины в пустынном поле «икс», естественно просящий смерти. Но у Бога и ангелов Его своя справедливость. Летит обтекаемое такси, детище горьковского автозавода, горьковский буревестник смерти, чтоб, врезавшись в кузов самосвала, стать «кучей», «хуа», бесформенной древнеегипетской гробницей для Аркадия Лукьяновича.

Сам же Аркадий Лукьянович как личность в таком важнейшем событии своей биографии, как собственная смерть, не участвовал. Он был сейчас далеко от места своей гибели, спокойно и даже весело беседуя за самоваром с престарелым отцом своим Лукьяном Юрьевичем, пенсионером-бухгалтером. Здесь же сидела Клавдия, тоже пенсионер-бухгалтер, с которой отец жил последние двенадцать лет, после смерти матери Аркадия Лукьяновича. Нельзя сказать, что отношения между отцом и сыном были слишком херрши, но все-таки они не были прерваны, и Аркадий Лукьянович даже собирался поехать проведать отца на запад СССР, и поехал бы, если бы не данная поездка в Центральную Россию.

Они сидели за самоваром, и мягкий пасхальный апрель Украины, откуда выходцами была обрусевшая семья Сорокопутов, украинский апрель, в отличие от апреля среднерусского, полон был запахов цветущей вишни. Впрочем, цветущая вишня не пахнет, но она так красива, что все весеннее и пахнущее как бы отдает ей свои ароматы, как свет отдает свой блеск самому по себе блеклому бриллианту. Аркадий Лукьянович, отец и Клавдия пили чай с цветочным медом и смеялись потому, что отец в который раз рассказывал, как, взбунтовавшись против политических взглядов Юрия Николаевича, четырнадцатилетним якобинцем удрал из Брюсселя в Женеву, где было много русской революционной молодежи и жила его двоюродная сестра. Как они голодали в Женеве, поскольку средства производства находились в руках буржуазии. И как питались хлебом с улитками, которые заменяли им мясо и которых они собирали с кустов и отмачивали в уксусе.

Было удобно сидеть, было вкусно пить чай с медом, была сердечная близость между отцом и сыном, и смерть казалась делом невообразимым, а бессмертие делом вполне реальным. То, что такси несется по скользкому шоссе и остаются доли секунды до вечной жизни или вечной пустоты в зависимости от убеждений, в той ситуации за самоваром казалось такой же нелепостью, как тут же, за столом, превратиться в соляной столб или дать общую формулу решения уравнений пятой степени, хоть уже более столетия известно, что это невозможно. Многие некомпетентные люди считают математику наукой сухого рассудка, а между тем она полна чудес и откровений, особенно для тех, кто доверил ей себя. И за доли секунды до скрежета, до удара такси встало как вкопанное.

Только высшие силы могли так нажать на тормоза. Унесся вперед гибельный кузов самосвала, растаял, исчез. Аркадий Лукьянович даже не проснулся.

«Я пошутил», — шепнул ему на ухо Ангел смерти, и Аркадий Лукьянович, не совсем поняв, о чем речь, улыбнулся в ответ.

Ангел смерти торопился, ибо далеко отсюда умирал пенсионер, бывший бухгалтер райпотребсоюза, уроженец города Брюсселя Лукьян Юрьевич Сорокопуд.

Он лежал на старомодной никелированной кровати с шишечками, а рядом сидела Клавдия, держа его невесомую руку. Пока он мог говорить, просил все время, а когда уж не мог, то просил глазами не отдавать его в больницу, куда еще вчера, когда стало худо, хотели забрать. Однако к вечеру стало совсем худо, и Клавдия, вопреки его просьбам, вызвала неотложную помощь, поскольку «скорая» уже приезжала и вряд ли приняла бы опять вызов. В городе болело и умирало достаточно молодых, а здесь был засидевшийся глубокий старик.

С неотложкой приехали студентка-практикантка Ягодкина и пожилая медсестра.

— Зачем кислород тратить? — сказала Ягодкина. — Он в беспамятстве и сейчас умрет, а кислород только увеличит страдание старика и нам прибавит работы.

Но медсестра сказала:

— Сердце еще живет. Пусть и человек поживет хотя бы двадцать минут. И вложила в белые губы живительную резину.

Если б она знала, как радостно встрепенулся Лукьян Юрьевич, как жаждал он прибавить к своей долгой жизни эти дарованные горздравом двадцать минут. Как наполнилась его душа живой радостью бытия и слух его, который заменял ему теперь все органы чувств, через барабанную перепонку, через слуховые косточки, через волокна, напоминающие струны рояля, услышал первый для себя, далекий, неземной тон «до». Тот же самый тон начал звучать внутри его, и он откликнулся на каждую струну, на каждый звук определенной высоты. Так музыкальными аккордами душа начинает разговор с Богом о своем скором взлете.

Ну, а что же делать тем, кто сторонник учения материалистического, отвергающего душу? Ведь еще в 1863 году была напечатана в петербургском журнале статья Сеченова «Рефлексы головного мозга», в которой высмеива-

лась попытка, как сказано, «философов-идеалистов и церковников, самым серьезным образом обсуждавших вопрос о том, где в организме находится вместилище души. Души как чего-то нематериального, не подчиняющегося законам природы».

Вспомним, что все это профессор Сеченов доказывал на базаровской лягушке, которая является чем-то средним между обезьяной и лопухом. Лягушка так же прыгуча, как обезьяна, и так же зелена, как лопух, даже напоминая его, когда, подобрав лапки, сидит неподвижно. Гуманисты же, естествоиспытатели, так обожествили человека, что страдания братьев меньших во имя человека казались им и кажутся их потомкам ныне делом вполне нормальным. Впрочем, некоторые естествоиспытатели пошли и дальше, выводя новую усовершенствованную расу и ставя опыты на «унтерменшах».

Учитывая все сказанное, мы не можем, конечно, объявить себя последователями Базарова и Сеченова, но и с наивными идеалистами нам тоже не по пути. Мы не можем признать в изуверах разного калибра, разных верований и разного происхождения присутствие Божественной души только потому, что они имеют человекообразный облик. Если опираться на тот же промежуток бытия между обезьяной и лопухом, то можно сказать, что есть немало человекообразных, которых душа покидает еще при жизни, и они существуют условными рефлексам. Мертвые уши их не слышат игры на Божьем роле, и потому жизнь их физиологична, а смерть бесплодна. Последний их выход пуст, как холодный ветер из погасшего очага. Что же касается души, то она, конечно, более всего связана с органами дыхания. Недаром в русском языке слова «дыхание» и «душа» созвучны, а удар в «солнечное сплетение», под диафрагму, парализующий дыхание, называется в народе «под душу».

По трахее, по дыхательному пути уходила душа из тела Лукьяна Юрьевича, унося с собой из плещущих, как рыба на песке, легких последние отчатки воздуха.

А Ангел смерти сидел на жердочке рядом с канарейкой, нахохлившись, как попугай. Едва душа покинула тело, как Ангел опустил хохол свой, вспорхнул и зажал крылом твердые губы мертвеца, положив на них печать. Они еще раз по инерции дернулись, пытаясь произнести хотя бы еще одно слово. Но нет слова в конце, слово было в начале. Пропела зауспокойную канарейка, разбудив усталую Клавдию, над которой смилостивился сон, чтоб она не видела судорог близкого человека. А практикантка Ягодкина, ворча и поглядывая на часы, начала собираться, ибо были и другие вызовы. Пожилая медсестра унесла с собой жадно выпитую до дна кислородную подушку.

Так окончился Лукьян Юрьевич, и его похоронили на пасхальном, расцветшем живыми цветами кладбище, тогда как северное среднерусское кладбище цветет на Пасху цветами бумажными из-за холодов.

Телеграмму о смерти отца Аркадий Лукьянович получил с опозданием на полтора месяца, поскольку умная жена его передала печальную весть только когда он начал поправляться от двустороннего воспаления легких, а с ноги уже был снят гипс.

Аркадий Лукьянович прочел старую телеграмму и положил ее поверх одеяла. Ему казалось, что телеграмма с каждой минутой становится все тяжелей, давит на грудь, будто могильный камень. Мучительно хотелось плакать, но слез не было, и это напоминало сильную жажду. Казалось, что даже его глазные яблоки высохли от отсутствия слезной жидкости, потрескались, как земля в засуху.

«Глаз — вот что нас соблазняет, — думал Аркадий Лукьянович в отчаянии, — глазное яблоко, как яблоко в Эдеме. Глаз — источник нашего материального миража, и нам хочется все увиденное вокруг попробовать, съесть, включая и собственное глазное яблоко, о чем нашептывает капризной женственной натуре нашей хитрый змий — гамлетизированный разум наш. Ибо гамлетизм как пиршество разума, как стремление любой ценой доставить удовольствие разуму своему есть современная форма эпикурейства. Впрочем, и эпикурейство не исчезло, но в сочетании с гамлетизмом оно стало еще более безнравственным, ища оправдание крайнему эгоизму своему не в теле уже, а в духе».

Перед Аркадием Лукьяновичем на тумбочке лежала стопка свежих газет, в которых был опубликован список свежееиспеченных лауреатов Государственной премии. И среди них Сорокопут Аркадий Лукьянович. Конечно же, в составе коллектива. Какая же нынче может быть индивидуальная наука, в век господства технологии над замыслом? А замысел невозможен без чувства цели. Аркадий Лукьянович знал, что отец его обладал во много раз большими математическими способностями, чем он, однако неблагоприятные обстоятельства вынудили его выбрать в математике самую скромную должность провинциального бухгалтера. Впрочем, может, и здесь сказалось ощущение цели.

Может, именно бухгалтерия сегодня важнее всего в неучтенной фараоновой стране, и любой патриот должен осознать, что нельзя решать уравнение высших степеней, пока не решено типовое уравнение первой степени из папируса египтянина Ахмеса: «Куча, ее седьмая часть и еще одна куча» составляют вместе определенную заданную сумму. Сколько составляет «куча»? Семь — это понятно. Это библейская цифра плодородия. Две «кучи» — это прошлое и нынешнее России. Ибо мы умудрились свалить в «кучи» не только настоящее, но и прошлое своей страны. А из чего состоит сумма, подсказывает нам математика древней Индии. Европа тогда корчилась в истерии крестовых походов, а в Индии расцвела культура, расцвела математика и было создано ясное представление об иррациональном числе. Индусы называли его — «долги», тогда как положительное число называлось «имущество». Но как отделить «долги» от «имущества», отрицательные числа от положительных, если все это также свалено в «кучи», если наша страна — это неучтенная «куча», где все перемешано и перепутано, и доброе и дурное?

Даже самые великие идеи, если б они возникли, утонут в «куче», завязнут в древнеегипетском фараоновом «иксе» и только принесут вред, соединившись в горючую смесь с прошлыми идеями и прошлыми костями. Нет, стране не нужны новые идеи, ей нужны хорошие бухгалтеры и лирические поэты. Ибо лирика не вносит ничего нового в мир человека, а приводит в порядок и одухотворяет существующее.

Если прогресс в обозримом будущем вполне может обойтись умелыми технологами, то порядок невозможен без чувства цели. И чем дальше будет идти время, тем сильнее будет ощущать страна, государство недостаток в тех людях, которых она сама же обидела и затравила. Ибо опасен бесцельный технологический прогресс. Но растет пропасть между технологией и целью, растут взаимное непонимание, обида и озлобление.

Аркадию Лукьяновичу вспомнилась притча, которую рассказывал ему отец. Это была старая малороссийская фольклорная притча. Впрочем, он слышал эту притчу и в других вариантах, но в отцовском ему нравилось не столько общеизвестное содержание, сколько ее наивная лубочная расцветка.

В одном богатом селе появился знахарь, над которым потешались и которого травили, так как считали его колдуном, по нынешней терминологии — метафизиком. В конце концов то ли знахаря изгнали, то ли он сам покинул село, устав от оскорблений. Ясно лишь, что знахарь стал жить в лесу, среди диких зверей, диких деревьев и диких трав. Но однажды к знахарю в лес прибежали люди в струпьях и ранах, с плачем прося вернуться в село, которое поразила страшная болезнь. Знахарь вернулся и обнаружил вокруг себя здоровенные хохочущие рыла. Люди же в струпьях оказались нанятыми комедиантами. Тихо, не сказав ни слова, ушел из села знахарь, сопровождаемый насмешками, шутками и грушами-гнилушками, которые весьма метко швыряли ему в сторбленную спину и большие, и малые. Немного времени прошло, опять прибежали люди с еще худшими струпьями, с еще более ужасными ранами и с мольбой о помощи, поскольку на сей раз черная болезнь — чума — действительно явилась губить село.

Однако на мольбы людские о помощи знахарь ответил: «Другой раз нэ пидманэш» — «Второй раз не обманешь».

Не говорят ли нам то же самое тени замученных, отлученных, оскорбленных врачей наших?

Но мы не слышим, уши наши мертвы, и живем мы не душой, а рефлексами головного мозга, двигаясь от обезьяны к лопуху, даже если лопух этот приобретает формы пышных государственных похорон-празднеств вокруг того, кто еще при жизни обратился в прах. Так что правильной было бы сообщать: «Гроб с телом праха...»

Тому, кому при жизни воздаются мирские, фараоновы почести, не воздается почесть Божья. Сердце его лопается, как механическая пружина дешевого будильника-жестянки. И вовек не услышать ему Божьего «до», вовек не зазвучать в нем струне в ответ на Божий резонанс. Однако иногда, в момент сильной душевной боли, это может произойти даже с отступником. Ибо сильная душевная боль как-то отдаленно воссоздает еще при жизни тела момент его смерти.

Это может произойти с тем, кто, будучи нечист, жаждет очищения, как пересохшая гортань среди жара раскаленного песка жаждет глотка воды.

И едва Аркадий Лукьянович услышал Божий звук, как слезы сами хлынули, наподобие долгожданного ливня, вымоленного крестным ходом.

В ту же минуту на вечернюю Москву, на ее крыши и мостовые обрушился теплый праздничный ливень, отлакировав тусклый город и разбрызгав по черному зеркальному блеску золотые капли.

Жена вошла в комнату, чтоб закрыть окно, оттуда повеяло влажным ветром, однако Аркадий Лукьянович глазами показал ей: «Не надо». Он хотел весь вечер остаться немым, соблюдать обет молчания, чтоб однозначным словом не нарушать Небесной светомузыки, в которой Божий рояль звучал в сопровождении плеска дождя и света городских огней.

Такова жизнь Аркадия Лукьяновича Сорокопуга, человека бездетного, а значит, завершающего целую ветвь на древе российской интеллигенции. Жизнь, увиденная в период если не переломный, то по крайней мере неопределенный.

Нам бы, однако, хотелось предупредить упрек Аркадию Лукьяновичу в рассудочности его мыслей и холоде его чувств. На это следует сказать, что холод и тепло есть явления равноправные и равнорасположенные от нуля — Абсолюта.

Всякому времени в природе ли, в культуре ли соответствует своя температура. Конечно, одним нравится зима, другим лето, одним горячая плоть розовощеких простушек, другим вялый темперамент бледных аристократок.

Речь, однако, не о личных пристрастиях. Когда холод окружающей среды заставляет жизнь притихнуть или даже замереть, она защищает себя понижением температуры. Так бледный символизм приходит на смену розовощекому реализму, а способ выжить становится явлением культуры.

Поговаривают, и поговаривают всерьез, о возможности замораживания тел неизлечимо больных до лучших времен, используя мнимую смерть против смерти подлинной.

Не замораживает ли и символизм серебряным холодом своим культуру до лучших времен, когда под новым Солнцем вновь расцветет розовощекое Возрождение? Важно лишь, чтоб на серебре была полноценная, а не фальшивая проба. Ведь культура не только рождается жизнью, но и рождает жизнь, не только переносит образ из жизни в искусство, но и, наоборот, — из искусства в жизнь.

Учитывая все это, простим Аркадию Лукьяновичу Сорокопугу и кокетливые мысли его жаждущего разума, и холодные слезы его иссушенных горем горячих глаз. Измятый «кучей», он пытается хоть бы восстановить форму в надежде, что когда-нибудь содержание разморозит ее.

Откуда возьмется это тепло, пока не известно. Надо лишь помнить, что доброй рукой поданный стакан кипятка может временно заменить Солнце.

*Ноябрь 1982 года
Западный Берлин*

Берег памяти

— Видимо, так мы сумеем убежать от дождя, —
подумалось мне, и мы спустились в метро —
Фортуна и я, — низринувшись,
едва по отвесной линии вниз хлынули капли,
в огромную арку по лестнице, а за спиною
арку уже занавесило
пеленою дождя, а мы окунулись
в нирвану фуникулеров,
поручней, цепких рук
и костяных бус вокруг смуглых запястий.
И поезд, утопая в берегах
моей любви и обгоняя тучи,
на круглых лакированных ногах
вперед стремился, гордый и певучий.

Но я еще помнил ее узкогорлые плечи,
черной трапецией подчеркивающие равнобедренность мира,
примиряющие живое с растительным царством,
плывущие в равновосставленном времени.

— Странно, — сказала она, — что боярышник
так разросся.

Май на дворе, месяц псалмов,
а тут...

Зеленые ягоды, мелкие,
но полные сока.

(Играли в футбол,
мяч летал над заборами.)

Набухали груди под платьями,

икры, круглые животы,

и надо всем этим шар

солнца — неведомый, виртуальный,

исполненный магической влаги, —

все было у них впереди,

все впереди у них было:

реки во льду, поля в снегу, мосты над водой.

И даже если кому-то из них предстояло

окончить жизнь пятном на асфальте,

у них впереди еще было парение

в восходящих потоках, нисходящих потоках...

Как много нас.

Запах возвращает нам тех, кого мы любили.

Пока он держится, с нами те, кого с нами нет.

За ночь за окнами распускался сад, в нем гнездились птицы.

Подойдешь, отдернешь штору —

там никого.

Мы все солдаты любви. Наш след ведет к океану —
вместилищу судеб, хранителю напластований.

И спящие вместе похожи на рыбу на блюде,
 грезящую о нересте в том океане.
 И его окончечность, прощальным кодом,
 памятью на мозг, в извилистых скалах
 туман охватывает, наслаиваясь на воду
 и на пески, торжественно и устало.
 Берегом памяти я назову эту землю.
 Берегом жадности и алчбы, ибо память страдает
 здесь без ласк твоих более всех членов моих, ибо руки дремлют,
 губы спят и глаза,
 а память — жаждет.

Правду сказать, боярышник был не ко времени.
 Как не ко времени все:
 жизнь — да и смерть
 не ко времени. А его-то как раз не хватало,
 чтобы спросить: «Как живешь,
 мое счастье? Как ты там живешь, Чижа-Пыжа?»

Вита — женщина с большим размахом.
 Она строит дом на улице Алберта.
 Тонка, изысканна, тайно порочна,
 но никем не желаема, как цветок
 на слишком тонкой ножке со слишком большой головою.
 Она говорит, и складки рта ее
 напоминают луну по пути с запада на восток,
 купающуюся в лучах закатного солнца.
 Местечки отрезаны от мест, места от столицы —
 она освещает разбредшиеся дороги,
 где я заплутал во времени и пространстве,
 с запада на восток, между жизнью и смертью.

Спи, Иванушка, зайчик мой,
 красно солнышко, ясны дни.
 Ночь пришла, как к себе домой:
 баю-баюшки, спи-усни.

Сел волчок на пустых лесах,
 вынул аленький поясок;
 во березовых туесах
 разливается свежий сок.

Ты под сердцем пока лежишь —
 алый плод, голубой магнит.
 А серебряные ножи
 режут плоть, и судьба хранит.

Море в тающих берегах
 расправляется с храбрецом,
 и русалка плывет в стогах
 с удивленным твоим лицом.

Под ракизовые кусты
 веет с запада дым костра.
 Так же медленно, как и ты,
 засыпает твоя сестра.

Длинные, как версты, песни,
 длинные ноги, дожди, длинные,
 как пролеты лестниц, автомобили, их следы
 на волглом асфальте — дети Глории.

С неизбежной тревогой вглядываюсь в любимцев светлого часа:
выстрела в упор хватит,
чтобы голос смолк, подкосились ноги,
только дождь нагонит не в этой земле,
так в той, не в жизни...

Клубком наматываются дороги,
им лютовать, а нам бедовать.
Над ними месяц встает двурогий
и ногтем скалывает печать.
Услышу, может быть, голос рога,
и Роланд выйдет из-за угла.
Мне жить осталось совсем немного —
не дальше воронова крыла.

В этом городе крыши домов похожи на башни:
удивительные, свободные, восходящие к небу,
вне любви и тоски,
вне тоски, и любви, и печали,
вне вопросов и вне ответов, бессмысленных, праздных.
На башнях разгорается пламя, трепещет закат,
скоро сменится стража.
Запоет петух — иди предавать, ничего не бойся.

В доброй Европе праздник,
а мы, повара, — не званы.
Близко время цыган,
пора начинать кочевье.
Ветер бьет в паруса, слово произнесено,
да и что у нас есть, кроме вещего слова.
Смерть не ко времени...

О Арджнуна, дваждырожденный!
Я, дваждылюбленный,
тянусь нескончаемым потоком
в страну первой любви из страны второй,
чтобы позже — обратно — из первой страны во вторую.
Одна страна велика, как снег,
другая мала, как дым.
Одной страной мне отпущен век,
в другой умру молодым.
Пепел первой страны осел во второй стране.
В какой бы стране я ни был, другую вижу во сне.

Бессмысленно спрашивать, бессмысленно отвечать.
Множество мелких милых вещей
отвлекают нас от вопроса,
но никогда — от ответа.
Или, наоборот, смотря по тому,
кто истец, кто ответчик: *Swallow, swallow,*
these fragments I have shored against my ruins —
сказанное не по-русски
подобно озеру за деревьями:
блеск в глаз, остальное — лишь обещанье;
на водную гладь сели гуси.
Хотите ли есть, гуси, гуси?
Ласточка, ласточка! Ворон, ворон:
бери меня, я весь твой.

Игорь ТАРАСЕВИЧ

Один вечер в Сан-Диего

ПЬЕСЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

1. РЕБЕНОК

Хозяин, мужчина сорока лет.
Гость, мужчина сорока лет.

Г. У меня особое положение. Значит, для меня необходимо сделать исключение, поскольку у меня особое положение: два человека. Мы с сыном вдвоем.

Х. Однополые...

Г. Мне полагается двухкомнатная квартира. Двухкомнатная!

Х. Тихо! Номер?

Г. Сорок три — четырнадцать, эс-эл.

Х. Так... Эс-эл четыре тысячи триста четырнадцать.

слышен звук выдвигаемых ящиков, шелест страниц

Так... Ну... Что ж ты мне голову морочишь? Никакого сына и вообще ребенка тут не показано. Так что — комната. И то... Сам знаешь, сколько сейчас и комната тянет. Да еще эти беженцы. Районный город, а набились, блин, как в Москву... Голову морочите! Вам государство, будто в прошлые времена, обеспечивает, а вы, значит, еще больше дерете... Все! Следующий!

Г. Вы поймите: ребенок не взрослый человек. Ребенку надо играть. Например, собирать конструктор. Сын у меня знаете, какой? Десять лет, а все спрашивает, спрашивает, всем интересуется. И свободно говорит на английском. Ведь ребенок должен быть готов к этой жизни. Ему комната нужна для занятий английским и сборки конструкторов. Сборка конструкторов развивает мышление. Я так ему даю с самых молодых, как говорится, ногтей: ассоциативное мышление — английский язык, отечественная поэзия, предметное мышление — сборка конструкторов и моделей самолетов. Все это, представляете, до сих пор продается в магазине «Пионер» на Большой Купеческой. Ну, вы знаете — бывшая улица Ленина. Вы представляете, магазин по-прежнему называется «Пионер» и там, как ни странно, все еще продаются наряду со всем прочим конструкторы для детей. Собранные модели он должен куда-нибудь ставить или нет?

Х. Если ребенок — на ребенка заверенную выписку из РЭУ. Все! До свидания! Следующий!

Г. Нет-нет-нет! Я всю жизнь мечтал создать сыну нормальные условия. Хоть комнату свою, если уж больше ничего сейчас нельзя получить.

Х. Комнату свою тоже нельзя получить. Предупреждаю первый и последний раз: вызову охрану.

Г. И потом я сам еще далеко не стар. Могу и женщину, например, пригласить.

Х. Все. Вызываю.

длинный низкий гудок

Г. Может, вы думаете, что если я в таком положении, так я уже не способен на нормальные отношения с женщиной? Главное — правильно подобрать позу, чтобы живот не мешал. Вы ведь понимаете меня, как мужчина мужчину? Недавно вот мы с одной женщиной так, знаете, подбирали, и тут слышу, как сын мне: «Дэд, хелп ми, ай кант». Не получается, значит, у него. А у нас как раз начало получаться.

Х. Хе-хе-хе...

Г. Ну, неловко же, хотя у нас с сыном полный контакт.

Х. Понимаю.

Г. А однажды мы с одной женщиной...

звук распахивающейся двери, топот

Х. Подождите пока за дверью. Далеко не отходите... Ну?

Г. Что? А! По телевизору, значит, как раз президент Клинтон говорит о нашем военно-промышленном комплексе, и я вдруг почувствовал, что комплекс — во мне, что он мне мешает, ну, быть с этой женщиной, хотя раньше сын мне никогда не мешал. Вы извините, что я вам так откровенно про комплекс. Но мне больше некому рассказать. В сущности, мы с сыном так одиноки... А комплекс, понимаете... Мне нужно кому-то рассказать, поделиться... Сыну я не могу об этом, хотя он, мне кажется, уже начинает понимать... Может, мне в профиль встать? Так видно? Да вы не на нос мой смотрите, нос у меня прямой, не сомневайтесь. Вы ниже, ниже смотрите, на живот.

Х. Водянка, что ли? Так справка нужна из поликлиники или стационара, у нас по перечню, и то — если ухаживающий за больным прописан. А по документам ты один прописан. А подаешь на расширение... От прежней сынто?... Щас я водянку посмотрю.

шелест бумаг

Во! В перечне водянки нет! Инфаркт или что еще — другое дело. Все!

Г. У вас зрение в порядке?

Х. Ты! То есть вы! Я в десанте служил. И сейчас бы еще служил, если бы не твой Клинтон. У десантника, знаешь, какое зрение должно быть? Ну, что ты живот выставил? Вижу, питаетесь хорошо, регулярно, жиры получаете в достаточном количестве. Может, на четвертой базе, по спецталонам, значит, отовариваетесь? Я вот, например, ответственный работник районной администрации, однако вместе со всем народом хожу в обычные магазины, по общим ценам, мать их душу греб.

Г. Понимаю.

Х. Да?

Г. Понимаю.

Х. Да-а... (*кричит*) подождите там! Ребенка воспитать сейчас — большие деньги нужны. Я своему паршивцу говорю: твой отец — дурак, твой отец не ворует, пайков себе не выбивает, загородных дач не приватизирует, хотя мог бы как сыр в масле кататься, мог бы! Плюнуть раз! На таком деле сижу! У меня тоже парень, знаешь, какой вырос? Плечи — во! Больше моих, пятьдесят четвертый размер. Ботинки — сорок четвертый. Семнадцать лет, на улице все бабы смотрят. Вестибулярный аппарат — лучше не бывает. Я его с самых соплей напругал: перекладина, гантели, кросс по пересеченной, прыжки. Чтоб так: будь готов — всегда готов! Еще грудного, помню, подкидывал и ловил, подкидывал и ловил, а он хоть бы пискнул или там заплакал, только улыбается во всю физию. Говорить еще, понимаешь, не мог, а уже улыбался!

Г. Да; да. Понимаю.

Х. Да... Я как раз тогда роту получил... У меня парень, если хочешь

знать, в четырнадцать лет полосу препятствий преодолевал на три-четыре секунды лучше норматива! Из «Макарова» выбивал не меньше двадцати восьми—двадцати девяти очков, то есть на «отлично» всегда отстреливался.

Г. Понимаю.

Х. В пятнадцать лет ходил на плановую выброску вместе с батальоном — высота две триста! Помню, один салабон, как люк открылся, начал отказываться от прыжка. Вопит: «Товарищ майор! Товарищ майор! Нет! Нет! Не могу! Не могу!» Люк открывается — знаешь! Впечатляет! Машина ревет, и — сигнал, и красная лампа мигает, и люк начинает открываться. Момент — узкая щель, сразу — шире, шире и — небо. Бездна! И свист! Тут очко заиграет. Блюют только так! И обсеруются.

Г. Да. Понимаю.

Х. Да. Я салабона того хотел выбросить, карабин его вытяжного парашюта за штангу зацепил и хотел выбросить: взять в охапку и — в люк. Положено — отдай! А мой парень как подскочит да как пустит на него матерком в бога и душу! Прыгай, мол, траханый в рот! Ешь твою железо мать! Пальцем деланный! Пидар гнойный! Тот только пукнул, в штаны навалил и — пошел. Ногами вперед съехал, как покойник. А парень мой за ним — первый его прыжок был. Часто это вспоминаю. Я тогда как, скажи, заново родился. Да... А щас знаешь, сколько ему денег надо?

Г. Давайте, я снова в профиль повернусь. Неужели действительно незаметно?

Х. Что?! Что?! Что незаметно?

Г. Я беременный.

Х. У, ё!.. Сказал бы я тебе! Ты отсюда тоже полетишь пулей! На что только люди не идут у меня в кабинете! Мать твою за ногу! Даже, значит, занятно. Я вот своему паршивцу все хочу рассказать, как я здесь воюю, так он не слушает, у него свои дела. Вырос. Да... Ну, ладно. Гуляй. Все!

Г. Вы что же, думаете, если я мужчина, то не могу забеременеть? Мужчина — тоже человек. И тоже может иметь ребенка. Я не понимаю, какая разница. Разве вы не знаете, что мысль материальна? Я десять лет думаю о ребенке, то есть все время, что стою в очереди на расширение. Я думаю, я разговариваю с ним, покупаю ему конструкторы, вожу к преподавателю английского. Меня в магазине «Пионер» своим считают, честное слово. Вот позавчера даже оставили для меня компьютерную игру «Футбол», и без всякой переплаты. У меня нет компьютера, но я говорю: «Девочки, возьмите хоть тысячу рублей!» А они смеются. Действительно — там теперь в том же отделе продаются телевизоры, так что моя тысяча не сделает в «Пионере» никакой погоды.

Х. Понимаю.

Г. Очень давно я был стодвадцатирублевым инженером, потом приехал сюда строить обогатительную фабрику, потому что здесь мне обещали настоящее жилье. И вот фабрика давным-давно построена и теперь не работает, потому что здесь она никому, собственно, не нужна и ничего и никого не обогатила.

Х. Да-да-да-да...

Г. Я оказался среди диких людей, с которыми невозможно установить контакт. Контакт у меня только с сыном. Мы живем с ним на одну мою пенсию. Я получаю пенсию, потому что вдруг решили, что я сумасшедший.

Х. Понимаю, понимаю... Жилплощадь по месту прежней прописки сдал?

Г. Сдал.

Х. Да вы садитесь, что вы встали. Я сейчас позвоню, все сделаем в лучшем виде.

слышно, как крутится диск телефона

Занято.

Г. Как только я получу квартиру, мой сын выйдет наружу. Но я уже сейчас стал другим человеком. Я стал отцом. Вы знаете, что делает человека

отцом? Чувство вины! Только чувство вины перед ребенком. Я вот, например, тоже каждый день совершаю с ним прыжки. У нас в подъезде ступеньки такие, что можно только прыгать. Я испытываю чувство вины перед ним за то, что мы должны прыгать там со всеми вместе, за то, что живем в бараке в комнате шесть квадратных метров. Мне стыдно, что мой сын не видит Средиземного моря, ни разу не был в Париже или в Бразилии. О, мечта, Бразилия! Кофейные рощи, джунгли, анаконды, океанский прибой, пальмы на берегу. Когда у нас в подъезде мой сын вместе со мной совершил первый прыжок, я почувствовал, что я сам мгновенно изменился. Я переродился, именно в тот момент я по-настоящему стал отцом. Я виноват, что даю ему только английский, а надо еще хотя бы французский тоже. И музыка, конечно, нужна. Мне стыдно, что у нас в городе нет музыкальной школы. И разве эти дурацкие пластмассовые конструкторы, даже этот «Футбол», — разве он заменит настоящий компьютерный класс в политехникуме? Мне стыдно, что стоит фабрика, что вонь от помойки под окном уже перестала меня раздражать, что крысы, что наш барак каждую ночь ходит ходуном от попок. Крики, которые раздаются у нас каждую ночь, совсем не обязательно слушать ребенку.

Х. Да, да. Понимаю. Я тоже сыну недодаю. Чувствую — недодаю. Должен! А недодаю.

Г. *(не слыша)* Сейчас ему десять лет, а пройдет еще лет пять-шесть, и сын начнет отдаляться от меня, мы перестанем понимать друг друга. Пойдут девочки у него. Я буду стариком. Он перестанет просить о помощи, о совете. Я заранее испытываю чувство вины за то, как трудно, как непросто нам будет тогда разговаривать.

Х. Это да, да. Понимаю. Да *(кричит)*. Подождите пока!

Г. Ведь главное — уметь разговаривать. Я должен дать сыну хотя бы начатки науки общения. Сам я ими не обладаю. Меня никто не понимает. Меня с младенчества держали в коллективной среде — сначала ясли, потом детский сад, потом школа с продленным днем, пионерские лагеря летом. Даже на зимние каникулы родители сплавляли меня в какой-нибудь лыжный поход. У матери на работе был один... Набирал ребяташек в каникулы, устраивал походы. Я так и по Подмоскovie, и даже через Глухорский перевал ходил. Не знаю, может, у него что-то с сексом было не в порядке. Ко мне он, во всяком случае, никогда не приставал. С сексом у меня нормально, меня никто... И всякие коллективы я возненавидел на всю жизнь. Человек должен воспитываться в нормальных условиях, а не в казарме. Я потому и прошу двухкомнатную.

Х. Да вот и справка у тебя в Деле.

шелестение бумаг, стук выдвигаемых и задвигаемых ящиков

Как я не ухватил? И в перечне... В перечне есть. Так бы сразу и сказал. Точно: не умеешь разговаривать. Адекватно не докладываешь... Теперь ясна картина.

Г. *(нерешительно)* Я... Я вам больше скажу... Не знаю, правда, нужно ли?

Х. Нужно. Говорите, все говорите.

короткий, высокий гудок

Людочка, пока я вышел на десять минут.

короткий высокий гудок

Так. Слушаю.

Г. Мне... Мне кажется, что я умру при родах. Я знаю, вы будете смеяться, потому что многие, я слышал, испытывают такое, а все потом проходит прекрасно.

Х. Понятное дело.

Г. Десять лет мы живем вместе с сыном, десять лет я мечтаю произвести его на свет, но мешают не только жилищные условия. Я... Я стал бояться

умереть, когда он родится. Потому что это так естественно: новое рождается, старое умирает. Так, наверное, и должно происходить. Но я разрываюсь на части — хочу родить и одновременно боюсь рожать. Вот уж действительно настоящее сумасшествие — раздвоение личности. Шизофрения.

Х. Это да. Понимаю.

Г. До вас я никому не говорил. В прошлом году, вы знаете, мне создали условия, я даже лежал в отдельной палате. Посадили меня в кресло — такое, с держателями для ног, ноги, знаете, оказались выше головы из-за держателей. И осветили направленным светом, и но-шпу — это расслабляющее средство — вкатили полный шприц, и два врача держали меня, даже кричали: «Рожай! Рожай!»

Х. Ну а ты?

Г. *(плачет)* Я не решился. Что-то остановило меня в последний момент. Может быть, постыдный страх за себя, может быть, мысль о том, что из прекрасной палаты мы с сыном должны вернуться в холодную комнату в бараке... Никто не может мне помочь. И женщины, как бы с ними ни получалось, тут тоже не помогут. Ни в какой позе.

Х. Понимаю.

Г. Вы первый, кто меня выслушал непредвзято.

Х. *(быстро)* Я помогу. Я сам, понимаешь, думаю насчет казармы.

Г. Какой казармы?

Х. Ну, ты ж сам только что говорил: ребенок не должен воспитываться в казарме. Насчет казармы я хорошо знаю. Вот и думаю.

Г. Да, да.

Х. Ведь главное — отдать правильный приказ. Принять решение. Проследить за исполнением. Нужен командный навык. Я, может, командирский голос несколько лет выработывал, а теперь его псу под хвост? Я своему паршивцу все нажитое передал, теперь, понимаешь, нужно ассоциативное мышление. Только без музыки. Он и так мне мозги проел этим дребаным магнитофоном. Приходишь с работы, затраханый, хуже, чем в полку, а он плеер свой всобачит, в оба уха наушники и — нет его. Устраивал его в Рязанское училище, наше, десантное — не хочет. Я уж не знаю, чего он хочет. Рядовым загреть? Начинаю даже, неудобно признаться, комплексовать. Никогда со мной такого не было. Будто не он меня не слушает, а вроде я получаюсь виноват перед ним. Возникает чувство вины.

Г. Я был уверен, что вы меня поймете.

Х. Понимаю. *(быстро)* Есть возможность получить двухкомнатную. На двоих.

Г. Ну, спасибо вам. Вы приняли правильное решение.

Х. На двоих. Тем более что шизофрения в перечне. И воспитание ты даешь. У меня парень — плечи пятьдесят четвертый размер, нога — сорок четвертый, а воспитания, понимаешь... Я тебе помогу, а ты мне поможешь. Английский, ассоциативное... Вместе с твоим-то... Как хорошо! А с моим-то уж ты ничего бояться не будешь, он, знаешь, какой амбал вымахал! Ты не бойся! Мандражировать — последнее дело.

Г. *(радостно)* Понимаю. Я даже чувствую, что уже ничего не боюсь. Ни соседа. Ни очереди в поликлинике. Когда сосед курит свою проклятую «Приму», дым слоями начинает плавать по всему коридору. Мы с ребенком дышим этим ядом. Теперь все! Все! У моего сына собственная комната! Теперь я ничего не боюсь! У меня больше нет никаких комплексов. Как только я рожу, мы с сыном сразу пойдем в компьютерный класс. А ваш — пожалуйста, я не возражаю, пусть иногда приходит. Это не важно.

Х. *(быстро)* Ну, да, да, да. Получишь двухкомнатную, и он будет к вам приходить. А родишь ты у меня прямо сейчас. Безо всяких ячих.

Г. Я готов.

Х. Вот и договорились. А ты — «наука общения, не умею разговаривать». Два человека всегда поймут друг друга. Тем более у моего парня не моя фамилия — материнская.

Г. (*радостно*) Это не важно!

Х. Понятное дело! Оформим, как по уходу за больным. Распишитесь здесь. Здесь вот, внизу листа. Что вы не возражаете, чтобы постоянно ухаживающий за вами товарищ был прописан на получаемой вами жилплощади. Здесь вот, над чертой.

шелест бумаги

Заметано.

Г. Боже мой!.. Только, вы знаете, нужно ведь чистую простыню, полотенце, потом еще пропускающий воду свивальник, потом йод, грелку, много всего, понимаете?

Х. Да все будет. Ща позвоню.

длинный низкий гудок, сразу за ним топот

Его к себе возьмите, пока придет перевозка.

короткий высокий гудок

Людочка, я вернулся.

короткий высокий гудок, потом звуки вращающегося телефонного диска, потом короткие телефонные гудки

2. ОДИН ВЕЧЕР В САН-ДИЕГО

Махоткин	}	Бывшие одноклассники
Одноруков		
Щукин		
Крук		

Крук. Работает автоответчик. Вы можете оставить свое сообщение после гудка.

гудок

Махоткин. Гоша! Гоша! Слышь, Гоша! Это я, Женька Махоткин. Я вышел... Гош, ты меня слышишь? Гоша... Ты на меня все еще сердисься? Дуррак! Мать мне говорит, что я, значит, не виноват, и, значит, чтоб никому не звонил, восемь лет прошло, как я по тюрьмам да по ссылкам... Гоша! Дуррак! Гоша! Я только о здоровье твоём хотел узнать. Как твоё здоровье, Гоша? Мы ж все равно корешки, мы ж...:

гудок, затем короткие гудки

Крук. Работает автоответчик. Вы можете оставить свое сообщение после гудка.

гудок

Махоткин. Дурр-рак! Гоша! Я тебя по новой набрал. Не сердись, Гош!.. Ты выпить хочешь? Приезжай щас! Вечер не заметим, как пройдет. У меня тут водка «Распутин», четыре штуки отдал! Хотя ж у тебя этот... позвоночник... Я балдею, какие у вас теперь цены, Гош. В восемьдесят шестом за такие деньги тачку можно было взять. Я сел за четыре штуки... Гоша! Если не считать того мужика... Выходит, за один пузырь столько лет парился. Дуррак! Дуррак!.. Гош, ты дома? Гоша! Дурр...

гудок, затем короткие гудки

Крук. Работает автоответчик. Вы можете оставить свое сообщение после гудка.

гудок

Махоткин. Гош!.. А!..

короткие гудки

Одноруков. Вы позвонили по личному номеру президента концерна «Глобал Транзит Лимитед» Владимира Однорукова. Работает автоответчик. К сожалению, сейчас я не могу подойти к телефону. Пожалуйста, оставьте свое сообщение после длинного гудка. Дата и время звонка, а также номер вашего телефона фиксируются. Я обязательно вам перезвоню. Запись прекратится не раньше, чем вы положите трубку. Спасибо!

длинный гудок

Шукин. Шукин. Возьми трубочку... Володя! В самом деле тебя нет?.. Все нормально, Володя. Я только сделал не десять, а восемь. Иначе не было возможности. Да я не вижу разницы — десять тысяч тонн или восемь тысяч тонн, все равно одна и та же лицензия. А там уж под такое дело... Ну, это при встрече, не на ответчик. Погрузка, транспорт — за их счет. Вагон — шестьдесят тонн, значит, с вагона, если по восемьдесят баксов тонна... Шестью восемь... Сейчас калькулятор возьму... Да! Мы брали по сорок три, так? Считаю... Десять процентов мне, восемь — сам знаешь кому... Так... Тебе остается... Один-восемь-два-ноль! И еще четыре десятых! Сорок центов, ха-ха-ха! С вагона-то, не пито—не едено. Ну, три-четыре сотни еще отдашь там... Полторы штуки зеленых с вагона, ебенть! А ты все плачешься... Ладно, ты эту запись сотри, как вернешься. Я, ты сам понимаешь, ничего не боюсь, но все-таки я тут напрасно... Хотя, кроме тебя, никто не услышит, Володя, так? Да я ничего и не сказал, что мог бы сказать лично, вечером, верно? Это я на радостях, хе-хе-хе... Что, берешь теперь «линкольн» у этих черных-то? А я как ездил на своей «пятерке», так и буду ездить, сам понимаешь. Нельзя, блин! Ну, пока. Вечером, значит, как договорились, в «Сан-Диего» в двадцать часов. Пока!

короткие гудки

Одноруков. Вы позвонили по личному номеру президента концерна «Глобал Транзит Лимитед» Владимира Однорукова. Работает автоответчик. К сожалению, сейчас я не могу подойти к телефону. Пожалуйста, оставьте свое сообщение после длинного гудка. Дата и время звонка, а также номер вашего телефона фиксируются. Я обязательно вам перезвоню. Запись прекратится не раньше, чем вы положите трубку. Спасибо!

длинный гудок

Шукин. Да, Володя, кстати, о «пятерке». Мне знаешь, кто на ответчик записался? Махоткин Женька. Вернулся. Тебе не звонил? Был пьян и зазывал еще выпить, провести вечерок. Деньги ему, наверно, нужны, сам понимаешь. А выпьем мы с тобой нынче вечером вдвоем, так? Хотя я и не очень по этому делу, и шофера у меня личного нет, чтоб, руля не боясь, выпить, но я и без шофера ничего не боюсь. И люблю я «Сан-Диего», ничего не могу с собой поделатъ. Один вечер там — отдых на всю неделю. Хотя этот твой кент директор — такой же испанец, как наш Гарри Крук. Жид. Но дело хорошо ведет, что есть, то есть. А с Женькой мы ведь тогда отмазались. Каждый теперь катается на своей — ты на «мерсе» пока что, я на «пятерке», Гарри на трамвае, и то — бесплатно, так? Дело закрыто. Ты сотри эту запись, Володя. Пока!

короткие гудки

Крук. Работает автоответчик. Вы можете оставить свое сообщение после гудка.

гудок

Махоткин. Гоша! Гоша! Это я! Слышь, Гоша! Какой у Вовки Однорукова телефон? А? Гоша! Ты слышишь, Гоша?.. Дуррак! По старому номеру говорят, что он тут больше не живет, и телефон новый не говорят. Падлы!.. Гоша! Гоша! А у Шуки, как и у тебя, такой же автоматический шукиным голосом отвечает. Ну, я балдею! Гош...

гудок, короткие гудки

Крук. Работает автоответчик. Вы можете оставить свое сообщение после гудка.

гудок

Махоткин. Дур-рак! Гош! Ну, Шука теперь, мне мать, значит, щас сказала, в Комитете работает, ему, может, надо. А ты чего? А? Ты где теперь работаешь, Гоша? У нас на зоне был кум¹ — с лица чистый Шука. Во! Мне Шуке, значит, теперь западло звонить, хотя он наш кореш. Я балдею!.. Гоша! Ты слышишь меня? Дуррак! Дуррак! Я хочу пригласить тебя в Сан-Диего. Мне письмо прислал дядя Ося из Сан...

гудок, короткие гудки

Крук. Работает автоответчик. Вы можете оставить свое сообщение после гудка.

гудок

Махоткин. Дядя Ося, который с отцом, значит, воевал, теперь живет в Сан-Диего. Ты ведь еврей, Гоша? Дур-рак! Они с отцом были в одном оружейном расчете, понял? Вместе жрали². Я на зоне тоже с двумя кентами вместе жрал. На зоне иначе нельзя, понял? Пропадешь. С кем-нито надо вместе жрать... Гоша! Я хочу свалить отсюда. Я еще попозже поз...

гудок, короткие гудки

Крук. Работает автоответчик. Вы можете оставить свое сообщение после гудка.

гудок

Одноруков. Окружность! Здорово! Давай бери трубку, у меня времени мало... Окружность! Не валяй дурака, я же знаю, что ты вечерами всегда дома. Игорек!.. Еканный бабай, зачем только я тебе этот автоответчик подарил? Тогда, помнишь, ты сказал, что ни с кем на свете не хочешь ни видаться, ни разговаривать. Игорь! Ну, я виноват, мы все виноваты, и ты сам, между прочим. А теп...

гудок, короткие гудки

Крук. Работает автоответчик. Вы можете оставить свое сообщение после гудка.

гудок

Одноруков. И к тому же запись на двадцать секунд всего поставил. Молодчик! Хаммер!³ Ну, как знаешь. Слушай: мне только что сюда в машину позвонили со старой квартиры — знаешь, кто меня разыскивает? Женька Махоткин. Вернулся. Будет совершенно лишним, если вся эта старая история всплывет, ты согласен? Тебя не вылечит, и, хотя, в общем, все это ерунда, ни к чему это. Если...

гудок, короткие гудки

¹ На воровском жаргоне — прикрепленный к лагерю оперативник.

² Лагерное понятие, характеризующее сплоченную для взаимовыручки группу заключенных.

³ Молоток (англ.).

Крук. Работает автоответчик. Вы можете оставить свое сообщение после гудка.

гудок

Одноруков. Блин! Если он тебе позвонит, сними трубку, понял?! Мои ребята ему уже звонили, его дома нет. А с родителями говорить бесполезно. Сними трубку и скажи, что мы по-прежнему друзья, что я возьму на работу, денег дам! И тебе еще дам. Машину ему куплю в конце концов! «Пятерку»! Еканный бабай! Я с иностранцами работаю! Нашим насрать, а если где-нибудь в Америке напишут, что президент «Глобал Транзита»... Они к имиджу чуткие. У меня из-за такой херни полдела может закрыться! Все! Я...

гудок, короткие гудки

Щукин. Здравствуйте! У нас включен автоответчик. Пожалуйста, передайте свое сообщение и не забудьте сообщить номер своего телефона и время звонка. У вас есть минута после звукового сигнала. Благодарю вас.

низкий гудок

Одноруков. Это я. Надеюсь, все в порядке? Мне срочно сейчас пришлось отъехать на переговоры. Звонил тебе на место — нет тебя. Позвони мне или в машину, передашь шоферу, я отойду на полчаса, передашь «да» или «нет», или домой поподробней на ответчик, я освобожусь — сниму информацию. Теперь вот что: Женька Махоткин вернулся. Вечером яснее перетрем, а пока, если Женька позвонит тебе, позовешь его туда же, в «Сан-Диего». Только пусть сам подгребают, не вези его. Не вези... Да... Восемь лет просвистело — не заметили, как время прошло... С ветерком просвистело, как тогда ехали с ветерком, тоже — не замечали ни хера... Напоминаю: мы были пьяны, отмечали очередную годовщину окончания школы, зеленые были совсем... Откуда взялась машина, кто был за рулем — ничего не помним... Ну, как тогда, ты все знаешь. Надо посмотреть, какие у него теперь настроения, восемь лет зоны человека меняют. Понимаешь меня? Тогда так себя повел, и спасибо ему от души, а нынче может по-иному. И тогда без всякого спаси...

низкий гудок, короткие гудки

Щукин. Здравствуйте! У нас включен автоответчик. Пожалуйста, передайте свое сообщение и не забудьте сообщить номер своего телефона и время звонка. У вас есть минута после звукового сигнала. Благодарю вас.

низкий гудок

Одноруков. Тогда, если вдруг что-то — понимаешь меня? — тогда такие товарищи нам не товарищи, тогда позвоним оба, чтоб ни ты, ни я, а оба в пополаме, как положено. Ну, я уверен, до этого не дойдет. А с тобой выгорит — тогда опять Калифорния. Погреемся хоть один вечер в Сан-Диего! Х-ха! (*поет*) Май бони из овер зы ошен, май бони из овер зы сы-ы, май бони из овер зы ошен, о-о, бринг бэк май бони ту ми, о-о-о, бринг бэк май бони ту ми!¹ Здесь это не так, здесь все свое. Ты понимаешь меня? Надо уехать, чтоб почувствовать разницу. Х-ха! Помнишь тот маленький пляж по дороге на военную базу? Райское местечко! Пальмы, блин! Песок какой! На Кипре хуже, зуб даю! И на Кипре наших уже больше, чем туземцев. Да... Да там везде хорошо! Ну, давай, я подъезжаю, надо дело делать. Давай!

короткие гудки

¹ Моя милашка за океаном, моя милашка за морем, моя милашка за океаном, о, верните обратно мою милашку ко мне (*амер. фольк. песенка*).

Крук. Работает автоответчик. Вы можете оставить свое сообщение после гудка.

гудок

Шукин. Шукин. Возьми трубку, Гарик... Возьми трубку, ты дома! Гарри!.. Вот из-за таких все и происходит в России. А еще говоришь, что ты не еврей. Что в паспорте у тебя — дело не пятое, а десятое. Как же не еврей, когда ты молча так, блин, молча всех подставляешь. И когда мы пьяные «пятерку» угоняли, уже не соображали ничего, хихикали, что, мол, покатаемся, ты ж, мол...

гудок, короткие гудки

Крук. Работает автоответчик. Вы можете оставить свое сообщение после гудка.

гудок

Шукин. Ты ж молчал и улыбался, ты трезвый был, ты сел на правое кресло впереди, как второй пилот! Ты всегда мечтал сесть и улететь, всегда! Я знаю! Я твое досье видел! Вот и улетел на вторую группу, на два костыля... А кто первый сказал, что Махоткин был за рулем, что он всех уговорил на угнанной машине вечером покататься? Ясное дело, теп...

гудок, короткие гудки

Крук. Работает автоответчик. Вы можете оставить свое сообщение после гудка.

гудок

Шукин. Тому мужику на том свете все равно, кто кого уговорил и кто ему тачку покорежил. Ты еще на койке только и твердил, что тебе все равно... Как покойнику! Махоткин на себя взял, теперь-то его что подставлять? Слышишь меня?.. Так и вижу, как ты сейчас ухмыляешься! Да, мы все хороши, но теперь-то, теперь скажи Володе, чтоб он с Махоткиным... Чтоб нормально было. Тебя он послушает. Вол...

гудок, короткие гудки

Крук. Работает автоответчик. Вы можете оставить свое сообщение после гудка.

гудок

Шукин. Вы с Володей вдвоем всегда были ближе, чем с нами. Я ничего не могу сделать! Сам понимаешь, я не генерал! А ты прямо сейчас отзвони Володе, скажи, Махоткин хочет к нему устроиться на работу. Он это лучше всего поймет. Хочет на работу, значит, хочет стать своим. Прямо сей...

гудок, короткие гудки

Одноруков. Вы позвонили по личному номеру президента концерна «Глобал Транзит Лимитед» Владимира Однорукова. Работает автоответчик. К сожалению, сейчас я не могу подойти к телефону. Пожалуйста, оставьте свое сообщение после длинного гудка. Дата и время звонка, а также номер вашего телефона фиксируются. Я обязательно вам перезвоню. Запись прекратится не раньше, чем вы положите трубку. Спасибо!

длинный гудок

Шукин. Шукин... Володя, не хотелось передавать через шофера, сам понимаешь. Дома его нет. Мне он больше не звонил. И Окружность трубку, как всегда, не берет. Я вышел на ребят из «наружки»¹, но неофициально. А

¹ Служба наружного наблюдения.

официально объявлять в двадцатиминутный розыск — сам понимаешь, дело тугое. И на сутки слетать в Калифорнию никто меня не отпустит, сам понимаешь. Разве что тут вечерок оттянуться в «Сан-Диего»... Володя... Что ты суетишься под клиентом? Я что-то не врублюсь. Ну, мы трое знаем, кто тогда сидел за рулем на самом деле, кто вскрывал «пятерку». Ну, и что? Я лично ничего не боюсь. Я дал тут двум молодым ребятам по пятьдесят баксов. Думаю, сейчас найдут... Я уж прямым текстом херачу. Ты потом сотри запись, Володя. Этот номер у тебя не слушают, я еще раз проверял... Единственное — с бодуна он может поднять волну... Конечно, лишнее. И тогда он, помнишь, сразу окосел, спал на ходу. Он сразу косеет, всех обзывает дураками и потом отключается. Как тогда. И сейчас, думаю, где-нибудь валяется в отключке... Вечер только портит... Володя, я тебе давеча звонил, сказал, дескать, не пито — не едено баксы заколачиваешь. Ты извини. Признаю свою ошибку. Слово я не знаю, что если твоей дочерней фирме, скажем, склад паршивый поставить, так вору, что мазу держит, дай, местным хулиганам дай, а потом еще в муниципалитет, пожарникам, в санэпидемстанцию... Налоги... И работаешь ты, как вол, круглые сутки. И чем выше забираешь, тем больше надо давать... А Гарик тебе не звонил, Володя? И его, кстати, ты восемь лет, можно сказать, содержишь. Что его пенсия-то! Ты ж его зачислил как консультанта, так?.. Гарик уж точно будет молчать... Не пьет, не курит, девочек не водит... Ехал бы в Америку... В общем, как ты хочешь, Володя, так и будет, сам понимаешь... Ты запись сотри. Сейчас его найдут. В двадцать перевидимся, и, может, он подребет. Думаю, его раньше двадцати найдут. Есть! Пока!

короткие гудки

Крук. Работает автоответчик. Вы можете оставить свое сообщение после гудка.

гудок

Махоткин. Г-гош! Гоша!.. Слышь меня? Гош, я... балдею! Я щас прям еду к дяде Осе в Сан-Диего, понял? Гош! Дуррак! Ко мне щас на улице подошел один... хмырь... и пригласил в Сан-Диего! Г-гоша... Едем со мной, а? Гош... Я один чтой-то манд... мандражирую я... один. Гош...

гудок, короткие гудки

Крук. Работает автоответчик. Вы можете оставить свое сообщение после гудка.

гудок

Махоткин. Дуррак! Гоша! Слышь?! Поедем! Спаси меня, Гоша! Гоша! Это не важно, что ты не еврей, я ж тоже не еврей! Все равно... надо отсюда свалить, Гоша. Дядя Ося, он такой, он с душой ко всякому! Ты... напрасно... Пропадешь. Дуррак!.. А этот вон ждет... Прямо щас доставит в Сан-Диего. Я прямо... Гг... Го-ша...

гудок, короткие гудки

Щукин. Здравствуйте! У нас включен автоответчик. Пожалуйста, передайте свое сообщение и не забудьте сообщить номер своего телефона и время звонка. У вас есть минута после звукового сигнала. Благодарю вас.

низкий гудок

Одноруков. Это я. Ну, я двигаю в «Сан-Диего», я закончил тут. Ты где? Едешь? Подгребай, пожрем вместе. Да! Сейчас мне сюда, в машину, позвонил директор — какой-то пьяный под «пятерку» попал напротив ресторана. Дуррак! Ты вот что: запросишь по своей линии вечернюю сводку ГАИ, может, у них уже готова. Кто? Фамилия потерпевшего? В каком состоянии? Говорит ли? Узнаешь — и тогда выезжай, тогда больше ничего не задержит.

короткие гудки

3. ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ

Муж.
Жена.

М. Да, да!.. Да. Я услышал и запомнил. «Вооруженный ответ». Или «Бешеные псы».

Ж. И все?

М. Ну, если, конечно, хочешь — «Плохие девчонки».

Ж. Их ты хочешь.

М. Возможно. Еще «Женщина желания», «Богиня любви» или «Лесная развратница».

Ж. Хорошо. Пусть *(смеется)*.

М. Еще «Спать с чужой женой».

Ж. Это название кинофильма или установка на ближайшую неделю?

М. Для установки нам больше подходит «Воскрешение из мертвых». Мы женаты двадцать лет, и двадцать лет каждый вечер я возвращался домой, зная, что нельзя задержаться ни на минуту. Я могу пройти по своему ежедневному маршруту с закрытыми глазами: четыре остановки на метро, потом пешком сто сорок метров — за двадцать лет я не раз мог убедиться, что мой подсчет расстояния по шагам безупречен, потом шесть остановок на трамвае. Иногда, если я уходил с работы чуть раньше обычного, я позволял себе пройти эти шесть трамвайных остановок пешком. Тогда вслед за омерзительным гулом метро уже не сухой перестук трамвайных колес вставал у меня в ушах, а беспорядочный, но временами поднимающийся как волна шум стадиона, потом неизменная музыка в парке и семичасовые «Последние известия» из громогласной динамики, включенного день и ночь. Двадцать лет это было моим единственным развлечением. Зато я всегда знал о событиях вне стен нашего дома. Товарищ Леонид Ильич Брежнев посетил с дружественным визитом республику Индия... Вся страна скорбит о кончине Генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Леонида Ильича Брежнева... Курс на перестройку, взятый Михаилом Сергеевичем Горбачевым, остается неизменным... Начато расследование по делу членов ГКЧП...

Ж. Ты говоришь так, словно всего этого не происходило на самом деле.

М. Да, да! Конечно! Да... Как я могу поверить, что существует Индия? Что волосатые кокосы разом раскальваются пополам при ударе широким ножом, похожим на сечку для капусты? Что нежное молоко грузно падает из них, как тяжелая волна? Что волны... Что океан осторожно касается, чуть подойди, осторожно касается босых ног теплой, но одновременно и прохладной водою, и, если поднимешь взгляд, бездонная синяя чаша словно бы поднимается перед тобой, встает на кромке и покачивается в белесом мареве, вызывая восторг и ужас пред не имеющей границ вселенной? Жара... Маленькие коричневые женщины с вьющимися у щиколоток сари...

Ж. Женщины...

М. Женщины... Тем более нельзя предположить, что какой-то Брежнев или какой-то Горбачев может их увидеть. Существовал ли сам Горбачев? Я его совсем не знаю. Во всяком случае, он никак не мешал и не помогал ни мне, ни тебе, ни Алеше, а значит, если и существовал, то лишь в четвертом измерении, как инопланетянин, вне пространства и времени, вне нас... Двадцать лет проезжать четыре остановки на метро, потом проходить сто сорок метров пешком и затем еще проезжать шесть остановок на трамвае можно только тогда, когда инстинктивно полагаешь, что никакой другой жизни нет и не может быть.

Ж. А теперь тебе ничто не мешает воспользоваться свободой.

М. Нам не мешает.

Ж. Да, да. Конечно. Мы пойдем в кино. Правда?

М. Да, да.

Ж. Сначала мы подойдем к кассе, ты протянешь деньги в стеклянное окошко, такое узкое, что еле-еле можно просунуть руку, и получишь два бледно-синих билета с чернильными штампами, указывающими ряд и места.

М. Да. Возможно.

Ж. Все двадцать лет, которые я ждала тебя, я представляла, как это произойдет. Днем я не могла отойти от Алеши. Я грела воду и кипятила шприцы, ведь из поликлиники не могли приходиться каждые полчаса, а отдать сына в больницу навсегда мы не захотели. Он бы погиб там, погиб! Ему было необходимо постоянное внимание! Разве могут заменить мать злые медсестры, думающие только о парнях, нарядах и деньгах, улыбающиеся мертвыми кровавыми губами вампиров?

М. Да! Конечно! Да, да.

Ж. Я кипятила шприцы, потом мыла их с содой, чтобы очистить от мерзкого белесого налета — в водопроводной воде полно всякой дряни, потом растирала Алеше ножки, потом ставила компрессы... Потом стирала, мыла, готовила, снова мыла, ставила компрессы, кипятила шприцы, грела воду...

М. Да.

Ж. Ты каждый день, включая субботу, воскресенье и праздничные дни, уходил на работу, и я с надеждой и ужасом ждала твоего возвращения: с надеждой, потому что я вновь оказывалась один на один с болезнью, и с ужасом, потому что ко времени твоего прихода, в сумерках, у Алеши всегда начинались вечерние спазмы. Иногда мне хотелось, чтобы ты никогда не приходил, словно это ты приносишь в дом темноту. Материнский инстинкт оказывался сильнее разума. Но ты должен был уходить и возвращаться. Кем ты теперь работаешь?

М. Не помню... Не знаю. Моей работы не существует точно так же, как не существует Индии.

Ж. Я каждый день ждала твоего возвращения из несуществующей страны.

М. Теперь все кончилось. Теперь ты свободна.

Ж. Мы свободны (*смеется*). Свободны!

М. Да, да. Конечно.

Ж. Мы купим мороженое в фойе и съедим его, разглядывая развешенные по стенам цветные фотографии киноартистов — знаешь, те, на которых они стоят в неестественных позах, с напряженными лицами, тщетно изображающими радость. Я не сомневаюсь, что фотографии столь же пошлы, как двадцать лет назад. Возможно, они показывают тех же самых людей. Жужа мороженое, мы медленно пройдем вдоль стен фойе, разглядывая фотографии в ожидании фильма, в котором все эти пустые с тревожными глазами клоуны станут любить друг друга.

М. Возможно.

Ж. Да! Все так и будет.

М. Нет, нет. Нет. Я боялся тебе сразу сказать. Ни кассы, ни фойе больше не существует. Сегодня, проходя мимо, я видел, что на месте фойе — мебельный магазин. Там стоят диваны и шкафы, которых тоже нет, — нам их никогда не купить. И с мороженым в магазин не пускают. Билетов больше нет. Просто стоит девчонка у выхода из кинозала — там, с задней стороны кинотеатра, где помойка и гаражи, стоит девчонка и собирает деньги. Заплати и входи, садись куда хочешь. Очень просто. А люди, чьи изображения прежде висели на стенах... Наверное, их давно, давно нет... Извини, я устал. Я прилягу.

Ж. Значит, мы не пойдем в кино?

слышен телефонный звонок

Это Алеша!

М. Возьми, пожалуйста, трубку.

Ж. Да! Да!.. Какой еще митинг? Оппозиции? Не слышу... Против оппозиции? Не слышу. Какой оппозиции? Не слышу! Ты где? На какой ты улице?.. Иди домой! Алеша! Тебе нельзя долго на улице, тем более если

стоять! Алеша! Ты только вчера по-настоящему встал на ноги! Алеша, Алешенька!.. Нет, нет! Нельзя!

М. Да... Конечно...

Ж. Я прошу тебя! Мы с папой тебя просим!.. Да какая демократия, Господи! Где ты? Мы сейчас приедем!.. Не сейчас! Не-сей-час! Потом!.. Да! Конечно! Да! Хорошо, мы ждем.

слышно, как трубку кладут на рычаг

Обещал вернуться. Бессмысленно его искать. Ноги, говорит, прекрасно слушаются. На минутку, сказал, заглянет на митинг и вернется. Ты понимаешь? На митинг. Я последний раз была на митинге, когда приезжал Фидель Кастро. От института нас погнали, раздали по два флажка — наш, красный, и кубинский. В каком же это году было? Не соображу... Помню, не то осенью, не то весной, холодно еще было... Или уже. Я страшно, помню, замерзла, ноги заоченели, а Фиделя все не привозили и не привозили. А когда привезли, я так начала прыгать и размахивать флажками, чтобы согреться! А он увидел меня, подошел, наклонился через ограждение и поцеловал.

М. Ты мне никогда об этом не рассказывала.

Ж. От него очень сильно пахло чесноком, водкой и одеколоном, а борода оказалась мягкой, словно кошачья шерсть. И весь он походил на кота. Глаза круглые.

М. Никогда не рассказывала.

Ж. Кроме тебя, это был единственный поцеловавший меня мужчина.

М. Мужчина...

Ж. Теперь во мне ничего не осталось от той замерзшей девочки, ничего. Ни от девочки, ни от женщины. Инстинкт продолжения рода я удовлетворила, родив Алешу. Почему он родился больным? Может быть, я застудилась тогда, на митинге. В молодости я не носила ни теплых носков, ни колготок, только трусики, и то — одно название, что трусики, они почти ничего не закрывали. Тебе нравилось, ты помнишь?

М. Да.

Ж. Теперь, когда ты лежишь со мной, мне кажется, ты делаешь такую же однообразную работу, о которой тоже ничего не помнишь. Только знаешь, что тебе почему-то надо проехать шесть остановок на трамвае, потом пройти сто сорок метров пешком, а потом — еще проехать четыре остановки на метро. Каждый день я ждала твоего возвращения. Мы женились по любви. Мы любим друг друга.

М. Да. Да. Конечно.

Ж. В той стране, из которой ты возвращался, в той стране словно бы шла жизнь, и ты каждый вечер узнавал о ней из динамика, день и ночь не умолкающего в парке у стадиона... Я обязательно посмотрела бы индийский фильм «Любовь и слезы». Мне о нем рассказала медсестра лет пятнадцать тому назад... Выдуманная жизнь там, куда любят ездить люди из паркового динамика... Значит, «Любовь и слезы» — выдумка в квадрате, в кубе! Той страны, ты говоришь, не существует, тех людей никогда не было, а теперь я думаю, что нет ни любви, ни слез. Но мне жаль, что нет океана, который касается босых ног теплой, но одновременно и прохладной водою. Я хотела бы увидеть бездонную синюю чашу, что поднимается в белесом мареве, покачивается на кромке... Испытать восторг и ужас пред не имеющей границ вселенной.

М. Ну, не знаю... Может быть... Теперь... Я слышал там, в парке, рекламу... Можно купить путевку. Кажется, теперь это не так сложно, как раньше. Я мог бы продать пальто, зима будет теплая, и я больше не стану ходить пешком. Зачем мне пальто? Говорили про путевки: дешевле только даром. Сколько сейчас стоит пальто?.. Ты действительно хотела бы? В самом деле?

Ж. Да. Теперь, когда Алеша стал взрослым.

М. И сразу начал самовольничать. Так нельзя.

Ж. Я устала, я прилегла и заснула. Проснулась — записка. Ты же держишь ее в руках. Алеша нет (*смеется*). Извини, это, я думаю, нервное (*смеется*). Извини. Я проснулась, а он ушел. Понимаешь? Ушел гулять! Мой взрослый сын ушел гулять! (*смеется*) Я проснулась свободной. Я свободна!

М. Мы свободны.

Ж. Да! Да!

телефонный звонок

М. Возьми трубку... Пусть идет домой. Понятно, что парня инстинктивно потянуло на улицу. Это естественно. Но уже хватит на сегодня. И будем ужинать. Сегодня, знаешь, давай никуда не пойдем. Я устал.

Ж. Да? Да. Кто?... Какая Анна Валентиновна?... А! Конечно, помню! Да помню! Это я просто забыла! (*смеется*) Извините!

М. Кто это?

Ж. Не мешай... Здравствуйте, Анна Валентиновна...

М. Не могу поверить. Непривычно.

Ж. Тавегил или супрастин... Стекловидное тело в ампулах... Ну, можно по два кубика, это зависит от массы тела. Масса-то растет... А от бинтов. У нас никогда не было компрессной бумаги. Такая хрустящая бумага от бинтов, надо только аккуратно разворачивать, чтобы не порвать... Не знаю, в аптеку всегда заходит муж по дороге с работы, я не знаю, сколько стоят бинты... Да. Конечно, муж дома, он всегда в это время возвращается. Сын вот гуляет, сын!.. А вот выздоровел. Встал и пошел гулять!.. Какие события?..

М. Я проезжал четыре остановки на метро, потом шел пешком сто сорок метров, потом, если не надо было заходить в аптеку, садился на трамвай. Потом ужинал и ложился, зная, что на сегодня — все, все... Коричневое верблюжье одеяло я помню с детства, мать привезла одеяло из эвакуации из Ташкента. Кто знает, какой этот Ташкент... И мой сын запомнит одеяло с детства... Больше никаких доказательств, что Ташкент существует... Иногда я разговаривал с сыном. Рассказывал сказки... Дикие лебеди... Синдбад-мореход... Между уколами... Лягушка-путешественница... Пока сам не начал засыпать...

Ж. У нас нет телевизора, Анна Валентиновна (*смеется*). Если прервут передачи, мы даже не заметим!..

М. «Лесная развратница»... «Богиня любви»... «Женщина желания»... Я не поеду ни в какую Индию...

Ж. Боже мой!.. Он сам видел? Да, конечно! Конечно!.. Да! Спасибо, Анна Валентиновна!

слышно, как трубку кладут на рычаг

Вставай, вставай! Слышишь? Вставай!

М. Я не поеду. У меня нет никаких желаний. Каждый день я прихожу и ложусь ничком или навзничь, словно житель ГУЛАГа... «Пробуждение из мертвых»... Ты знаешь, что зеки почему-то не могут спать на боку? Я ложусь ничком и тут же засыпаю. Ты... Ты знаешь, что... Ты поезжай с Алешей вдвоем. Я устал. За двадцать лет я полностью отработал инстинкт продолжения рода и больше ничего не хочу. Только лечь и лежать.

Ж. Что ты несешь?! Муж Анны Валентиновны видел сейчас Алешу! На улице!

М. Очень рад.

Ж. Боже мой! (*плачет*) Сначала он подумал, что это не он, а потом, когда я сказала, что он ушел, и она ему сказала, он сказал, что, значит, это он был!

М. Ничего не понял. Кто кому что сказал?

Ж. (*плачет*) Муж! Муж!

М. Ну? Ну, муж. Ну?

Ж. Эта толпа, он сказал, поехала брать штурмом телецентр! Телецентр, понимаешь? Останкино! Откуда телевидение. Башню эту, я не знаю! С автоматами, он сказал! Штурмом! А если толпа свободно бросается куда-то с автоматами... Совершенно свободно! Понимаешь, он сказал, они поехали совершенно свободно! И там он видел Алешу! (*плачет*) Алеша! Алешенька!

М. Я сейчас пойду. Ну, кино! С башни этой, наверно, и радио тоже транслируют, да? Где моя куртка? Ты сиди здесь, может, он позвонит.

слышно, как хлопают дверцы шкафов

Он ушел в моей куртке.

слышны шаги, дверцы хлопают

И сапоги старые взял мои. Что ж одеть-то?

дверцы хлопают

Ж. Скорей! Иди в пальто! А может, вдвоем? Зайдем с двух сторон, а?

М. Не могу поверить... Всегда мне казалось, что радиоволны, которые исходят из паркового динамика, рождаются на какой-то другой планете... Нет, ты сиди здесь. Что там с двух сторон... Бессмысленно... А теперь, значит, стоит вполне реальная башня, которую собираются взять штурмом. Не верится... Не может быть. Как это взять штурмом башню? Там и нет ничего, бетон и арматура... Как ее взять? Зачем? Что с нею делать?

Ж. Алеша... Алеша...

М. Ты давай пока полежи. Прими что-нибудь. Ты бледная.

Ж. Он погибнет! Погибнет!

М. Да ну! (*смеется*) С какой дикой радости? Из-за того, что где-то якобы стоит какая-то якобы башня и какие-то люди, полагающие себя на самом деле существующими, поехали к этой якобы существующей башне с автоматами в руках? Надо просто раз и навсегда принять за аксиому: ничто и никогда в нашей жизни не может измениться, а если ничто не меняется, то, значит, ничто и не существует. Как можно погибнуть от пуль несуществующего автомата? Сама посуди.

Ж. Да, да. Конечно. Да... Я лягу. Накапай мне валокордина. Там, в холодильнике на стенке. Двадцать капель.

шаги, хлопает дверца холодильника

Мне кажется, у нас уже нет сына (*плачет*). Я проснулась, а его нет. Какой страшный, тяжелый сон!

М. Раз, два, три, четыре... Не капается... Пять, шесть, семь...

Ж. Надо звонить в милицию.

М. Да перестань! Какая милиция? Десять, одиннадцать... Сейчас пойду и приведу его. Смотри — время ставить компресс, и три укола он уже пропустил.

Ж. Но ведь власти должны распорядиться! Секретарь там или президент, я не знаю! У нас ведь сейчас президент? Дети едут с автоматами...

М. Успокойся, родная. Восемнадцать, девятнадцать, двадцать. На, выпей... Никаких президентов не существует. Пару раз в неделю я проходил мимо парка. В любую погоду. Я слушал и понял: все, чего желают те, кто вечно ездит в Индию, — это возможность ездить в Индию и возвращаться, то есть оставаться на месте. Они заинтересованы в том, чтобы ничто не менялось, значит, их не существует. Я же говорил тебе... У них нет никаких желаний! Глупцы! Человек, не имеющий желаний, никакой власти не может осуществить. Ему остается только плыть по течению. И он неизбежно все потеряет. Хотя тысячи обманутых дураков возьмут штурмом тысячи железобетонных башен. Радио в парке станет называть покотившего в Индию другим именем, и больше ничего. А те, с автоматами, обязательно разойдутся по домам. Нам надо надеяться лишь на самих себя. Тебе на меня, а мне на тебя, как и всегда.

Ж. Алеша... Где Алеша?.. Сердце болит.

М. Сейчас я пойду... Они врут там, в динамике. И поэтому я совершенно спокоен. Ничего не случится.

Ж. У нас больше нет сына. Я знаю. Словно и не было.

М. Вздор! Бабы глупости.

Ж. Нет, нет... Ты же знаешь — я не глупа. Поэтому ты на мне и женился.

М. Да, конечно. Я люблю тебя.

Ж. Двадцать лет каждый день ты вставал в шесть часов и уходил и всегда возвращался. Это все, что ты мог для нас сделать. Неправда, что иногда я хотела, чтобы ты не приходил, неправда! Я начинала волноваться, когда ты хотя чуть задерживался, и у Алеши начинался приступ, потому что я волновалась.

М. Я шел пешком, чтобы послушать новости в парке.

Ж. Да, да... Как сердце болит...

М. Ты лежи, не вставай.

Ж. Ты приходил каждый день. Даже, помнишь, когда тебя задела машина, ты вошел в дверь скособоченный, хромая, весь в грязи... Тогда ты кое-как перевязался и сразу отправился за медсестрой, потому что у Алеши начались совсем невозможные боли... А наутро ты встал и ушел, как всегда. И, помнишь, когда у тебя было воспаление легких, ты все равно уходил и возвращался каждый день... И никаких осложнений, слава Богу... Как сердце болит... Если бы не ты, я бы не выдержала, нет.

М. Перестань. Все так живут. Все. Даже если бы у нас не было сына... Только предположить такую нелепицу...

телефонный звонок

Ж. Алеша!.. Ох!

М. Ты не вставай... Слушаю! Алло! Алло!.. Ничего не слышно. Алексей? Не слышно...

Ж. Хоть что-нибудь! А? Хоть один звук.

М. Алло!.. Нет, не слышно, словно с пустотой говоришь... Алло, Алексей! Если это ты, ты слышишь? Немедленно иди домой! Наше метро ты знаешь... Потом шесть остановок на трамвае... Алексей? Я выхожу тебя встречать к метро... Разъединилось.

слышно, как трубку кладут на рычаг

Надеюсь, он услышал... Ходит совершенно свободно по городу... Куда хочет... Так нельзя.

Ж. Боли могут возобновиться в любой момент. Упадет на улице. В грязь.

М. Нельзя... Ходит свободно... Куда хочет... Делает, что хочет... Не могу поверить. Непривычно.

Ж. Сердце болит, милый. И здесь, под горлом, словно игла... Сейчас валокордин действует... Странное ощущение: хочу плакать, а слезы не идут. Странно, правда?

М. Да, да. Ты лежи. Вон ты бледная какая. Руки холодные у тебя. Сейчас пройдет. Ничего не может случиться, ничего.

Ж. Да, конечно. Да. Каждое утро ты будешь затемно вставать, бриться, быстро съедать завтрак — на скорую руку, сосиски или крутое яйцо. Потом ты уйдешь на работу, а я стану тебя ждать, стану мыть, чистить, готовить... Я буду вспоминать, как перед уходом ты поспешно брал меня — так, словно делал свою ежедневную работу, о которой ничего не хочешь знать. Утром ты спешишь, а вечером у тебя не остается сил. Если представить на минуту, что у нас нет сына, предположить такую нелепицу... Словно мы всегда были совершенно свободны... Что-то... трудно дышать... Мы могли бы пойти в кино. Правда, кинотеатра, ты сказал, больше не существует. Но посмотри, разве мое тело за двадцать лет изменилось? Я словно не жила, такая же, как двадцать лет назад, такая же, как женщина желания или богиня любви. Я не могу быть похожей только на лесную развратницу. Лесных развратниц нет ни в одном индийском фильме.

М. Да, милая. Да, да.

Ж. Но Индии не существует... Поцелуй меня. Нет, не в губы. В лоб, тихонько поцелуй... Да, так...

телефонный звонок

М. (тихо) Да. Алло... Она спит. Подождите, я посмотрю... Нет, заснула. Спит. Нет, не разбужу. Она, знаете, сегодня намучилась, наволновалась. Обычно она тяжело дышит во сне, а сейчас даже дыхания не слышно... Что? На чем, вы говорите, найдена записка? Вы кто?.. (кричит) Я сейчас приеду! Сейчас немедленно приеду! Мне только шесть остановок до метро! Сейчас! Я уже готов и немедленно выхожу! Немедленно! Прямо сейчас! Да!.. Да! Понял! Сейчас!

слышно, как трубка падает на рычаг

Сейчас пойду... Сейчас... Встану и пойду... Прямо сейчас...

« Как редко теперь пишу по-русски... »

ИЗ ПЕРЕПИСКИ В. В. НАБОКОВА
И М. А. АЛДАНОВА

Внимание читателей предлагается переписка Владимира Набокова и Марка Алданова 1940—1956 гг. Говорить о популярности этих двух писателей в сегодняшней России — это значит, кажется, повторять общие места. Отмечу только, что именно журнал «Октябрь» первым в 1986 году познакомил отечественную читающую публику с лирикой Набокова, что на его страницах в судьбоносном 1991 г. появился роман Алданова о ленинской эпохе «Самоубийство», а другой его роман, «Начало конца», вообще был впервые напечатан полностью по-русски в «Октябре» в 1993 г.: при жизни автора он увидел свет в английском переводе и был удостоен в США престижной литературной награды, но на русском языке печатался только в эмигрантских журналах в сокращенном виде.

Переписка Алданова и Набокова никогда не печаталась и за пределами нашей страны. Общепринятый взгляд, что в художественном творчестве писатель скрывается за созданными им персонажами, а в переписке выступает от первого лица, сбросив маски, справедлив не во всех случаях. Набоков в письмах тот же, что и в своей прозе. Очень близка, например, ироническая тональность изображения нравов эмигрантских литературных собраний в его «Даре» и в его письме Алданову от 18 апреля 1955 г. Алданов же в художественных произведениях язвительный остроумец, эрудит, а в переписке иной, гасит свои обычные резкие сатирические краски. Тому была веская причина: он, издатель журнала, стремился объединить людей разных воззрений, заставить их забыть разногласия, делать общее дело — ирония здесь была бы не к месту.

Письма из фондов Алданова относятся к сороковым и пятидесятым годам, хотя переписка двух писателей, несомненно, началась раньше. У Алданова был обычай сохранять все письма, что он получал, а также машинописные копии своих ответов. Но летом 1940 г. гитлеровцы заняли Париж, его архив был уничтожен, а ему самому пришлось бежать на юг Франции, в Ниццу, где не было немецких войск. Вскоре последовало второе бегство — через океан, в Соединенные Штаты. Несколько раньше проделал свой путь в Америку Набоков. Первое письмо, что мы ниже публикуем, датировано 30-м июля 1940 г.: Набоков уже в США, Алданов хлопочет о визе. По-видимому, сразу по его получении Набоков делает короткую приписку в письме к Алданову историка, профессора Гарвардского университета М. М. Карповича (14 августа 1940 г.).

Эти два документа печатаются по рукописям, хранящимся в Российском фонде культуры в Москве. Все нижеследующие — по текстам, хранящимся в Бахметевском архиве Колумбийского университета (Нью-Йорк, США).

О Бахметевском архиве следует сказать особо. Он назван по имени своего основателя Б. А. Бахметева, крупного ученого в области гидравлики, посла Временного правительства в США, позднее профессора Колумбийского университета, известного мецената. Когда в 1948 г. в руки большевиков попал Русский заграничный исторический архив в Праге, возникла надобность в создании нового эмигрантского архива. Бахметев выступил энтузиастом этого проекта и положил начало сбору средств. В оргкомитет вошли Алданов, И. А. Бунин, историки М. М. Карпович, Б. И. Николаевский и В. А. Маклаков, А. Л. Толстая.

Бахметев скончался 21 июля 1951 г. 19 октября того же года Алданов писал В. А. Маклакову: «Весь смысл идеи покойного Бориса Александровича заключался в том, что основанный нами семью архив в случае освобождения России будет переве-

ден в Москву. Иначе его и основывать бы не стоило». Русский архив согласился принять на хранение Колумбийский университет, и Карпович сообщил Алданову 31 октября 1951 г., что хранители «...согласны и на условие насчет передачи этих материалов будущему правительству свободной России, если такое пожелание кем-либо будет высказано». Из писем Алданова Б. И. Николаевскому: «Как Вы, конечно, знаете, Мосли согласен на отдачу частных архивов в Москву или Петербург после освобождения России» (12 января 1952 г.). «Да, так и надо будет поступить: впоследствии передать Академии наук» (22 января). Насколько известно, договоренность о дальнейшей судьбе архивов была достигнута только в устной форме, не имеется и завещания кого-либо из жертвователей, связанного с возвращением рукописей в Россию после освобождения страны. В 1975 г. архив был наименован Бахметевским. В наши дни Бахметевский архив — крупнейшее в мире собрание русских документов за границей. Пока не предпринимается никаких шагов для передачи его сокровищ в Россию. Однако многие специалисты-историки из стран СНГ регулярно работают в его читальных залах.

Я сказал «сокровищ» — это не преувеличение: здесь собраны рукописи сотен выдающихся эмигрантов — деятелей культуры и искусства, политиков, ученых, военных. Некоторые наши соотечественники, отправляясь на чужбину в годы революции и гражданской войны, увозили с собой драгоценные семейные реликвии, такие, как рукописи Лермонтова и Александра Бестужева; проходили десятилетия — эти рукописи попадали в архив. В Бахметевском архиве имеются фонды семьи Герценов, семьи Набоковых, издателя «Вестника Европы» М. М. Ковалевского, генерала А. И. Деникина, философа С. Л. Франка, реформатора театра Н. Н. Евреинова — всех не перечесать!

По гранту американской корпорации IREX я получил возможность в 1994—1995 гг. длительное время поработать в Бахметевском архиве, главным образом над бумагами Алданова. Их там тридцать шесть коробок большого формата, в каждой около тысячи листов. Четырнадцать коробок отведено переписке. Многие письма напечатаны на машинке на двух сторонах листа через один интервал.

Никто из отечественных или зарубежных исследователей никогда систематически не изучал этот огромный материал. Но его значение далеко выходит за рамки дополнительного материала к биографии писателя, он по-своему характеризует целую эпоху русской культуры. Помимо Набокова, среди корреспондентов Алданова писатели Георгий Адамович, Борис Зайцев, Георгий Иванов, Михаил Осоргин, художники Илья Репин, Марк Шагал, Мстислав Добужинский, композитор Сергей Рахманинов, актеры Аким Тамиров и Михаил Чехов, западные знаменитости Сомерсет Моэм, Клаус Манн...

Как известно, расцвет эпистолярного жанра в России приходится на 1830-е годы: впервые в стране начали писать письма на русском языке (до этого переписывались на французском); сразу же возникла мода на частые частные письма, письма стали неотъемлемой частью художественной литературы, их включали в свои произведения и поздний Пушкин, и Марлинский. Одовеский и молодой Тургенев писали романы, повести, целиком состоящие из писем. Гоголь развязку «Ревизора» связал с перехватом в почтовом ведомстве письма Хлестакова. Золотой век русской эпистолярной прозы возник на исходе Золотого века литературы.

Теперь мы можем констатировать бесспорное положение: у русской эпистолярной прозы был еще и Серебряный век. Он тоже возник на исходе Серебряного века литературы, но ограничился только зарубежьем, в тоталитарном Советском Союзе его, по вполне понятным причинам, не было. Когда эмиграция разбросала по свету тысячи лучших людей страны, они вынуждены были отказаться от давней привычки постоянного личного общения и попытались его заменить регулярной перепиской. В архивах деятелей культуры русского зарубежья переписка занимает огромное место. Алданов, в частности, в последние годы своей жизни в среднем писал и получал по четыре письма в день! Длинные многостраничные письма менее всего были связаны с подробностями каждодневного быта, центральное место в них занимали судьбы эмиграции, России, русского искусства. В последние годы художественные произведения писателей-эмигрантов прочно вошли в круг чтения образованных россиян, но их переписка еще ждет публикации. Вполне естественно, до нее, как говорится, часто не доходили руки у зарубежных русских издателей. Хотя бы частично восполняя этот пробел, журнал «Октябрь» предполагает поместить в одном из ближайших номеров материалы переписки Алданова с Бунинным, а затем странички переписки других мастеров русской литературы и культуры в изгнании.

Один из них, Ю. Иваск, афористически сформулировал: «Эмиграция всегда несчастье, но далеко не всегда неудача». Разлука с родной языковой стихией заста-

вляла острее чувствовать силу и красоту родного языка. Уединение способствовало творческой работе, неспешному, бережному отношению к тексту. Они ближе знакомились с европейской культурой, им становился присущ европеизм. На чужбине не приходилось рассчитывать ни на славу, ни на богатство. В нью-йоркском «Новом журнале» в бытность Алданова редактором, например, гонорар составлял всего-навсего один доллар за страницу художественной прозы и семьдесят пять центов за страницу публицистики. Что до славы, откуда ей было взяться, когда тираж исчислялся сотнями, а не тысячами экземпляров, причем книга по цене многим компатриотам оказывалась недоступной. Писатель оставался без читателя, стимулом творчества становилось только «не могу не писать», осознание призвания, миссии. Свое произведение, как запечатанную бутылку с посланием, автор бросал в волны истории, уверенный, что придет и для нее свой черед в России.

Из того же источника, убежденности в своей правоте — «правда на нашей стороне», — происходила и бережность писателей к старым письмам. Сдавая их в архив, Алданов ставил лишь такое ограничение: пока живы отправитель и получатель или хотя бы один из них, чтение и публикация для третьих лиц запрещены.

Но в 1943 г., готовя для публикации в журнале статью М. В. Вишняка, в которой широко использовались фрагменты из писем скончавшегося в 1939 г. В. Ф. Ходасевича, Алданов столкнулся с проблемой: в письмах содержались негативные, порой уничижительные оценки ряда здравствующих или совсем недавно умерших литераторов. Снять эти оценки означало бы, пользуясь его выражением, «фальсифицировать» письма, а оставить их значило бы бросить тень на достойных людей. Алданов предпочел первое. 27 ноября 1943 г. он писал Вишняку: «Я отнюдь не уверен, что Ходасевич хотел бы увидеть напечатанным все им сказанное. В конце концов, в «Возрождении» он почти все это мог напечатать (или значительную часть) и не напечатал. Мало ли что пишется в письмах». В письме к Е. Д. Кусковой от 3 сентября 1956 г. он возвращался в более общем плане к той же теме: «Кое-что, особенно личное, опускать можно и нужно; отказаться же от воспоминаний о важных делах, по-моему, нельзя».

За давностью лет надобность в кутюрах резких и несправедливых оценок отпала, «река времен в своем стремленьи уносит все дела людей» (Г. Р. Державин). Но надобность сократить при публикации писем личное, важное только для двух корреспондентов остается, по крайней мере для журнальной публикации. По этому пути было решено пойти и в публикации, предлагаемой ниже.

Приношу глубокую благодарность Бахметевскому архиву Колумбийского университета и Библиотеке-архиву Российского фонда культуры.

Имею удовольствие представить известного американского слависта, автора монографии «Романы Марка Алданова» профессора Николааса Ли: он ниже делает подробный анализ переписки.

Андрей ЧЕРНЫШЕВ,
профессор МГУ.

II

Брайан Бойд дает характеристику взаимоотношений между Алдановым и Набоковым в своей книге «Владимир Набоков: Русские годы» («Vladimir Nabokov: the Russian Years», Princeton University Press, Princeton, NJ, 1990, p. 392): «...истинная дружба людей двух совершенно различных характеров. Алданов, химик по образованию и автор исторических романов, был по природе своей дипломатом и дельцом от литературы. Он испытывал благоговейный трепет перед талантом Сирина, но в то же время страшился его, как страшился всего колкого и непредсказуемого. Со своей стороны Сирин, отдавая должное интеллигентному скепсису Алданова и искусному построению его романов, понимал, что в этих романах нет магии, изначально присущей большому искусству. Однако он был всегда благодарен другу за искреннюю заботу и дельные советы, касающиеся публикаций произведений».

В письмах Алданова тоже нет магии, в то время как набоковские так и блистают игрой слов. Он спрашивает: «Правда ли, что умережковский?» (3.I.1942.) Он радостно сообщает: «Я впервые остишился по-английски» (20.X.41), он терпеть не может «беллетристуающих дам» (20.V.42). Отпуск он проводит «...на западе от Елостонского парка (ели стонут!)» (15.VIII.51). Он заявляет: «Я решил осалтыковать свою подпись» (б/м, б/д), хотя и подписывался «Набоков-Сирин» вот уже годы.

В письмах Набокову Алданов старается преодолеть резкие различия в характерах, настаивая, что не надо судить других писателей со своей колокольни. Особенно рьяно защищает он этот принцип, когда Набоков критикует недостатки композиции прозы Бунина: «Не стоит нам спорить, но нельзя, думаю, попрекать писателя отсутствием того, что он отрицает и ненавидит, — Вы знаете, что он композицию называет «штукатурством» (13.V.42).

Судя по переписке, нельзя с уверенностью ручаться, что Алданов так уж благоговел перед даром Набокова и опасался его колкости и непредсказуемости. Резкие и субъективные суждения в письмах Сирина могли устроить кого угодно, но Алданов обнаружил изрядную выдержку и дипломатичность, столкнувшись с нападками Набокова на начальный отрывок из романа Александры Толстой «Предрассветный туман», опубликованный в первом номере «Нового журнала». В деликатности Алданова по отношению к Набокову сквозило нечто большее, нежели испуг или условный рефлекс редактора, укрощающего слишком уж темпераментного автора, — вот когда проявилась истинная суть дипломата и дельца от литературы. Посылая книгу «Нового журнала» Набокову, Алданов пишет: «Напишите, пожалуйста, откровенно Ваше впечатление обо всем...» — и тут же добавляет: «Не судите слишком строго» (18.I.42). Получив ответ со строгим судом, он не отмечает с порога вербальные дерзости Набокова: «Я чрезвычайно огорчен и даже расстроен(...), я совершенно изумлен»; одно из язвительных замечаний Сирина «меня немного удивило(...)», другое «совершенно меня поразило(...)» (23.I.42). Набоков делал уличные выпады: «Откровенно Вам говорю, что знай я заранее об этом соседстве, я бы своей вещи Вам не дал — и если «продолжение следует», то уж, пожалуйста, на меня больше не рассчитывайте». Алданов, однако, уклоняется от прямого ответа: «Позвольте мне считать, что Вы или пошутили, или сказали это сгоряча(...), и я не могу допустить, что Вы это говорите серьезно». Литературный дипломат бросается уверять Сирина: «Вы наше главное украшение. Вы отлично знаете, какой я Ваш поклонник(...)», но делец от литературы, сидящий в нем, знает, что «Новый журнал» выживет как с Сириным, так и без него: «Я думаю, что «Новый журнал» будет существовать, и твердо надеюсь, что Вы лучшим его украшением и останетесь». Алданов не проявляет уклончивости или неискренности, когда благодарит Набокова за его вклад в «Новый журнал»; он предпологает, что Сирин специально умолчал, что его «Ultima Thule» и рассказ Бунина «В Париже» являются украшением первого номера лишь с целью «меня подразнить». Он слишком хорошо знает своего друга, чтоб усомниться в искренности его гнева, — Набоков всегда очень яростно реагировал на любые антисемитские выпады (жена его, как и сам Алданов, была еврейского происхождения), — нет, гневная тирада даже доставила ему удовольствие сама по себе. Алданов защищает «Новый журнал» в целом, и Толстую в частности, и делает это вдохновенно и одновременно скрупулезно, подробно, взвешенно и убедительно. В своих нападках на Толстую Набоков наносит пару ударов ниже пояса и самому Алданову: «Дорогой мой, зачем Вы это поместили? В чем дело? Орел Ясный Поляны? Ах, знаете, толстовская кровь? «Дожидавшийся Облонский?» Нет, просто не понимаю...» Алданов, некогда заявивший, что «божественная природа толстовского гения для меня больше, чем обычная литературная метафора» («Загадка Толстого», Берлин, издательство И. П. Ладыхникова, 1923, стр. 61), не мог не возмутиться насмешкой над своим литературным божеством: «Мы с Вами так и не могли никогда договориться об основных ценностях: ведь Вы и отца Александры Львовны считаете непервоклассным писателем, — «во всяком случае, много хуже Флобера» (23.I.42). Прочитав книгу Набокова о Гоголе, он позволяет себе пошутить: «А «холливудских имен» у Толстого я, разумеется, никогда, до последнего дня, не прошу» (15.IX.44). Однако же когда его святыни не оскверняются, Алданов реагирует на раздражение Набокова с присущим ему хладнокровием, закаленным также опытом рыбной ловли в «Новом журнале»: он столь же необидчив как редактор, сколь необидчив как автор.

Дипломатия Алданова срабатывает. Несмотря на угрозы распрощаться с «Новым журналом», в следующем же номере Набоков публикует свои стихи. Он продолжает язвительные ремарки, но несколько смягчает остроту жала: «Не принимайте, дорогой друг, этих резкостей к сердцу» (6.V.42), хотя порой взрывается снова. Прочитав поэтическую подборку в 7-м номере «Нового журнала», он дает волю накопившемуся раздражению: «Так-с. Отдыхался» (8.V.44). Сделавшись теперь прежде всего американским писателем, не имея особой нужды в публикациях в «Новом журнале», Набоков признает его важность и заслуги: «Да, было бы очень жаль, если б журнал прекратился. Мне кажется, что если хоть одна строка в любом журнале хороша, то самым этим он не только оправдан, но и освящен. А в

Вашем журнале много прекрасного» (20.V.42). Он и дальше продолжает сотрудничать с «Новым журналом».

Литературная дискуссия между друзьями продолжается, в этом заслуга дипломатии Алданова.

После инцидента с «Предрассветным туманом» в целой серии писем оба они, и Набоков и Алданов, излагают свои литературные взгляды более открыто, чем прежде. Алданов язвительно осведомляется, готов ли был бы Набоков публиковаться в одном журнале с «полоумным, полупьяным и полубразованным» ярым антисемитом Блоком (13.V.42). Набоков склонен извинить Блока, исходя из «ментелити» последнего, затем заявляет: «совершенно согласен с Вашей великолепной оценкой», — и добавляет к ней «полушаман» (20.V.42). На это Алданов отвечает, что Блоку не был присущ пророческий дар шамана (31.V.42). Они продолжают поддразнивать друг друга, пустившись в бесконечную дискуссию о достоинствах Флобера и его Эммы Бовари versus Толстой и Анна Каренина.

Алданов не только дипломат от литературы, но и миротворец в более широком смысле этого слова. Его постоянная близость к Сирину и Бунину, столь разительно не похожим на него и друг на друга, являет собой образец толерантности, которую он пытается привить Набокову. В одном из писем он настаивает: «Нет, нет, дорогой друг, не отрицайте, Лев Николаевич был не без дарования» (13.V.42). В другом, делаясь новостями о Бунине, добавляет: «ведь я знаю, что в душе у Вас есть и любовь к нему» (13.VIII.48). Дипломатия Алданова как редактора — одна из форм проявления его гражданской ответственности, которую он практикует и проповедует в своих произведениях. И вся его преданность идеалам примирения между враждующими писателями и враждующими народами выражается в следующих словах: «Что ж делать, меня сейчас не интересует ничто, кроме происходящих в мире событий, и я одинаково удивляюсь Бунину и Вам, что можете писать о другом, и так чудесно писать» (13.V.42).

Возвращая Набокова, Алданов постоянно, во многих письмах ниспровергает себя, не устает благодарить за похвалы в свой адрес. Он смакует одно из остроумных сравнений Набокова, заимствуя и развивая его. Фраза Набокова: «Эмиграция в Париже похожа на приземистые и кривобокие остатки сливочной пасты, которым в понедельник придается (без особого успеха) пирамидальная форма» (8.VII.45), обретает в его ответе типично алдановский афористичный оборот: «Ничего не могу написать Вам о парижской эмиграции. Мои сведения и впечатления совпадают с Вашими, и мне очень, очень тяжело. Я эту сливочную пасту в ее воскресном виде очень любил» (16.VII.45). Несколько лет спустя он снова возвращается к старой остроте, еще более «алданизирует» и перифразирует ее, явно испытывая наслаждение: «Вы мне года два назад писали, что парижская эмиграция напоминает Вам сливочную пасту, которой в понедельник пытаются ножом придать прежний воскресный горделивый вид. Как Вы были правы! Я много раз вспоминал эти Ваши слова. Многие мог бы Вам об этом писать, да не хочется. Не раз цитировал эти Ваши слова в разговорах и письмах» (13.VIII.48).

Впрочем, восхищение Алданова не лишено доли критичности. По прочтении книги Набокова о Гоголе он делает ее автору восторженный, но довольно общий комплимент: «Это очень блестящая и остроумная книга, одна из Ваших самых блестящих», прежде чем начать со всей присущей ему дипломатичностью: «Солгал бы Вам, если бы сказал, что с ней согласен. У меня возражения к каждой странице» (15.IX.44). Той же тактики придерживается он и в отношении «Лолиты» — сначала довольно прямолинейный и неконкретный комплимент: «Тот же Ваш огромный удивительный талант», — затем следуют осторожные оговорки: «В давнем письме ко мне (30.IV.56) Вы, помнится, назвали эту книгу «нежной». С этим мне согласиться было бы трудно — если Вы это сказали серьезно» (25.IX.56).

В одном из писем Набоков позволяет себе покриковать собственное произведение, в трех других рассыпается в похвалах самому себе. В последнем случае речь идет об «Истинной жизни Себастьяна Найта»: «Я горд этой книжкой, как тур де форсом — и чисто волевым явлением» (20.X.41). И: «нежная и яркая» (30.IV.56) «Лолита», «развитая и открытая форма моего старого рассказа «Волишебник» (31.VIII.55). За его комплиментами Алданову часто скрывается то, что Бойд называет «нетерпеливостью воображения» («Vladimir Nabokov. The American Years, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1991, p. 180). Хвала Алданова, он употребляет стереотипные, ни к чему не обязывающие прилагательные: «блестящий», «великолепный», «необыкновенный». Его восхваления сопровождаются порой оговорками или мелкими замечаниями по ряду деталей, порой из вторых рук, порой даже двусмысленными. Самые громкие похвалы, которым он посвящает целое

письмо, заслужила книга философских диалогов Алданова «Ульмская ночь». Панегрик настолько парадоксален, что наводит на мысль: а не бросился ли Набоков писать это письмо сразу после того, как только отыскал единственный живой образ, даже не дочитав книгу до конца: «Пишу Вам только два слова между двумя лекциями — только чтобы сказать Вам, что во время случайного досуга (в поезде между Итакой и New York'ом) я прочитал вашу «Ульмскую ночь». Я был взволнован этой вашей самой поэтической книгой — ее остроумие, изящество и глубина составляют какую-то чудную звездную смесь — именно «ульмскую ночь» (10.X.54).

Отметив, что Набоков не уставал благодарить друга за заботу и советы по публикации рукописей, Бойд резюмирует: благодарность и доброта взаимны. Да, действительно, Набоков имел причину быть в высшей степени благодарным Алданову. Когда Алданова пригласили читать курс лекций по русской литературе в Стенфордский университет, он отказался и рекомендовал вместо себя Набокова. Тот принял предложение, получил визу — с этого и началась его карьера в Америке. Он выражает свою благодарность в письме о койотах, которых видел в Аризоне: «Без Вас никогда бы не увидел тех койотов» (Пало Альто, без даты, предположительно середина лета 1941). Со своей стороны и Алданову тоже предоставилось несколько поводов благодарить Набокова. Из Ниццы Алданов просил его помочь напечатать рассказ «Каид» в одном из американских еженедельников; позднее вызывался узнать, не может ли его издатель рекомендовать Алданову какого-нибудь литературного агента в Европе.

Дружба писателей выдержала проверку временем. Их отношения завязались еще в Берлине в двадцатых годах, когда самыми близкими Набокову писателями были Фондаминский, Ходасевич и Алданов («The Russian Years», p. 392). Первые двое умерли до 1945 г., связь между двумя оставшимися в живых укрепилась. Набоков вспоминает о русской эмиграции в Париже: «Помните, как Вы меня бранили за пародии в «Даре»? Как это уже все далеко» (5.X.41). Цитирует Пушкина: «Дорогой друг, как хочется с Вами побеседовать о «буйных днях» Парижа, о Шиллере — нет, только не о Шиллере» (6.VIII.43). Алданов хочет прочесть «Лолиту», отчасти потому, что основой для романа послужил старый рассказ Набокова «Волшебник», он пишет: «Буду вспоминать Ваше чтение у Фондаминского в 1939 году» (15.V.56, ср. «The Russian Years», p. 513—14).

Еще одним ностальгическим звеном, укрепляющим их связь с тех пор, как Набоков стал писать по-английски, стал русский язык. В октябре 1941 г., представляя на рассмотрение «Нового журнала» «Ultima Thule», Набоков пишет о своей двойной лингвистической жизни: «Странно заниматься опять «великим могучим» (без даты). Он скучает о русском, от английского у него несварение, и вскоре приходит жалоба: «...томит и терзает меня разлука с русским языком, и по ночам отрыжка от англо-саксонской чечевицы» (20.X.41). Два года спустя пишет: «Лег написать Вам два слова — и вдруг удивился тому, как редко теперь пишу по-русски» (23.XI.43). Все его письма к Алданову написаны по-русски, даже когда он диктует их машинистке, которая печатает в английской транскрипции (30.IV.56, 7.IX.56). Алданов продолжает уговаривать Набокова писать свои произведения по-русски: «Это очень печально, что Вы не пишете по-русски. Очень отражается и на „Новом журнале,» (27.XI.43).

Во всех письмах происходит самый оживленный и свободный обмен разного рода новостями. Обоих искренне интересует все личное — выход новых книг, премии, здоровье, жизнь, смерть, радости, печали, надежды и страхи, разделяемые семьей и друзьями.

Но время, язык и близость так и не смогли помочь преодолеть резких различий в характерах. Оба любят науку, но разные ее области и по различным причинам. Алданов депозитизирует науку; Набоков эстетизирует ее. Исторический романист — это и историк науки, и Алданов описывает технологические достижения начала XX века в письме от 31 мая 1942 г. Во время первой мировой войны он работал в химической промышленности и предполагал, что мог бы снова заняться тем же во время второй мировой: «...статьи для хлеба мне надоели, от пьесы я отказался, в химии на военные заводы иностранцев не берут» (31.V.42). В письме от 6 августа 1943 г. Набоков поэтизирует жизнь в экспедиции за бабочками, которую Алданов, равнодушный к естественным наукам, считает досадным отвлечением друга от литературной работы. Алданов не скрывает своего безразличия к бабочкам: «О бабочках я прочел с интересом, но без сочувствия — врать не стану» (5.XI.41). Набоков эстетизирует все текущие события, которые Алданов изучает с таким научным рвением. В письме без даты, написанном после вторжения Гитлера в Россию 22 июня 1941 г., он говорит: «А ведь как это страшно и вместе с

тем художественно...». Для него война — это «дьявольский сквозняк из палеарктики» (20. X. 41).

Внимательное прочтение переписки Набокова с Алдановым позволяет выявить сходство, под которым угадывается нечто большее, нежели простое совпадение. Обои присущи такие черты характера, как доброта и истинное джентльменство. Доброта, с большей очевидностью проявлявшаяся у Алданова, носит не менее искренний характер и у Сирина. Глузившийся над нравами Корнельского университета, Набоков, по утверждению Бойда, «поражал коллег и студентов своей удивительной доброжелательностью и даже особой доверительностью при личном общении» («The American Years», р. 290). Бунин называл Алданова «последним джентльменом в русской эмиграции» (цит. по заметке Андрея Седых «Скоропостижно скончался в Ницце писатель М. А. Алданов», «Новое Русское Слово», 26. II. 1957, стр. 1). Бойд отмечает, что, несмотря на «вспыльчивость и надменность, присущие Набокову, отчасти наигранные, отчасти являющие собой нечто вроде пародии, дежурной шутки», его немецкий издатель признавал, что в частной жизни он добр, любезен, «истинный джентльмен» («The American Years», р. 477). Доброта и джентльменство позволили этим столь не похожим друг на друга писателям — скептику и пессимисту Алданову и раздражительному и надменному Набокову — искренне почитать друг друга и уважать в другом сложную человеческую натуру, скрытую под определенной маской, причем уважение крепло по мере того, как крепла с годами их дружба.

Николас ЛИ,
Университет штата Колорадо, Боулдер, Колорадо, США

Перевела с английского Н. Рейн

В архиве Алданова в Российском фонде культуры (Москва) хранится его письмо В. В. Набокову, отправленное с оказией из Франции в Америку 30 июля 1940 г.

Дорогой Владимир Владимирович.

Помните, Вы мне при отъезде шутливо пожелали «оказаться в моем положении». Сбылось с точностью: оказался. Нахожусь теперь в Ницце, хлопочу о визе в Ваши края.

У меня нет адреса А. Л. Толстой¹, пишу поэтому Вам по адресу д-ра Альтшуллера. Я хотел бы узнать, что с Вами. Удалось ли Вам устроиться и как? Если не удалось, есть ли хоть надежды? Как Вы знаете, денег и у меня нет. Тоже рассчитываю на книги, лекции и т. д. Утопия ли это? Вышло ли у Вас дело с проф. Ланцом?² Как отнеслись к Вам издатели? У меня скоро будет готово «Начало конца». Буду его предлагать. Если можете дать полезный совет по этим вопросам, буду искренне Вам благодарен. Но помимо эгоистического интереса я просто очень хочу узнать, что с Вами. Пожалуйста, напишите мне по адресу: (...)³

Как чувствует себя Вера Евсеевна? Что дофин?⁴ Довольны ли Вы оба? Мы с Т. М.⁵ часто Вас вспоминали, особенно в последние недели.

Если Вы видите Александра Федоровича⁶, пожалуйста, скажите ему, что я ему писал четыре раза по четырем адресам в разных странах. Очень на него — да, собственно, только на него — и надеюсь в смысле визы. Его «экипа»* в таком же настроении: «Будем издавать газету в Нью-Йорке».

Что если в самом деле увидимся? Очень хотели бы. Мы с Т. Марковной подали просьбу консулу. Но в обычном порядке, как он сказала, надо ждать «около года»!

Мы оба шлем Вам и Вашим самый сердечный привет, самые лучшие пожелания. Пожалуйста, передайте поклон Александре Львовне, которую я знаю только по ее писаниям.

¹ А. Л. Толстая — дочь Л. Н. Толстого, глава Толстовского фонда, оказывавшего помощь русским, переселившимся в США.

² Доктор Альтшуллер, профессор Ланц — американские знакомые Набокова.

³ Здесь во втором экземпляре машинописного текста, по которому мы печатаем письмо, пропуск. Однако адрес, по которому жил тогда Алданов, известен: Ницца, авеню Клемансо, 16.

⁴ Вера Евсеевна — жена Набокова; дофин — его сын Дмитрий.

⁵ Т. М. — Татьяна Марковна, жена Алданова.

⁶ Александр Федорович — Керенский.

* Экипа — от франц. *équipe* — команда.

Приписка Набокова к письму М. М. Карповича Алданову от 14 августа 1940 г.
Дорогой друг, много хочется вам написать, но ограничиваюсь несколькими словами, чтобы не отягощать письма. Хочу вам только сказать, что скучаю по вас и люблю вас. Шлем с женой самый горячий привет вам обоим.*

Ваш В. Набоков.

Первое датированное письмо в коллекции Бахметевского архива — это письмо В. В. Набокова от 29 января 1941 г. Оба писателя в Нью-Йорке, Алданов приходил к нему и не застал дома, Набоков выражает сожаление, расспрашивает Алданова о литературной работе, выразительно описывает свое посещение дантиста:

«Хотя, кроме введения шприца в тугую целкающую десну, операция за операцией проходит безболезненно — и даже приятно смотреть на извлеченного монстра, иногда с висящим у корня нарывом в виде красной кондитерской вишни — но последующее ощущение, когда мерзлый дуб кокаина сменяется пальмой боли, отвратительно. Я все больше лежу да мычу».

Собирателям набоковских адресов сообщим его тогдашний адрес: 35, 87-я стрит, это рядом с Сентрал Парком и в нескольких минутах ходьбы от Бродвея.

Следующее письмо Набокова, написанное ровно через два месяца, 29 марта 1941 г., на бланке Уэльслейского колледжа. Набоков рассказывает о своем лекционном курсе: «...громил Горького, Гемингуэя и многих других — и в обмен «имел великолепное время». Говорил между прочим о вас, Бунине и себе (не грома)».

14 апреля Алданов отвечает ему: он ждет выяснения вопроса о газете; когда обнаружится, что план создания новой русскоязычной газеты в Нью-Йорке неосуществим, создастся толстый журнал. «Не забудьте, что Вы твердо обещали нам новый роман — продолжение „Дара“. Я сегодня получил письмо от Бунина, он сообщает, что уже выслал мне „Темные аллеи“».

В мае — июне Набоков шлет Алданову три открытки, сообщает о своей поездке в Нью-Мексико: «Мало вижу, ибо исключительно занят ловлей бабочек», — пишет он 5 июня. 27 июня Алданов спрашивает: правда ли, что Набоков получил постоянную работу в женском колледже? «Если да, сердечно поздравляю: ведь это навсегда обеспеченная жизнь!» О себе сообщает, что был на приеме в Колумбийском университете в честь иностранных писателей, что отказался от частных уроков, пытается обходиться только гонорарами, в частности, через литературного агента хочет издать свой последний роман «Начало конца» на английском языке.

На одном из писем Набокова из Пало Альто, Калифорния, нет даты, но, поскольку в нем упоминается купленный издательством «New Directions» «Себастьян Найт», еще не вышедший в свет, оно должно быть датировано летом 1941 г. В письме первый отклик Набокова на начавшуюся Великую Отечественную войну. Начинает его, впрочем, Набоков с лирической ноты: «После изумительной энтомологической поездки мы осели среди здешних бильярдных газонов и желтых холмов. У нас хороший домик и все очень удобно». Далее сообщает, что среди его знакомых много поклонников Алданова:

«...лекции читаю с удовольствием, а иногда для разнообразия читаю студентам собственную беллетристику(...) Работаю и читаю на солнце, в купальных штанах — а тут климат действительно замечательный: вроде пушкинской прозы — безоблачно, но не жарко. В свободные дни ухожу в горы и на днях встретил свою первую гремучую змею (а в Аризоне, в пустыне, я однажды был окружен необыкновенно симпатичными койотами — гиенками и матерью). На Миссисипи вспоминал Шатобриана. Напишите ко мне, Марк Александрович. Без вас никогда бы мне не увидеть этих койотов».

В конце письма необычно для Набокова признание:

«Кажется, в первый раз в жизни я мучусь жаждой газет... В Гуверовскую библиотеку газеты приходят регулярно из России, но их можно получить только через... месяц после прихода».

Тут есть один немецкий профессор, который думает, что история литературы делится на «школы» и «течения». Студентов у меня немного, но все очень пристальные».

А ведь как это страшно и вместе с тем художественно — двадцатипятилетняя мечта о «свержении» — и вдруг этот чудовищный фарс — прущая погань в роли «освободителей» и бедные, не мыслящие камыши в роли «защитников культуры».

* В письмах Алданова «Вь» всегда с большой буквы, в письмах Набокова написание различно.

Переписка двух писателей вновь стала интенсивной осенью 1941 г. 5 октября Набоков сообщает: «Вчера разбирал сундучок с бумагами и нашел все ваши письма ко мне за несколько лет. Помните, как вы меня бранили за пародии в «Даре»? Как это уже все далеко!» 20 октября он шлет подробное письмо. У него всего шесть лекций в год. «Описываю новые виды бабочек (открыл замечательную штуку в Grand Cañon!). Скоро выходит мой английский роман «Sebastian Knight» (написанный, как я вам говорил, в 1936, на *bidet**, когда мы жили в одной комнате около Etoile, rue de Saïgon). (...) Я горд этой книжкой как тур де форсом** и чисто волевым явлением». Набоков «впервые *остышился* по-английски», перевел и комментировал несколько стихотворений Ходасевича. «Пишу одновременно работу по мимикрии (с яростным опровержением «natural selection» и «struggle for life»***) и новый роман по-английски (...) Со всем этим томит и терзает меня разлука с русским языком и по ночам — отрывка от англо-саксонской чечевичы. Впрочем, я бы и на это не жаловался и совершенно был бы доволен сим бабым летом моей жизни, если бы не дьявольский сквозняк из палеарктики. Для этого нет слов, а если есть, то вы их знаете столь же хорошо». «Палеарктика» здесь означает «Россия». Набокова возмущают пошляки «в Англии, которые двадцать лет мешали вооружению и т. д., а теперь баритоном требуют десантика. Парадокс в том, — пишет он, — что действительно все лучше, чем спокойно наблюдать за продвижением германского гада и ждать, что его поглотит верещагинское зарево». И от очень серьезной, хотя и в зашифрованном виде поданной темы войны Набоков переходит к концовке, чуть шокировавшей его корреспондента: «Я как-то провел несколько часов в Нью Уорке (так у Набокова. — А. Ч.), но они всецело ушли на препарирование генитальных органов моей новой бабочки, и не успел позвонить вам из музея».

Еще не получив этого письма, Алданов 22 октября обращается к Набокову с просьбой: для русскоязычного журнала, издание которого в Америке можно считать делом решенным, очень нужна проза Набокова! Он сообщает, что пока собраны деньги на выход всего лишь одной книги журнала, о редакционных жалованиях нет и речи, но гонорары будут выплачиваться, хотя и очень небольшие: один доллар за страницу прозы, семьдесят пять центов за страницу публицистики.

Ответ Набокова — сопроводительное письмо к фрагменту из романа «Solux Rex», без даты:

Дорогой Марк Александрович,
посылаю вам «статью», как говорил некто Арбатов, который все называл «статьей», будь то рассказ или кусок романа, или даже стихи. Простите, что задержал, — я добыл машинку только в субботу.

Я не пометил на манускрипте, но хорошо бы сделать сноску, как бывало:

Отрывок из романа «Solux Rex», начало которого см. в (последнем, — каком именно?) № «Современных записок».¹

Буква «ъ» не вытанцовывалась у жены на этой незнакомой машинке, а потому есть риск, что французские слова «Раоп» и «Воп», встречающиеся в манускр., наберут русскими буквами. Не знаю, как отметить их латинство.

Я решил осалтыковать мою подпись. Хочу непременно держать корректуру. Кажется, эта вещица самая отталкивающая из всего, что я до сих пор печатал, правда?

¹ «Современные записки», № 70. Отрывок из романа «Solux Rex» под названием «Ultima Thule» был напечатан в «Новом журнале», № 1.

В письме Алданова от 5 ноября сообщается, что он рукопись получил и в тот же день сдал в набор. Имея в виду письмо Набокова от 20 октября, Алданов откликается: «О бабочках прочел с интересом, но без сочувствия, — врать не стану. А обе Ваши новые книги очень, очень хочу прочесть — больше, чем что бы то ни было другое в современной литературе». Тут же сообщает собственные новости: издатель Кнопф отказался печатать его «Начало конца», «думаю, из-за антибольшевистского напри-

* Биде (франц.).

** Tour de force — сложное дело (франц.).

*** «Естественный отбор», «борьба за существование» (англ.).

вления романа». Он передал роман издательству Даттона. Хотел бы написать книгу о Герцене, но «издателей этим не соблазнишь». Написал три рассказа, «Микрофон» и два для «Нового журнала»¹ — это часть серии между собой не связанных современных «политических рассказов»: «не могу писать ни о чем другом теперь».

Еще через 19 дней, 24 ноября, Алданов сообщает, что издавать «Начало конца» на английском языке взялся другой крупный издатель, Скрибнер. «Огорчился после отказа Кнопфа, а вышло к лучшему: и условия более выгодные, и чувство, что попал вроде как бы на Английскую набережную издательского мира после его Гороховой» (издательство Скрибнера считалось более интеллигентным, Кнопфа называли лавочником).

Возможно, тем же письмом Набокову была отправлена корректура. Еще одно его без даты письмо сопровождает возврат корректуры. Авторская правка невелика, Набоков комментирует: «Странно заниматься опять «великим могучим». Кое-что можно было подчистить в смысле знаков препинания, но линотип, по-видимому, шарашливый, и боюсь рисковать жизнью соседних слов».

¹ Речь идет о рассказах «Фельдмаршал» и «Грета и Танк».

Запоздалое новогоднее поздравление вместе с распиской за полученный гонорар («Ultima Thule», 28 долларов) Набоков отправляет 3 января 1942 г. Из этого письма: «Правда ли, что умережковский? Есть ли сведения об Ильюше? О Иосифе Владимировиче?»²

Письмо Алданова от 18 января касается двух тем: он отправляет первую книгу «Нового журнала» («Не судите слишком строго. Кое-что мы должны были дать, считаясь с уровнем русско-американских читателей, — как “Последние новости”») и благодарит за присылку «Себастьяна Найта»: «Роман Ваш — замечательная вещь». Рецензия будет помещена во второй книге «Нового журнала». В конце характерная приписка, свидетельствующая об утомленности Алданова редакторской работой: «Извините, что пишу кратко: сегодня должен написать семь писем».

¹ И. И. Фондаминский (Бунаков) — один из редакторов журнала «Современные записки», был арестован в Париже в июле 1941 г. Позднее французское правительство сообщило его семье, что он 19 ноября 1942 г. умер в немецком концлагере.

² И. В. Гессен — редактор газеты «Руль», в ней Набоков печатался в 20-х — начале 30-х гг.

Под свежим впечатлением от только что прочитанной книги журнала Набоков 21 января 1942 г. отправляет такое письмо:

«Дорогой Марк Александрович, что это — шутка? «Соврем. записки», знаете, тоже кой-когда печатали пошлятину — были и «Великие каменщики» и «Отчизна» какой-то дамы и «Дом в Пассах» бедного Бориса Константиновича¹, — всякое бывало, — но то были шедевры по сравнению с «Предраассветным туманом» госпожи Толстой. Что Вы сделали? Как могла появиться в журнале, редактирующемся Алдановым, в журнале, который чудом выходит, чудесное патетическое появление которого уже само по себе должно было вмещать обещание победы над нищетой, рассеянием, безнадежностью, — эта безграмотная, бездарнейшая, мецанская дрянь? И это не просто похабщина, а еще похабщина погромная. Почему, собственно, этой госпоже понадобилось втиснуть именно в еврейскую семью (вот с такими носами — то есть прямо с кудрявых страниц «Юденкеннера»²) этих ах каких невинных, ах каких трепетных, ах каких русских женщин, в таких скромных платьицах, с великопоместным прошлым, которое-де и не снилось кривоногим толстоузым нью-йоркским жидам, да и толстым крашеным их жидовкам с «узловатыми пальцами, унизианными бриллиантами», да наглым молодым яврэям, норвежцам кокнуть русских княжен, — епфіл не мне же вам толковать эти прелестные «интонации», которые валят, как пух из кишиневских окон, из каждой строки этой лубочной мерзости. Дорогой мой, зачем вы это поместили? В чем дело? Ореол Ясной Поляны? Ах, знаете, толстовская кровь? «Дожидавшийся» Облонский? Нет, просто не понимаю... А стиль, «приемы», нанизанные глагольчики... Боже мой! Откровенно Вам говорю, что, знай я заранее об этом соседстве, я бы своей вещи*

* в конце концов (франц.).

вам не дал — и если «продолжение следует», то уж, пожалуйста, на меня больше не рассчитывайте.

Я так зол, что не хочется говорить о качествах журнала — о великолепном стихотворении Марии Толстой, о вашем блестящем «Троцком», о прекрасной статье Полякова-Литовцева.

Дружески, но огорченно ваш
Владимир Набоков»

¹ Набоков намеренно путает названия: «Вольный каменщик», повесть М. А. Осоргина, «Дом в Пасси» — роман Б. К. Зайцева. Произведения «какой-то дамы» под названием «Отчизна» в «Современных записках» разыскать не удалось.

² «Знаток евреев» — антисемитский журнальчик, выходивший в Германии при Гитлере.

Алданов решительно не согласен. Он пишет 23 января:

«Я чрезвычайно огорчен и даже расстроен Вашим письмом.

Все же «В Париже» Бунина и «Ультима туле» лучшее, что есть в книге, а Вы об этом не сказали ни слова (быть может, чтобы меня подразнить). Есть, по моему, и хорошие статьи, кроме названных Вами двух (спасибо за мою).

Перехожу к Толстой. Я совершенно изумлен. Читали эту вещь ее и такие еврей-националисты, как Поляков-Литовцев и множество других евреев, в том числе, естественно, и редакторы. Никто решительно не возмущался. Не говорю уже о неевреях: Зензинов написал на днях Александре Львовне истинно-восторженное письмо по поводу ее глав. Вы можете сомневаться в критическом чутье Влад. Мих., но никак не в его благонадежности в смысле отношения к евреям. Помнится, я давно говорил Вам, что считаю его с Милюковым редкими людьми, абсолютно чуждыми — не говорю даже об «антисемитизме», а просто какой бы то ни было, хотя бы легкой, очень легкой «настороженности» в отношении евреев. Вероятно, и Вы, зная его, думаете так же. Помилуйте, в чем Вы усмотрели «жидовок», «яврзев», «погромную (!) похабщину» и даже «пух из кишиневских окон»?! Семья Леви ничего художого не делает, она, «быть может, не симпатична» (пишу слогом осторожных критиков), но это имело бы соответствующую тенденцию только в том случае, если бы автор других, неевреев, изобразил ангелами. По случайности в первых главах Анна и Вера «симпатичнее», чем Зельфия и ее мать. Но в дальнейшем появляются «русские князья» и «русские женицы», которые в сто раз «антипатичнее» семьи Леви, и редакция могла бы с таким же правом отвести роман как антирусский или, скажем, антидворянский или антиэмигрантский. Меня немного удивило, почему Толстая дала хозяевам Анны фамилию Леви: ничего характерного для евреев в них нет (молодые люди пристают к барышням и у неевреев), и едва ли она сколько-нибудь знакома с евреями, да еще американскими. Однако, повторяю, в общем, евреи в той части не оконченного еще романа, которая редакторам известна, представлены отнюдь не в более невыгодном свете, чем другие действующие лица. Александра Львовна, по-видимому, унаследовала от отца общую нелюбовь к людям. Но уж этим Вы (как и я) особенно попрекать ее не можете. Вы пишете по ее поводу о «Юденкеннере»!! Классическая русская литература от «презренных евреев», «будь жид, и это не беда»¹ (так?) до невинного «и я дожидался» Стивы не в счет — время было иное. Но ведь при Вашем подходе Вы должны отвести и множество весьма «прогрессивных» современных писателей тоже со ссылкой на «Юденкеннер»: Золя, например, за Гудермана, Анатоля Франса и Пруста за их довольно многочисленных и весьма антипатичных евреев, коммуниста Ром. Роллана за евреев «Жан Кристофа», Сомерсета Мозма за «Alien corn»* и т. д. — без конца: многие там в этом отношении неизмеримо хуже, чем «Леви» Толстой. Мне было бы весьма неприятно — и невозможно — выступать в глупой и смешной роли еврея, защищающего антисемитскую литературу от нападок нееврея. Но ни я, ни Цетлин² (не говоря уже о Керенском и других членах редакционной группы «Н.Ж.») не можем причислить «Предрасветный туман» к антисемитской литературе, а тем менее к «погромной» (не хочу — да и нет места в строке ставить опять вопросительные и восклицательные знаки). Надо ли говорить, что мы такой и не поместили бы. Совершенно меня поразило Ваше заявление, что Вы из-за «продолжение следует» уйдете из журнала. Позвольте мне считать, что Вы или пошутили, или сказали это сгоряча. Вы ни малейшей ответственности за роман Толстой не несете, и все-

* «Чужое зерно» (англ.).

таки не можете же Вы считать, что и журнал наш «черносоленный», — тут уж действительно была бы необходима целая строка восклицательных знаков. Вы — наше главное украшение, Вы отлично знаете, какой я Ваш поклонник, и я не могу допустить, что Вы говорите это серьезно. Я думаю, что «Новый журнал» будет существовать, и твердо надеюсь, что Вы его лучшим украшением и останетесь. Александр Блок был настоящий (нисколько не скрывающий этого) антисемит, но Вы, как и мы все, не отказались бы участвовать в одном журнале с ним. — «Так то Александр Блок»? За художественное качество печатающегося рядом с Вами Вы уж никак не отвечаете. Вы считаете, что роман Александры Львовны ниже критики. Я этого не думаю — и принимаю во внимание, что это первое ее художественное произведение с обычными недостатками первых произведений. Но тут спорить бесполезно, тем более что мы с Вами так и не могли никогда договориться об общих основных ценностях: ведь Вы и отца Александры Львовны считаете непревосходным писателем, — «во всяком случае, много хуже Флобера». В Нью-Йорке в «литературных кругах» мнения о ценности «Предвечного тумана» расходятся».

¹ Из стихотворения Пушкина «Черная шаль» и из его же эпиграммы на Булгарина «Не то беда, что ты поляк...».

² М. О. Цетлин и М. А. Алданов стояли во главе редколлегии «Нового журнала» в первые годы его существования.

В небольшом письме от 5 февраля Алданов возвращается к той же теме: «Я очень надеюсь, что мои доводы хоть немного Вас поколебали, и просто не верю, чтобы Вы действительно хотели прекратить сотрудничество в «Новом журнале».

Только через три месяца Набоков снова пишет Алданову и старается преодолеть возникшую размолвку. Поводом для его письма стало выражение сочувствия Алданову в связи с несчастным случаем, происшедшим с его женой. В письме от 6 мая главное место отведено литературной теме: Набоков прочел вторую книгу «Нового журнала».

«„Времена“ превосходны — по-моему, это лучшее, что написал Осоргин. Это и статья о смертной казни давным-давно в «Посл. Нов.». Ваша статья о Мережковском (кроме ссылки на Герцена — Гюго и на «что-нибудь да значит» — раз столько лет читают и во стольких-то лавках продают — что, по-моему, то же самое, что «миллион людей — курящих нашу папиросу — *capot be wtopng*»*, между тем как следует, по-моему, всегда исходить из того, что большинство — не право и что тысячами улик приговоренный подсудимый — не виновен) мне очень понравилась. Я люблю сливочное мороженое. Мне его безмудрый слог всегда был противен, а духовно это был евнух, охраняющий пустой гарем. Очень редко случалось, что его серое слово принимало легкий фиолетовый оттенок — как в вами приведенном отрывке (а также где-то — не помню где, — описание палестинской пустынной флоры). А «Леорнардо» (так у Набокова. — А.Ч.) такой же вздор, как «Князь Серебряный».

Неужели вы не согласны со мной, что «Натали» (и остальные прелестницы «аллеи») в композиционном отношении совершенно беспомощная вещь? Несколько прелестных (но давно знакомых и самоперепетых) описательных параграфов — *et puis c'est tout*** . Характерно, что они все умирают, ибо все равно, как кончить, а кончить надо. Гениальный поэт — а как прозаик почти столь же плохой, как Тургенев.

Сколько у вас пишущих дам! Будьте осторожны — это признак провинциальной литературы (голландской, чешской и т. д.). Из них для приза пошлости и мещанской вульгарности я по-прежнему выбираю Александру Толстую (...). Не принимайте, дорогой друг, этих резкостей к сердцу. Очень может быть, что прав Зензинов (читавший, по слухам, которым не хочу верить, целую лекцию о Толстой и Федоровой в их романах), а не я.

(...) А все-таки «*Madame Bovary*» метров на 2000 выше «Анны К.». Wilson¹ со мной согласен, одолев последнюю».

¹ Американский литературовед Эдмунд Уилсон.

* не может ошибаться (англ.).

** и всё (франц.).

В письме от 13 мая 1942 г. Алданов сообщает об откликах на «Новый журнал»: его хвалят, а каждую вещь в отдельности бранят. Второй номер напечатан тиражом 1000 экземпляров.

«Кстати, к кому же из беллетристов Вы обратились бы, если б Вы были редактором? Неужели к Бунину не обратились бы? Не стоит нам спорить, но нельзя, думаю, попрекать писателя отсутствием того, что он отрицает и ненавидит, — Вы знаете, что он композицию называет «штукатурством». В этом споре я гораздо ближе к Вам, чем к нему; но, по-моему, Вы преувеличиваете значение композиции и особенно новизны композиции. За исключением «Войны и мира» почти все, кажется, классические произведения русской литературы в композиционном отношении не очень хороши — и не новы. В меньшей степени то же относится к классической английской литературе — композиция Диккенса детская (и устаревая даже для его времени). Французы — мастера (новые немцы тоже, к сожалению), и «Мадам Бовари», разумеется, в композиционном смысле «на 2000 метров выше «Анны Карениной» (хотя французские критики нашли в ней кроме 12 стилистических ошибок (!) композиционные заимствования). Но если отводить композиции и новизне композиции не первое, а второе место? Будете ли Вы серьезно утверждать, что Эмма Бовари имеет ту же степень «жизненной правды» (извините глупое слово, но Вы знаете, что я хочу сказать: «Птицы садились клевать что-то на полотно Апеллеса»), какую имеет Анна Каренина? И можно ли читать флоревское самоубийство после самоубийства Анны? Нет, нет, дорогой друг, не отрицайте: Лев Николаевич был не без дарования. Возвращаясь к Бунину, скажу, что «странно видная в воде голубовато-меловым телом» Соня в купальне и сама купальня и гроза в главе V «Натали» и многое другое в этом рассказе — изумительны.

Что Вы делаете? Что пишете? Я пишу пятый — и последний — политический рассказ — только это, да еще статьи (два слова неразборчивы. — А.Ч.) и написал за два года. Не пошлю его Вам, чтобы Вы не издевались. Как ни странно, сюжет взят из морской жизни¹: материал — случайные встречи в Париже со старым советским адмиралом и несколько тысяч страниц «Морского сборника» — для ритуала, чинов и т. д. Старик-адмирал рассказывал сдержанно (одно слово неразборчиво. — А.Ч.), но рассказывал из уважения к третьему участнику наших бесед, его родственнику. Боюсь, что вторгнусь в область и жанр капитана Лукина² и покойного Станюковича: «Все наверх!» Что ж делать, меня сейчас не интересует ничто, кроме происходящих в мире событий, и я одинаково удивляюсь Бунину и Вам, что можете писать о другом, и так чудесно писать».

В конце письма Алданов касается эпизода своей редакторской деятельности в «Новом журнале»:

«Ледницкий дал нам статью о «Возмездии». Там были два стиха «где «Новым временем» смердит, — где полновластен только жид» (второй стих цитирую не совсем, кажется, точно, но смысл и «жид» точно³). Мы эти два стиха выкинули — из уважения к таланту и памяти Блока. Этот полоумный, полупьяный и полуборзванный человек был большим поэтом, но все-таки утверждать, что в Петербурге 1909 года евреи были полновластны, не следовало бы даже при очень большой потребности в рифме к слову «смердит». Как поступили бы Вы? Спрашиваю в связи с нашей полемикой об Александре Львовне».

¹ Алданов имеет в виду свой рассказ «На «Розе Люксембург».

² Капитан Лукин — автор очерков на военно-морские темы, печатавшихся в 30-е годы в парижской газете «Последние новости».

³ У Блока:

Ведь жизнь уже не жгла — чадила,
И однозвучны стали в ней
Слова: «свобода» и «еврей»...

Из письма Набокова от 20 мая 1942 г. В этом письме Набоков приводит предсказание Ханусена, что Гитлер должен умереть 23 мая 1942 г. Позднее в том же году Алданов в статье «Предсказание П. Н. Дурново» помянет, что громадное большинство предсказаний не сбывалось и что циничный Клемансо учил молодых журналистов: «Предсказывать нужно только то, что уже было».

Набоков пишет:

«...было бы очень жаль, если б журнал прекратился. Мне кажется, что если хоть одна строка в любом журнале хороша, то этим самым он не только оправдан,

но и освящен. А в Вашем журнале много прекрасного. Вы спрашиваете, кого я бы выбрал из беллетристов. Тех же, что и Вы. Я только против беллетриствующих дам. В худшей бунинской вещи есть всегда строки, «исполненные прелести неизъяснимой», как выражались в пушкинскую пору; и место, которое Вы цитируете, как раз к ним и принадлежит. Это и есть его поэтический дар. Вы совершенно неправы, говоря, что «почти все классические произведения нашей литературы в композиционном отношении не очень хороши — и не новы». А «Шинель»? А «Дама с собачкой»? А «Петербург»? Да, мза кульпа*, смерть Эммы (кроме ненужного появления д-ра № 3, родителя самого автора, проливающего автобиографическую слезу) непревзойденно хороша. В общую «жизненную правду» я не верю; по-моему, у каждой жизни своя правда и у каждого писателя своя правда.

Нет, не боюсь за Вас, «жанр» Лукина останется его собственностью. Я оценил композиционный озноб Тамирина¹, пробирающийся через всю главу. И «грозно-апоплексическая шея» в бальном отрывке великолепен. У меня одна-единственная придирака: нельзя «кататься» верхом. Я раз допустил эту ошибку, и меня огрел знакомый лошадиник.

Я был преспокойно напечатал смердящую рифму Блока, но зато указал бы пану Ледницкому, что «Возмездие» — поэма совершенно ничтожная («мутные стихи», как выразилась как-то моя жена), фальшивая и безвкусная. Блок был тростник певучий, но отнюдь не мыслящий. Бедный Ледницкий очень волновался, что не весь его понос вылетит в этом номере, а придется додержать лучшую часть гороха и кипятка до следующего. «Там у меня нарастает главный пафос!» — крикнул он в отчаянии. Ужасно противная поэма, но «жида» я бы, конечно, не вышустил, это характерно для ментелити Блока. Я совершенно согласен с Вашей великолепной оценкой, но прибавил бы «полушаман» («иль поразил твой мозг несчастный! грядущих войн ужасный вид! **ночной летун, во мгле ненастной! земле несущий динамит.** Стихотворение Блока «Аэроплан»², кажется, 1911 г.).»

И еще раз пишет Набоков Алданову, отправляя ему стихи и жалуясь на низкий гонорар за «Русалку» от «Нового журнала», через три дня, 23 мая. Осенью он уходит из Уэльсли: «Впрочем, вероятно, к тому времени буду командовать эскадрой».

¹ Набоков путает, решив, что в письме Алданова от 13 мая речь шла об отрывке из романа «Начало конца» «Командировка Тамирина».

² Правильное название «Авиатор», в цитате ошибка: «Иль **отравил** твой мозг несчастный...»

Алданов отвечает 31 мая:

«Рад был Вашим неожиданным словам о Блоке. Я ему еще благодарен: если бы предыдущий стих кончался не словом «смердит», а, например, словом «тароватый», то он, при тонкости его ума, вероятно, сказал бы «жид пархатый». Вы приводите, однако, его звучные стихи об аэроплане как «полупророческие». Право, ничего пророческого в них не было. Вы этого можете не помнить, но я отлично помню, как не только в 1911 году, а много раньше, после полета Блерио, все фельетонисты газет описывали будущие ночные налеты на города, динамитные и зажигательные бомбы и т. п. Точно так же и «Скифы» с их гениальными мыслями («вы вспарывайте животы друг другу, а мы посмотрим») были переложением статей в изданиях большевиков и левых эсеров после Брест-Литовского мира. А кощунственная пошлость о Христе во главе красноармейцев я слышал от Луначарского задолго до «Двенадцати», да и Луначарский это заимствовал у кого-то из польских романтиков. Все это не мешает, к несчастью, Блоку быть большим поэтом. (Здесь Алдановым в машинопись письма вставлены от руки две неразборчивых фразы. — А. Ч.)

Что касается смерти Эммы Бовари, то я, помнится, говорил Вам, что и мне эта сцена кажется изумительной. Но в отношении Толстого все же это не тот, по-моему, класс: «полутяжеловес» и «тяжеловес», вульгарно выражаясь, — имею в виду самоубийство Анны, сцену в Мытищах, охоту Ростовых и пр. Думаю, что Флобер сам это почувствовал, когда прочел «Войну и мир», — это видно из его письма. Так Буалев — не Флобер, но очень недурной писатель, — прочитав впервые Пруста, сказал: «Моя жизнь не удалась: вот как я хотел писать».

* Меа culpa — моя вина (лат.).

Окончив свои «Политические рассказы», я, вероятно, начну исторический роман¹, о котором подумываю давно. В этом нет противоречия с тем, что я Вам писал в прошлом письме: меня действительно интересуют лишь нынешние грандиозные события, но этот роман из недавнего прошлого (19 век) будет именно об этом: откуда это пошло. Впрочем, не знаю, решу ли я на такое дело. Но статьи для хлеба мне надоели, от пьесы я отказался, в химики на военные заводы иностранцев пока не берут, а надо же что-нибудь делать».

¹ Речь идет о романе «Истоки».

Получив утешительные сведения о судьбе И. В. Гессена, Алданов 16 декабря 1942 г. пишет Набокову: «Очевидно, вырвался последний!» (Гессен едет в Америку.) 25 января 1943 г. еще одна приятная новость, на этот раз у самого Алданова: его роман «Начало конца» в английском переводе удостоен выбора Клуба книги месяца: «Успех и неожиданный и, горюю искренне, едва ли заслуженный. Во всяком случае, Ваш «Себастьян Найт» имел больше литературных прав». Алданов получит немалые деньги, 5000 долларов, потом еще от продажи: «Если Вам будут нужны деньги, обратитесь ко мне». Он получил заказ на антологию «Сто лет русской художественной прозы». «Начать предполагается с Пушкина (с неизбежной, но прекрасной «Пиковой дамы»), а кончить Вами (если Вы на это согласитесь). Из ныне живущих русских писателей надо дать еще Бунина, Алексея Толстого и двух-трех советских «старших» (Шолохов? Зощенко?). Поскольку мое имя будет значиться на обложке и подпись под вводной статьей, я, разумеется, не допущу включения чего бы то ни было моего (...). Во вступительной статье мне очень бы хотелось сказать о Вашем огромном таланте то, что я о нем думаю и всегда говорил». В том же письме разгадка: почему имени Алданова, одного из основателей «Нового журнала», фактического его редактора, не было в журнале указано: «Я своего имени дать не вправе по отсутствию квотной визы, да и давно хочется (по секрету говорю) понемногу отойти от этого дела, очень мне надоевшего».

В письме от 30 января 1943 г. Набоков поздравляет Алданова с успехом «Начала конца». «Конечно, с радостью обращусь к вам, дорогой друг, коли будет нужно. Пока что у меня все складывается довольно благополучно. Если бы я мог вышекать по стихотворной песке в день или по рассказу раз в неделю, то снарядил бы энтомологическую экспедицию в Патагонию — так был бы богат. На самом же деле моя наука сильно тормозит мою литературу. И моя энгровская виолончель не дает музе говорить». Еще одно поздравление с успехом книги в письме Набокова от 7 апреля: «Ваша книга предвещена четверкой аврорных статей в «Бук оф дзи монтс». Желаю ей замечательнейший успех и очень, очень радуюсь за вас». 10 апреля Алданов отвечает: «Читал в газете, что Вы получили стипендию Гугенгейма. Это большой успех, — говорят, что ее не очень трудно продлить. Ставят ли они какие-либо условия?» Подобно тому как Набоков пишет постоянно о бабочках, Алданов, химик, автор книг и статей по химии, 10 мая делится с Набоковым мечтой: устроить лабораторию в своей квартире. Но ни лаборатории у Алданова, ни энтомологической экспедиции в Патагонию у Набокова. Алданов иронизирует: в связи с успехом «Начала конца» в газетах появились о нем фантастические сведения: будто он был «послом Керенского», будто его роман «Ключ», на деле появившийся в 1930 г., «был бестселлером в царской России». Он работает над «Истоками», но медленно, терзается мыслью: «совестно писать теперь исторический роман». 13 июня Набоков возвращается в письме к газетной шумихе в связи с награждением «Начала конца»: многие в США не могли простить Алданову, что он в этом романе ставил на одну доску Сталина и Гитлера. «Шум, поднятый копытцами коммунистов, скорее приятен». Сам он собирается в энтомологическую экспедицию в Юту, сообщает, что кончил своего (очень «своего») «Гоголя» и шлет «Весну в Фиальте». Из городка Огенквит под Бостоном — он там отдыхает — Алданов 29 июля благодарит Набокова за «Весну».

Фрагмент из письма Набокова из Экта, штат Юта, от 6 августа 1943 г.:

«Мы живем в диких орлиных краях, страшно далеко, страшно высоко. Тут некогда были рудники, пять тысяч рудокопов, стрельба в кабаках и все то, что нам в детстве рассказывал неизвестный американцам капитан. Теперь — безлюдие, скалистая глушь, «лыжная» гостиница на юру (8600 футов высоты), серая рябь осин промез черни елей, медведи переходят дорогу, цветут мята, шафран, лупина, стойком стоят у своих норок пищуны (вроде сусликов), и я с утра до ночи набираю

для моего музея редчайших бабочек и мух. Я знаю, что вы не поклонник природы, но все-таки скажу вам о несравненном наслаждении взобраться чуть ли не по отвесной скале на высоту 12 000 ф. и там наблюдать «в соседстве» пушкинского «Бога»¹ жизнь какого-нибудь диковинного насекомого, застрявшего на этой вершине с ледниковых времен. Климат тут суровый, ледяные ветры, шумные ливни, а как только ударит солнце, налипают мучительные слепни — что им особенно приятно, когда ходишь, как я, в одних трусиках и теннисных туфлях; но ловля тут великолепная, и я редко так хорошо себя чувствовал. Город в двадцати пяти милях, и сообщение только автомобильное; газету читаю раз в неделю и то только заголовки. Хозяин гостиницы — мой издатель. «Гоголя» моего он скоро выпустит. Я там тискаю американских критиков приблизительно так, как теребил некогда Адамовича. Роман мой продвигается прожег чешуекрылых. Дорогой друг, как хочется с вами побеседовать «о буйных днях» Парижа, о Шиллере — нет, только не о Шиллере(...) Зачем «Новый журнал» печатает дикого пошляка Гребенщикова и Буколяки совершенно безграмотной г-жи Кудрянской? А «Времена» — лучшее, что написал Осоргин — очень трогательно и хорошо. С вашей оценкой Милокова я, совершенно не согласен. Цементом его эрудиции и пьедесталом его трудоспособности была та великая бездарность, которая есть плоть и кость стольких солидных ученых и томасманистых писателей. Это одна из тех восковых фигур, которые очень «похожи». Не могу поверить, что вы с нашим вкусом и умом могли бы серьезно восхищаться «Историей русской культуры».

¹ Имеется в виду стихотворение Пушкина «Монастырь на Казбеке».

В ноябрьской переписке Набокова и Алданова две темы. 23 ноября из Кембриджа, Массачусетс, Набоков признается: «... лег написать вам два слова — и вдруг удивился тому, как редко теперь пишу по-русски». Он спрашивает, нет ли у Алданова сведений о судьбе Фондаминского. 27 ноября Алданов отвечает: «Я лично думаю, что его больше нет в живых». Он откликается на признание Набокова: «Это очень печально, что Вы больше не пишете по-русски. Очень отражается и на «Новом журнале» — чрезвычайно. А вдруг?» Возвращается к своей работе над «Истоками»: это «самый длинный (и, б. м., самый плохой) роман в русской литературе». В письмах Алданова от 26 января и 15 апреля 1944 г. то же заботливое стремление сохранить Набокова для русской литературы: благодарит за присылку «Парижской поэмы» в «Новый журнал», высоко отзывается о предметах интереса Набокова в литературе англоязычной: Гоголь, русские поэты...

В письме Набокова от 8 мая 1944 г. резкие упреки в адрес авторов «Нового журнала» и характерный политический комментарий: «Выступление Вергинского в Москве и поездка туда католического служителя культа — явления, достойные кисти Алданова. Союз Советов безболезненно превращается в Союз Русского народа. Ах, если бы Вы написали историю периода 1904—1944! Второй том «Истоков»».

Впрочем, сделав «Истокам» похвалу, оговаривается: «Я немножко против симметрии между визитом одного героя к Бакунину, а другого героя к Достоевскому, но, может быть, это намеренно, и тогда эта кариатидность оправдана».

Алданов на следующий же день отзывается: «Сердечно благодарю за добрые слова обо мне. В дальнейшем «кариатидности» не будет. У меня еще появится немало знаменитых людей, но это будут иностранцы, и я к ним своих русских действующих лиц направлять не буду. Буду просто их показывать без связи с фабулой романа: они мне нужны как «истоки», вот и будет показано, как, напр., Маркс или Гладстон узнают о том же Берлинском конгрессе, и пусть лучше меня ругают за «отсутствие плана», чем за искусственные приемы. Боюсь, однако, что этот роман страниц в 1500 и никогда не будет кончен».

Письмо Алданова от 15 сентября 1944 г. — развернутая рецензия на только что вышедшую книгу Набокова «Николай Гоголь».

«Я прочел ее не «в один присест», но действительно в два. Это очень блестящая и остроумная книга, одна из Ваших самых блестящих. Солгал бы Вам, если бы сказал, что с ней согласен. У меня есть возражения к каждой странице. Очень ли Вы будете меня презирать, если я скажу, что, по моему глубокому убеждению, Гоголь, при своей самой подлинной гениальности, был много проще, чем Вы его изобра-

жаете, — проще от первой страницы с разговором двух «русских» мужиков (помните полемику о «русских») и молодого человека в белых канифасовых панталонах до последней с благородным мерзавцем-князем и его неподражаемым «разумеется, пострадает и множество невинных»? Проще и зависимее от иностранных влияний. Говоря о художественных приемах Гоголя, Вы, конечно, часто говорите о Сирине — и это высшая похвала. Знаю, что Вы совершенно равнодушны к чужому мнению и к моему в частности, но все-таки хотел бы Вам сказать, что я от Вашей книги в восторге. Со многим и согласен. Попадались ли Вам мои заметки о Гоголе, кое в чем совпадающие с Вашими (напр. о забавных суждениях о «реализме» и «гражданской скорби» Гоголя, о чудовищности основной моральной идеи «Мертвых душ» — «виноват был, что торговал мертвыми душами, а надо было торговать живыми»)?(...) Но, ради Бога, сообщите, кто американский писатель и кто критик? А «холливудских» имен у Толстого я, разумеется, никогда, до последнего дня, Вам не прощу. Что до «Фауста», то, если он воплощение пошлости, то что сказать, например, о «Демоне» Лермонтова или о «Все утопить»¹? И уж будто в немецкой философии все вздор и ложная слава. И Шопенгауэр?

Зато я чрезвычайно рад, что Вы не усмотрели беспредельных глубин в «Переписке с друзьями» и ее не «паскализировали», как полагалось в последние сорок лет паскализировать этот вздор. Рад по той же линии, что назвали письмо Белинского благородным документом.

Думаю, что отзывы о книге в американской печати будут лестные. Но, правда, Вы американцам не облегчили задачи — хоть бы что-либо разъяснили (говорю как Ваш издатель). В русской же литературе эта Ваша книга не умрет — когда будет туда допущена (я хочу сказать, в Россию).

Несколько многозначительных строк в конце письма посвящены текущим военным сводкам:

«С трепетом жду первой телеграммы из Франции от своих. Пока ничего о них не знаю. Давно в жизни у меня не было такой радости, как теперь чтение газет и сообщений о Германии. Скоро, скоро конец».

¹ А. С. Пушкин. «Сцена из "Фауста"».

В письмах Алданова от 16 ноября 1945 г. и Набокова от 8 декабря речь идет о делах: как получать гонорары за старые довоенные книги, продаваемые в Европе (издательства лопнули, кто должен платить?), имеет ли смысл хлопотать о возвращении своей библиотеки, брошенной в Париже в начале войны? Несколько строк в письме Набокова, кажется, написаны кровью. Он узнал из Праги, что его брат Сергей погиб в немецком концлагере под Гамбургом. «Говорят, живя в Берлине в 1943 году, он слишком откровенно выражался и был обвинен в англосаксонских пристрастиях. Мне совершенно не приходило в голову, что он мог быть арестован (я полагал, что он спокойно живет в Париже или Австрии), но накануне получения известия о его гибели я в ужасном сне видел его лежащим на нарах и хватающим воздух в смертных содроганиях...» Чуть ниже в письме выразительнейшие слова о парижской эмиграции: «Мучительно думать о гибели стольких людей, которых я знал, которых встречал на литературных собраниях (теперь поражающих — задним числом — какой-то небесной чистотой). Эмиграция в Париже похожа на приземистые и кривобокие остатки сливочной пасхи, которым в понедельник придается (без особого успеха) пирамидальная форма». Алданов 16 декабря отвечает: «Я эту пасху в ее воскресном виде любил...»

Следующее дошедшее до нас письмо из этой переписки датировано 20 июня 1948 г. Алданов пишет: «Полтора года мы не обменивались с Вами письмами. Знаю, что Вы терпеть не можете писать письма, поэтому Вам из Франции не писал(...) Знаю, что Вы получили кафедру в Корнелле, искренно поздравляю...» 23 июля Набоков отвечает, сообщает о делах, в выразительной лепки словах жалуется, что стал полнеть: «стал похож на помесь между Алухтинским и Макартуром...»

Письмо Алданова от 13 августа 1948 г.

Дорогой Владимир Владимирович.

Очень рад был Вашему письму, добрым вестям о Вас. То, что Вы так много (даже при Вашем росте) теперь весите, по-моему, исключает возможность какого-

либо легочного процесса или процесса в дыхательных путях. А без какой-либо легкой болезни после сорока лет человеку уже, по-видимому, обходиться не суждено.

Был у меня М. Шефтель, рассказывал о Вас — все были приятные сообщения. Я не все читал из того, что Вы печатали в последние два года. Те рассказы, которые я читал, один лучше другого.

Мы с Т. М. во вторник уезжаем в Ниццу (16). Уезжаем на год — если ничего в мире не случится. Если же случится (проще говоря, война), то выбраться назад едва ли будет возможно, хотя мы все для этого сделаем. Тогда поминайте добром. Почему едем? Есть семейные обстоятельства — престарелая мать Т. М. Есть и более простая причина. Вы говорите о моих «успехах». Со всеми этими «успехами» моего заработка в Америке не хватает. Пришлось бы искать места, но в мои годы мне ни кафедры, ни другой работы, вероятно, не дадут — да и я не очень умею преподавать, да еще по-английски. Во Франции же жизнь втрое дешевле, чем здесь, и там моих американских и других литературных заработков вполне хватает — могу даже помогать. Причина уважительная. Продал Скрибнеру две книги, в том числе том рассказов. Некоторые из них по-русски не напечатаны, так как не все годится для «Н. Р. Слова» — того, что не годится, я им и не посылал. Вы, наверно, знаете, что ушел из «Нового журнала». Ушел из-за какого-то оглушительного по комическому бессмыслию письма М. Цетлиной к Бунину. Достаточно Вам сказать, что в этом письме она в слезливо-величественной форме писала, что желает своим «уходом от Бунина» (то есть разрывом отношений) смягчить удар, нанесенный Буниным русскому делу!!! Удар заключался в том, что он вышел из парижского Союза писателей: из этого Союза (в который я не входил) исключили писателей, взявших советские паспорта, — и он этому сочувствовал, — но не исключили одновременно б. друзей немцев, в том числе и сотрудников гитлеровского «Парижского вестника» — односторонняя терпимость или нетерпимость для него, как и для меня, неприемлемы. Впрочем, Вы все это, верно, знаете, да и скучно об этом писать. Вы спросите, при чем же тут «Новый журнал». Хотя Карпович по существу относится к письму Цетлиной так же, как я и как, кажется, почти все, Бунин не пожелал остаться с ней в одном деле. В нормальное время было бы несколько естественней, ввиду конфликта, уйти Цетлиной, а не Бунину. Однако она делает по журналу всю черную техническую работу, заменить ее некем, так как платит технической секретарше журнал, по своей бедности, не может. Поэтому ни Бунин, ни я не предлагали Михаилу Михайловичу выбрать между ней и нами. Мы просто ушли, и я убедил Ивана Алексеевича не сообщать об этом в «Н. Р. Слово», чтобы не вредить журналу. Мы с ним были (в Грассе) его инициаторами (он в 1940 году тоже собирался переехать в Америку), я был с покойным Цетлиным его основателем и редактором и отдал этому делу несколько лет жизни (не говоря о деньгах). Со всем тем я по разным причинам не огорчаюсь. Желая журналу добра совершенно искренне.

Вы мне два года тому назад писали, что парижская эмиграция напоминает Вам сливочную пасху, которой в понедельник пытаются ножом придать прежний воскресный горделивый вид. Как Вы были правы! Я много раз вспоминал эти Ваши слова. Многое мог бы Вам об этом написать, да не хочется. Не раз и цитировал эти Ваши слова в разговорах и письмах.

Кстати, по поводу (или не совсем по поводу) этого. Недавно был я здесь у одного старого русского доктора. Он мне сказал, что из моих книг ему больше всего нравится «Камера обскура». Я тут Вас не назвал: приятно кивал головой — да, эта вещь очень мне удалась.

Если Вас интересует Бунин (я ведь знаю, что в душе у Вас есть и любовь к нему), то огорчу Вас: его здоровье очень, очень плохо. А денег не осталось от премии ничего. Я здесь для него собирал деньги, собрал без малого 600 долларов. Давали все, от правого Сергеевского до Джуши лэбор комити — они Бунина, очевидно, большевиком не считают. Добавлю, что в своей ближайшей семье Цетлина могла бы без труда найти не таких, как Иван Алексеевич, а настоящих феллоу трэвеллеров* — но с ними она отношений не рвет, о нет. В конце концов мне-то все равно и меня ничем не удивить. Но старика эта история, к некоторому моему удивлению, взволновала. Бунин с Цетлиной знаком лет сорок. Читаете ли Вы «Н. Р. Слово» и следите ли за вариантом понедельничной сливочной пасхи, сказавшимся в так называемой истории с «власовцами»?¹

Очень ли будет нескромно, если я Вас спрошу, что Вы теперь пишете? Я — философскую книгу, помнится, писал Вам о ней (пишу прямо по-французски), и еще рассказы. К сожалению, они все длинные: по 10—14 тысяч слов каждый, и для американских изданий не годятся. А то мои дела были бы лучше. В Англии

* Om fellow traveller — попутчик (англ.).

«Истоки» выбраны в качестве «книги месяца» Бук сосайети*, но после двух налогов мне останется очень мало, да и этого из Англии не выцарапаешь. Ниццей я доволен, хотя этот странный город состоит из «новых богачей» и коммунистов. Я почти никого там не знаю, «Айнзамкайтур»** порою старым людям полезен. Через год, если будем живы, вернусь — опять чтобы получить «риэнтри пермит»***!

Впрочем, кто знает, что будет во Франции через год.

Знаю, что Вы очень не любите переписки. Все же очень прошу: иногда пишете. Не забываете — увидимся ли мы еще в этой жизни или нет.

¹ Алданов писал 23 мая 1948 г. А. С. Альперину по поводу проекта создания в Нью-Йорке Комитета (или Союза) борьбы за народную свободу: «Для меня решающий вопрос в том, будут ли в состав Союза привлечены люди, о которых известно, что они в самом деле участвовали во власовском движении или хотя бы сочувствовали ему. Если да, то я ни в коем случае в образующийся (но еще не образованный) Союз не войду(...) Важно не только то, что мы хотим делать, но и то, с кем мы готовы это делать».

28 января 1951 г.

Дорогой Владимир Владимирович.

Мне давно — отчасти и по опыту — известно, что Вы очень не любите писать письма. Поэтому (верьте, именно поэтому) я Вам не писал из Франции, где мы с Татьяной Марковной прожили мирно два с половиной года. На днях оттуда вернулись, а надолго ли, это зависит от общего положения в мире и от моих денежных дел (не знаю, будет ли Скрибнер и дальше приобретать с авансами мои книги: последняя у него продавалась гораздо хуже всех моих других; он это объясняет тем, что рядовой американец теперь книг русских авторов не покупает, независимо от их взглядов. Если это так, то дело плохо, и придется искать какой-либо службы или research****).

Попал я с корабля на бал и не на очень веселый бал. Дело идет о сборе денег в пользу Бунина. Вы, верно, знаете, что у него от Нобелевской премии 1933 года давно не осталось ни гроша. Живет он главным образом тем, что для него собирают его друзья. Так вот, опытными людьми признано здесь необходимым: для успеха производимого частным образом сбора необходимо устроить в Нью-Йорке вечер. Вейнбаум¹ будет председательствовать, будет прочтен рассказ самого Ивана Алексеевича, будет доклад о нем, будет и мое небольшое слово. Я, однако, сделал оговорку. Я приехал сюда с острейшим конъюнктивитом, и сейчас мой глаз в таком состоянии, что я выступить теперь просто не мог бы. Если эта болезнь, тянущаяся у меня уже два месяца (испробованы и пенициллин и ауреомицин), к тому времени не пройдет, то я свое слово напишу и его кто-либо на вечере прочтет. Но главное, по общему (и моему) мнению, это ВАШЕ выступление (хотя бы десятиминутное). Вас умоляют приехать для этого в Нью-Йорк. Устраивает вечер Лит. Фонд, образовавший особую комиссию. Он должен состояться во второй половине февраля — о дне Фонд мог бы с Вами сговориться. Если только есть какая-либо возможность, прошу Вас не отказываться. Бунину — 81 год, он очень тяжело болен, и едва ли Вы его когда-либо еще увидите. Вам же будет приятно сознание, что Вы ему эту большую услугу оказали.

Буду ждать Вашего ответа. Был бы чрезвычайно рад, если бы при этом случае Вы написали и о себе. Что пишете? Довольны ли работой? Не слишком ли много времени у Вас отнимает кафедра?

Мы оба шлем Вам, Вере Евсеевне и Вашему сыну самый сердечный привет, самые лучшие пожелания.

¹ Главный редактор газеты «Новое русское слово».

2 февраля 1951 г.

Дорогой Марк Александрович.

Как-то теплее на душе, когда знаешь, что Вы в Америке. Хорошо бы, если бы Вы могли и физически влиять на погоду. Тут у нас деревья стоят в отвратительных алмазах от замерзших дождевых капель.

* Book society — Книжное общество (англ.).

** Einzamkeitur — Лечение одиночеством (нем.).

*** Reentry permit — Право на возвращение (англ.).

**** Исследовательская работа (англ.).

Дорогой друг, Вы меня ставите в очень затруднительное положение. Как Вы знаете, я не большой поклонник И. А. Очень ценю его стихи — но проза... или воспоминания в аллее... Откровенно Вам скажу, что его заметки о Блоке показались мне оскорбительной пошлятиной. Он вставил «ре» в свое имя. Вы мне говорите, что ему 80 лет, что он болен и беден. Вы гораздо добрее и снисходительнее меня — но войдите и в мое положение: как это мне говорить перед кучкой более или менее общих знакомых юбилейное, то есть сплошь золотое, слово о человеке, который по всему складу своему мне чужд, и о прозаике, которого ставлю ниже Тургенева?

Скажу еще, что в книге моей, выходящей 14 февраля¹ (в главе из нее, только что опубликованной в «Партизане»), я выразил мое откровенное мнение о его творчестве и т. д.

Если, однако, Вы считаете, что несколько технических слов о его прелестных стихах достаточно юбилееобразны, то теоретически я был бы готов м'эззекюте*; фактически же... Зимую, в буран, по горам, 250 миль проехать на автомобиле да 250 назад, чтобы послушать на очередную лекцию в университете, трудно-вато, а железнодорожный билет стоит 25 долларов, которых у меня нет. Вместо того, чтобы спокойно заниматься своим делом, я принужден вот уже десятый год отваливать глыбы времени и здоровья университетам, которые платят мне меньше, чем получает околоточный или бранд-майор. Если же фонд решил бы финансировать мой приезд, то все равно не приеду, потому что эти деньги гораздо лучше переслать Бунину.

Когда Вам будет 80 лет, я из Африки приеду Вас чествовать.

Очень был рад Вашему письму, но грустно было узнать о Вашей глазной болезни. Думаю, что весной буду в Нью-Йорке, и очень будет радостно Вас повидать.

Мы оба шлем вам обоим привет.

Дружески Ваш

В. Набоков-Сириин.

¹ Речь идет о книге воспоминаний «Убедительное доказательство» на английском языке, первом варианте книги «Другие берега».

11 февраля 1951 г.

Дорогой Владимир Владимирович.

Ну что ж, очень жаль, что Вы не можете приехать. Я передал комиссии содержание заключительной части Вашего письма. Все были очень огорчены. Разумеется, комиссия оплатила бы Ваши расходы по поездке, но я сообщил и то, что Вы и в этом случае выступить не могли бы.

Сердечно Вас благодарю за добрые слова обо мне. Я чрезвычайно их ценю. Спасибо.

Насколько мне известно, Бунин признает большой талант Блока. Помнится, он писал только о «Двенадцати» и «Скифах». Разве Вам так нравятся именно эти произведения? Тогда мне трудно было бы в Вами согласиться. Но не стоит об этом спорить. Или поговорим, когда Вы приедете.

Мы оба будем сердечно рады повидать Вас здесь. Еще до того, конечно, прочту Вашу новую книгу. Я в Ницце читал некоторые отрывки из нее в «Нью-Йоркер». Они превосходны. Как жаль, что университет отнимает у Вас столько времени! Все же надеюсь, что Вы готовите роман. Правда? Было бы в высшей степени печально для литературы, если б это оказалось неверным.

Шлем Вам, Вере Евсеевне и Вашему сыну наш сердечный привет. До скорого свиданья.

18 июля 1951 г. Алданов перед возвращением во Францию отправляет Набокову письмо, прощается. Сообщает, что в Нью-Йорке создается русское книжное издательство¹ и главой его будет известный в США знаток русской литературы Н. Р. Вреден. Советует Набокову спешно обратиться к Вредену: «Я с ним, разумеется, говорил о Вашем „Даре“». Роман Набокова «Дар» до того времени ни разу не был опубликован отдельной книгой, а в журнале «Современные записки» перед второй мировой войной печатался без главы о Чернышевском.

¹ Это издательство получило название «Издательство имени Чехова».

* m' exécuté — подчиниться (франц.).

Ответное письмо Набокова из Вест-Йеллоустона, штат Монтана, датировано 15 августа того же года:

*Дорогой Марк Александрович,
благодарю вас за дружеское сообщение: я написал Вредену и пошлю ему манускрипт, когда вернусь в Итаку.*

Жена и я находимся сейчас в Монтане, на западе от Елостонского парка (ели стонут!), а сын в ста милях от нас в Тетонах (так французский путешественник назвал тень изумительно острых гор) в Wyoming'e, где занимается альпинизмом. Все мое время уходит на бабочек: мы провели незабываемый месяц на огромной высоте в юго-западном Колорадо, где ловили бабочку, которую я сам когда-то описал, а самокки не знал, — а теперь у меня этих еще никем не виданных самочек двадцать штук. Ноги у меня еще футбольные, но груди прыгают, когда бегаю.

После этого письма переписка надолго прервалась, и следующее дошедшее до нас письмо датировано 10 октября 1954 года. Набоков на бланке Корнелльского университета (Отдел русской литературы. Владимир Набоков) сообщает о впечатлении, которое произвела на него книга Алданова «Ульмская ночь»:

*Дорогой Марк Александрович,
пишу вам два слова между лекциями — только чтобы сказать вам, что во время случайного досуга (в поезде между Итакой и New York'ом) я прочитал вашу «Ульмскую ночь». Я был взволнован этой вашей самой поэтической книгой — ее остроумие, изящество и глубина составляют какую-то чудную звездную смесь — именно «ульмскую ночь».*

*Будьте здоровы.
Ваш В. Набоков.*

Эта книга Алданова, утверждавшая, что в истории закономерностей нет, что она сплошная цепь случайностей, привлекла пристальное внимание эмигрантских писателей и общественных деятелей. В нью-йоркской газете «Новое русское слово» была напечатана в высшей степени положительная рецензия Георгия Адамовича. В письме к Алданову от 17 марта 1954 г. он назвал «Ульмскую ночь» одной из самых замечательных его книг, даже в художественном смысле. Е. Д. Кускова спорила с концепцией книги: «Совершенно убеждена, что если б убили Ленина, Октябрь был бы ускорен. Это — аксиома при разборе последовательности русских истор. событий. Конечно, верного «аршина» для измерения **предвидения** верных или неверных действий нет. Но тем не менее политик и общественный деятель тем и отличается от простых смертных, что аршин у него есть, пусть приблизительный. Можно сказать так: есть безусловная закономерность и в истории» (письмо Алданову от 25 октября 1954 г.). Алданов отвечал ей через два дня: «Спорить, конечно, об этом трудно, но я остаюсь при своем мнении, что октябрь был «чертовой лотереей». Кстати, к моему изумлению (очень приятному) я вчера получил просто восторженное письмо об этой моей книге — от Вл. Набокова-Сирина! Он получил ее почти год тому назад, тотчас после ее выхода, теперь будто бы прочел и дает такую оценку. Разумеется, я очень рад».

Алданов считает нужным поблагодарить Набокова за отзыв. Из его письма Набокову от 26 октября 1954 г.:

*Дорогой Владимир Владимирович.
Только что я получил от Чеховского издательства Ваше письмо от 10-го, пересланное мне по простой, не воздушной почте.*

Надо ли Вам говорить, как мне Ваше письмо было приятно. Доставило большую радость именно потому, что исходит от Вас. От души вас благодарю. Знаю, что Вы очень преувеличили достоинства моей книги.

Я в свое время поручил Чеховскому издательству послать Вам «Ульмскую ночь» — было бы странно отправлять ее в Ниццу с тем, чтобы она отсюда ушла в Америку. Таким образом книга была без надписи. Сделаю надпись при встрече, так как все же надеюсь вернуться в С. Штаты (хотя делать мне там нечего).

В последней книге «Нового журнала», еще мною не полученной, помещено начало моей повести «Бред». Она будет печататься в журнале лишь в отрывках, и уж по одному этому прошу Вас (если прочтете) не судить слишком строго. {...}

В отличие от «Ульмской ночи» «Бред» Алданов прошел почти незамеченным и в его переписке с Набоковым не обсуждался. Но в переписке двух писателей, относящейся к 1955 г., обсуждались другие их новые произведения, другие литературные темы.

7 марта 1955 г. Алданов пишет:

Дорогой Владимир Владимирович.

Я уже недели две тому назад получил Вашу книгу от Чеховского издательства — не сомневаюсь, что это Вы распорядились мне ее послать (как и я Вам в свое время «Ульмскую ночь»): Чеховское издательство никаких книг других авторов мне не посылает, да и свои собственные я давно покупаю, так как бесплатных они авторам дают, как, впрочем, все американские издательства, всего шесть экземпляров.

«Другие берега» мне очень хорошо известны по американскому изданию. Все же, разумеется, я тотчас приступил к чтению русского издания, которое «переводом» назвать нельзя. Читал медленно, с все увеличивающимся восторгом и даже изумлением. Такие чувства у меня теперь вызывает только Вы — из всех современных писателей. Что я мог бы к этим словам добавить? Да Вы и сами знаете цену этой книги, как и мое мнение о Вас.

Принято говорить: «Желаю большого успеха книге». Я это, конечно, и говорю. Но какой может быть в настоящее время у русской книги успех? Ценителей в эмиграции мало, а читателей лишь немногим больше. Будет ли она допущена в Россию в ближайшее десятилетие? Надежды мало. Да и возродится ли читатель и в самой России? Все-таки тридцать семь лет там отравляют все, в том числе и вкус.

Алданов шлет Набокову в английском переводе свой новый рассказ «Каид», просит совета, какому американскому еженедельнику его предложить. Его литературный агент, Хорч, скончался, и теперь писателю самому приходится заниматься литературной судьбой своих произведений.

30 марта Набоков, сообщая, каковы расценки на художественную прозу в различных американских журналах, все же в осторожной форме замечает, что «Каид» не произвел на него большого впечатления: «... мне сдается, что поскольку Ваш материал будет переводной, то, может быть, скорее всего им подошел бы блестящий алдановский очерк о какой-нибудь яркой фигуре на теперешней авансцене... Качество перевода среднее». Он посылает свой новый адрес: «Живу же в разных мебелирах».

В письме от 6 апреля Алданов берет своего переводчика под защиту: это довольно известный американский дипломат (фамилию не называет) и в качестве дипломата не может печатать перевод под своей подписью, пусть в редакции думают, что рассказ написан по-английски. «Не знал, что Вы по сей день живете в мебелированной квартире (как и я во Франции, но здесь пустых квартир и нет). Отчего же Вы не обзаводитесь мебелью, «своим углом»? Ведь Вы обосновались в Америке навсегда».

На деле через пять лет Набоковы переедут на постоянное жительство в Швейцарию. В конце письма Алданов касается другой темы: в Париже осенью ожидается съезд эмигрантских писателей. «Какая его задача и чем он будет заниматься — не знаю. Я получил уже четыре месяца тому назад телеграфное приглашение от Американского комитета, но не принял его. Едете ли туда Вы?»

18 апреля Набоков пишет:

Дорогой Марк Александрович.

Простите нескорый ответ — очень трудный у меня год.

Конечно, можно, не рассказывать журналам, что рассказ переведен с русского: мне это почему-то не пришло в голову — отупевшую и облысевшую голову».

Он приводит несколько примеров очевидных переводческих ляпов и продолжает:

«Мне бы страшно хотелось перевести это для Вас заново, если бы только было время. Но работаю все время под сильнейшим напором, так как полжизни уходит на университет. А на покупку дома или хотя бы обстановки не хватает и хватать не будет, пока сын учится. Он очень дорогой — во всех значеньях.

На эмигрантский съезд писателей меня не звали, да я не поехал бы, если бы пригласили. С кем «съезжаться»? С Нароковыми да Бушуевыми? Или с Адамовичем, Ивановым да ихним кумиром Буровым? Вас же надеюсь повидать в Америке или в Ницце<...> Прилагаю рассказ».

Алданов 24 апреля отвечает:

«Очень тронут тем, что Вы так внимательно прочли мой рассказ и внесли

ценные поправки. Сердечно Вас благодарю. Боюсь, что Ваш труд, как и мой, был напрасен: едва ли мой рассказ может быть помещен в американских периодических изданиях. В его основу, кстати сказать, было положено мною истинное происшествие: в свое время я прочел во французских газетах о самоубийстве в провинциальной французской гостинице, после получения телеграммы, какого-то экзотического преступника-эстета. Заметка была небольшая и внимания на себя не обратила. Печать к делу не возвращалась.

Разумеется, мне и в голову не могло прийти — просить Вас о переводе, помилуйте! Помимо всего прочего, я знаю, как Вы заняты.

От Вредена я по-прежнему никаких известий не имею.

Во Франции все уверены, что Чеховское издательство кончается. В. Н. Бунина года полтора вела с ними переговоры об издании книги покойного Ивана Алексеевича о Чехове. Они в конце концов эту книгу приняли — но вместо обычных 1500 долларов предложили только 750. По словам Веры Николаевны, наследникам Шмелева не так давно предложили 250! Это тоже приписывается тому, что денег у издательства осталось мало.

Как я и писал Вам, я отказался участвовать в парижском писательском Съезде».

31 июля 1955 г. «Каид», последний из рассказов Алданова, опубликованных при его жизни, появляется на страницах «Нового русского слова». В архиве Алданова, хранящемся в Российском фонде культуры, имеется черновая машинопись этого рассказа. В газете опубликован, по существу, новый текст, хотя фабула осталась неизменной. Возможно, писатель переработал свое произведение под впечатлением отзывов о нем Набокова.

Летом 1955 г. оба писателя болеют, Алданов переносит хирургическую операцию. Их переписка возобновляется письмом Набокова, датированным 31 августа:

*Дорогой мой Марк Александрович,
с запозданием узнал, что вы были больны. Сам я лежал в госпитале с ужасающим лимбаго — червь так чувствует лопату садовника. Напишите ко мне два слова, как вы?*

Читал «Каид» в Н. Р. С. — это несравненно лучше английской убогой версии. В Париже в англ. изд. (Olympia) выходит мой роман «Lolita» — развитая окрыленная форма моего старого рассказа «Волшебник».

Обнимаю вас!

Привет вам обоим от нас обоих.

Ваш В. Набоков.

Ответ Алданова датирован 10 сентября.

Дорогой Владимир Владимирович.

Сердечно Вас благодарю за милое сочувственное письмо. Со дня моей операции (простаты) прошло уже более трех месяцев, она сошла хорошо, я пробыл двадцать пять дней в клинике, теперь поправился, все в порядке. Правда, врачи и приятели мне обещали, что я, как все люди после этой операции, «скоро помолодею на десять лет». Пока я не помолодел, напротив, еще чувствую большую усталость, но утешаюсь тем, что «скоро» — понятие неопределенное.

Надеюсь, что и Ваш «лумбаго» прошел совершенно? Насколько мне известно, эта болезнь связана с сильнейшими болями. У меня хоть болей никаких не было, ни до операции, ни во время операции, ни после операции.

Спасибо за слова о «Каиде». Разумеется, все почти переводы нехороши. Я был доволен только переводами покойного Вредена, да еще очень недурно перевела мои романы на французский язык в свое время Татьяна Марковна — критика хвалила ее переводы. Теперь мне и переводить нечего. Мои «Повесть о смерти» и «Бред» не появились отдельным изданием даже по-русски и, верно, не появятся, так как Чеховское издательство кончилось, а других нет — по крайней мере для «левых»: правые писатели могут издавать книги у Гукасова или в «Посеве», а я туда не пойду, даже если бы пригласили. Между тем, не имея русской книги, очень трудно находить издателей на иностранных языках — не посылать же им рукописи. Большая часть моих иностранных переводов, кстати, производилась с американских изданий, а теперь, после кончины Вредена, который все мое устраивал в С. Штатах (американские издатели на него полагались и русского издания не требовали для своих профессиональных «ридеров»), я не вижу и того, как их находить без русского*

* От английского reader — читатель, чтец.

издания и без хорошего агента. Как назло, «Живи как хочешь» продавалась по-английски хуже всех других моих книг. Просто не знаю, как быть!

А кто теперь Ваш американский издатель? Так Вы переделали «Волишебник» в роман и печатаете его во Франции?

Это письмо осталось без ответа. Лишь 18 января 1956 г. Набоков из Итаки отправляет письмо в Ниццу:

«Чувствую себя очень виноватым, что так долго Вам не писал. Моя переписка как-то разлезлась по швам. За этот год я кончил, или почти кончил, две мучительных книги, из которых одна — громадный том комментариев к моему «Евгению Онегину».

Про Чеховых Вы, наверно, уже знаете. Они весной кончатся. Я успел им продать сборник рассказов. А что из Вашего они еще издадут? Очень рад был узнать про **Ридерс Дайджест**.

Через десять дней заканчиваю семестр и уезжаю в отпуск».

Письмо Алданова от 25 февраля.

Дорогой Владимир Владимирович.

Очень обрадовался Вашему письму от восемнадцатого января. Оно пришло с огромным опозданием, так как Вы послали его не по воздушной почте. Все же я мог бы ответить уже недели две тому назад — но Вы сообщили, что заканчиваете семестр и уезжаете в отпуск. Верно, теперь уже вернулись.

Сердечно поздравляю с тем, что работа у Вас идет так успешно: Вы сообщаете, что кончили две книги, из которых одна громадный том комментариев к «Евгению Онегину». А какая другая? Роман? Когда и где обе появятся?

Чеховское издательство больше моего ничего не приобретало. Спасибо, что издали «Повесть о смерти», «Бред» и «Ульмскую ночь». Больше всего книг они приобрели (правда, лишь по половинной цене, 750 долларов за том) у Черчилля, вдвое больше, чем у нас. А теперь ни единого русского издательства за границей не осталось, и больше книгами по-русски мои писания появляться не будут. Некоторые авторы печатают свои книги на собственные деньги, но я для этого слишком беден.

Очень меня удивили и озадачили Ваши слова: «очень рад был узнать про Ридерс Дайджест!» Эти слова как будто относились ко мне, но я никаких дел с Ридерс Дайджест не имел. Пожалуйста, не мучьте меня и поскорее сообщите, в чем дело. Не имею об этом ни малейшего понятия. Вы, наверно, ошиблись.

Здоровье у нас у обоих сносное, но не больше: скрипим. Оба шлем Вам и Вере Евсеевне самый сердечный привет и лучшие пожелания, включая в них и запоздалые новогодние. Пожалуйста, не забываете.

Мой «Бред» на свой риск, т. е. не имея издателя, переводит на английский некий *Carlmichael* — говорят, хороший переводчик.

Письмо Набокова от 30 апреля 1956 г. напечатано на латинской машинке, и мы приводим в авторской транскрипции часть фразы: «Prostitute, chto tol'ko teper' Vam pishu — i prostitute osobo, chto pishu takim neudobochitaemim sposobom».

В продолжении письма читаем:

«За три месяца, проведенных в Кембридже, я только и делал, что, работая в библиотеке и на дому, делал выписки, записывал и — писал. Не оставалось ни времени, ни сил на корреспонденцию, да и сейчас рука так устала, что приходится это письмо диктовать, а русской машинки нет с собой.

Простите еще, что я, кажется, ошибся насчет «Дайджеста»: мне кто-то говорил, что там печатается Ваша вещь, и я поверил и обрадовался. Напутал, видимо, не я, а мой дурак-собеседник.

Чеховы закрываются. Надежды, что их продлят, не осталось, и, кажется, нет уж и надежды, что найдутся другие меценаты. Это очень грустно.

Надеюсь, что вы получили мою книжечку рассказов, которую я Вам послал отсюда.

Моя Евгение-Онегинская книга почти кончена. Остается только кое-что про-вернуть и тому подобные пустяки. Послезавтра мы с женой уезжаем в Юту, сняли там домок. А сын собирается петь в летней опере и ждет призыва в армию.

Ужасно хотелось бы, чтобы Вы прочли мою «Лолиту» — нежную и яркую книгу, которая вышла по-английски в Париже, выйдет по-французски у Галлимара, но на которую здешние издатели только облизываются, а издать не смеют» («...»)

Из письма Алданова от 15 мая 1956 г.:

«Сердечно Вас благодарю за письмо и за присылку книги рассказов. Прочел ее с наслаждением, почти все давно читал и, разумеется, все, что читал, помнил хорошо. Бесплезно говорить Вам мое мнение: Вы давно его знаете превосходно — это шедевр. Теперь читает Татьяна Марковна и тоже с восторгом.

Не знал, отвечать ли теперь на Ваше письмо. Вы сообщили, что через два дня уезжаете и что сняли домик. Если так, то как будто надолго, на лето? С другой же стороны, разве теперь университетские каникулы? Думаю, что университет Вам писем не пересылает? Возможно поэтому, что Вы настоящее письмо получите очень, очень нескоро.

Я слышал о «Лолите» от англичан, да и Вы мне писали, что выпускаете эту книгу по-английски в Париже. Я спросил в здешнем книжном магазине — ее тут нет. Куплю, когда приеду в Париж. Очень хочу прочесть. Знаю только два прецедента: Джойс и Франк Харрис (который, кстати, печатал свои книги по-английски даже не в Париже, а в Нице, где жил и умер). Буду вспоминать Ваше чтение у Фондаминского в 1939 году.

Вы мне говорили, что Ваш сын хочет стать певцом. Так он уже дебютирует в опере? Желаем ему большого успеха. Знаю, что Вы музыки не любите. Верно, сын пошел в Веру Евсеевну?

У нас ничего нового: ни делами, ни здоровьем, ни успехами похвастать не можем. После кончины Вредена я остался сразу без издателей, переводчика (хорошего) и агентов: прежде все делал он.

Рад, что скоро выйдет «Онегин», но не совсем понимаю, что это такое? Перевод?»

Характерно для Алданова, что он, проявляя большой интерес к текущим делам Набокова, даже не упоминает о своей главной тогдашней работе — о романе «Самобийство».

И снова на латинской машинке, на которой русские фразы выглядят неудобочитаемо, 7 сентября 1956 г. Набоков пишет последнее свое письмо Алданову. И снова для удобства читателей мы публикуем его в русском шрифте.

Дорогой Марк Александрович,

простите, что опять пишу Вам этим громоздким способом: целые дни сочиняю, рука устает, стараюсь все, что можно, диктовать.

Простите также, что отвечаю с таким опозданием на Ваше дружеское письмо, — все из-за того же перенасыщения работой, писательской и энтомологической летом, а зимой еще с прибавлением академической.

Очень был тронут Вашими милыми словами о «Весне в Фиальте».

В прошлом феврале я взял полагавшийся мне отпуск. Полгода работал в Виденер, в Кембридже, потом мы с женой поехали в южную Юту на два месяца, а сын поступил в летний оперный театр на Мейнском курорте. В Юте (райские края!) кончил начатый сыном перевод лермонтовского «Героя». А вернувшись в Итаку, в августе, я, также при участии сына, этот перевод окончательно отделил. Он должен скоро выйти у Даблдея.

Теперь сын возвращается в Кембридж продолжать учиться петь и ждать призыва в армию, а я вернусь к Пушкину, с которым надеюсь покончить к Рождеству.

Не собираетесь ли Вы на зиму в Штаты? Не увидимся ли в Нью-Йорке? Нашли ли Вы за это время агента? Я про агентов ничего не знаю, но если Вы остаетесь в Европе, то Вам, может быть, следовало бы таковым обзавестись. Если хотите, я узнаю у моего издателя, какое агентство сейчас на хорошем счету.

Шлем самый сердечный привет Татьяне Марковне и Вам.

Мой адрес все тот же: Голдвин Смит холл, Корнелль, Итака, № 4.

Читали ли дельную, но грубоватую книгу Глеба Струве?!

¹ «Русская литература в изгнании».

25 сентября 1956 г. Алданов пишет последнее письмо Набокову:

Дорогой Владимир Владимирович.

Очень рад был Вашему письму: действительно давно не имел от Вас известий. Не знал, что Вам полагался полугодовой отпуск. Вижу, что использовали его как следует. Надеюсь, что и отдохнули.

Значит, Вашему сыну удалось найти издателя для перевода «Героя нашего времени»? Это большой успех: вероятно, роман переводился и в далекие времена? Поздравляю его и желаю успеха у критики и публики.

Прочел Вашу «Лолиту». Тот же Ваш огромный, удивительный талант. В давнем письме ко мне Вы, помнится, назвали эту книгу «нежной». С этим мне согласиться было бы трудно — если Вы сказали это серьезно. Слышал о письме Грэма Грина, порадовался, но для тиража оно, верно, не имело значения, если книга в Англии и С. Штатах не продается. Когда выйдет по-французски? Кто Ваш издатель для «Онегина»? Мой «Бред» приобрело американское издательство «Sloan». Я обошелся без агента. Выйдет поздней весной 1957 г. Надеюсь, что за американским изданием последует французское. За исключением трех моих книг, вышедших по-французски в переводе Татьяны Марковны, французские издатели неизменно заказывали перевод своим переводчикам (хотя критика очень хвалила перевод Т. М-ны) — это бы ничего, но эти переводчики русского языка не знали и переводили с английского!

Я выше сказал об «Онегине», но Вы пишете: «Я вернулся к Пушкину». Значит ли это, что дело идет не только об «Онегине»?

Имел ли Ваш сын успех как певец? Какой у него голос? Баритон?

Здоровье «так себе». А Ваше и Веры Евсеевны? Шлем Вам обоим самый сердечный, дружеский привет. Очень кланяемся сыну.

Ваш М. Алданов.

Как часто у меня бывает при воздушной бумаге, этот листок порвался в машинке. Пожалуйста, извините.

От руки приписано: Книги Г. Струве я не видел.

25 февраля 1957 года Алданов скоропостижно умер.

Публикация, подготовка текста
и примечания Андрея ЧЕРНЫШЕВА



В ближайших номерах будет опубликована неизвестная переписка И. А. Бунина и М. А. Алданова.

С. А. НИКОЛЬСКИЙ, доктор философских наук

Россия, год 2000: конец крестьянства?

В конце 1995 года, накануне выборов в Государственную думу, по оптимистической или пессимистической окраске слов можно было наверняка определить — с кем имеешь дело: сторонниками власти или оппозиции. Первые считали, что в стране многое только-только начало налаживаться и не дай Бог кому-нибудь помешать этому процессу. Вторые говорили, что все, наоборот, плохо и будет еще хуже.

Я не могу принять ни одной из этих позиций. Стараясь понять логику рассуждений сторон, их основания и мотивы, я прихожу к иному. Насколько то «иное» в своей прогностической части соответствует действительности, станет ясно очень скоро. По моим расчетам, это будет рубеж столетий. В это время мы получим ответ на вопрос, будет ли далее существовать российское крестьянство как производитель или натурализация хозяйства вернет его сначала во времена средневековья, а дальше оно и вовсе исчезнет.

В спектре тем, обсуждаемых в научных и политических кругах, проблемы крестьянства и сельского хозяйства России поднимаются крайне редко. Общим местом признается ряд утверждений, прежде всего относительно «нерыночности» крестьянства, проявляющейся в его постоянных апелляциях к государству; его «приверженности» колхозно-совхозным организационно-хозяйственным формам и, значит, прокоммунистической ориентированности; и, наконец, консерватизме (читай: антиреформаторских установках) Аграрной партии, действительно выражающей интересы широких слоев сельских жителей.

Во всем этом, на мой взгляд, имеется довольно серьезная путаница, которая еще более усугубляется тем, что, хотя реформы в АПК не идут, перемены в жизни села происходят весьма существенные.

Вместе с тем имеющееся у аналитиков

состояние «вроде-бы-знания» делает как бы ненужным постоянное отслеживание экономических, социально-политических и культурологических проблем современной деревни. Всем «решительно настроенным реформаторам» заранее ясно: надо решить эти проблемы в либеральном духе, и дело пойдет само собой.

Не решаются. Не идет. Наоборот: кризис углубляется. Почему?

Попробуем рассмотреть эти вопросы, с самого начала обозначив несколько несомненных, как мне представляется, положений:

1. Современное развитое сельское хозяйство нигде в мире не существует и не может существовать без политики аграрного протекционизма. Вопрос во временных рамках, степени и формах, равно как и в сочетании протекционизма с рациональными реформами, адекватными экономическому, социально-политическому и культурно-психологическому состоянию современной деревни.

2. Нет ничего более далекого от истины, чем обвинение всех аграриев в нерыночности и симпатиях к коммунистической идеологии. Причина заблуждения — искаженное понимание того, что такое рынок для крестьянства и сельского хозяйства.

3. Затянувшееся у нас решение проблемы национальной идентичности как необходимое условие поддержания жизнеспособности общества и государства невозможно без эффективной охранительной позиции по отношению к крестьянству.

4. Кризисное состояние агропромышленного комплекса, продолжающееся уже много лет, подвело нас к жесткой истине: если бы даже сейчас мы занялись рациональной реформой, частью которой является определенная государственная поддержка деревни, наших сил и ресурсов не хватит на все село. Значительную его часть уже нельзя спасти, и она обречена на медленную деградацию с переходом к еди-

ноличным потребительским (натуральным) хозяйствам. И чем дольше мы не вмешиваемся в этот процесс, тем большая часть деревни переходит в состояние постепенного одичания, а там и небытия.

Прежде чем приступить к качественно-му анализу проблемы, дам ее количественное описание. Приведенные далее цифры дают представление о характере и направлениях регресса АПК в последние четыре года, а также позволяют сравнить теперешнее положение со временем, когда сельское хозяйство хотя бы относительно приближалось к тому, что принято считать мировым уровнем.

Динамика капиталовложений в АПК в ценах 1991 года:

1986—1990 — 304,9 млрд. руб., 1991—65,8, 1992 — 22,4, 1993 — 17,6, 1994 — 4,6. Итого: сокращение на 98,5 процента.

Поставка и внесение минеральных удобрений:

1986—1990 — 13 011 тысяч тонн, 1991—10 141, 1992 — 5 509, 1993 — 3 720, 1994 — 1 447. Итого: сокращение на 98 процентов.

Посевные площади некоторых сельскохозяйственных культур:

Зерновые. 1986—1990 — 65 642 тысячи га, 1991 — 61 783, 1992 — 61 939, 1993—60 939, 1994 — 56 221. Итого: сокращение на 14 процентов.

Сахарная свекла. 1986—1990 — 1 475, 1991 — 1 399, 1992 — 1 439, 1993 — 1 333, 1994 — 1 104. Итого: сокращение на 25 процентов.

Лен-долгунец. 1986—1990 — 481, 1991 — 328, 1992 — 327, 1993 — 263, 1994 — 134. Итого: сокращение на 72 процента.

Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств:

Крупный рогатый скот. 1985 — 59 623 тысячи голов, 1990 — 57 043, 1991 — 54 677, 1992 — 52 226, 1993 — 49 350, 1994 — 43 886. Итого: сокращение на 26 процентов.

Свиньи. 1985 — 38 955, 1990 — 38 314, 1991 — 35 384, 1992 — 31 520, 1993 — 28 600, 1994 — 25 011. Итого: сокращение на 36 процентов.

Овцы и козы. 1985 — 63 420, 1990 — 58 195, 1991 — 55 255, 1992 — 51 368, 1993 — 45 060, 1994 — 35 948. Итого: сокращение на 43 процента.

Птица. 1985 — 627 631, 1990 — 659 808, 1991 — 632 232, 1992 — 568 196, 1993 — 568 200, 1994 — 507 782. Итого: сокращение на 19 процентов.

Производство некоторых видов пищевой продукции:

Мясо. 1985 — 5 333 тысячи тонн, 1990 — 6 642, 1991 — 5 822, 1992 — 4 436, 1993 — 3 109, 1994 — 2 365. Итого: сокращение на 56 процентов.

Масло животное. 1985 — 721, 1990 — 833,

1991 — 729, 1992 — 746, 1993 — 694, 1994 — 465. Итого: сокращение на 35 процентов.

Молоко. 1985 — 17,9, 1990 — 20,8, 1991 — 18,6, 1992 — 9,5, 1993 — 6,9, 1994 — 5,8. Итого: сокращение на 68 процентов.

Кондитерские изделия. 1985 — 2 268, 1990 — 2 869, 1991 — 2 641, 1992 — 1 825, 1993 — 1 058, 1994 — 864. Итого: сокращение на 62 процента.

В 1994 году объем валовой продукции в хозяйствах всех категорий по сравнению со среднегодовыми показателями 1986—1990 гг. снизился на 26 процентов, в сельскохозяйственных предприятиях — на 41 процент. Таким образом, если эта тенденция будет иметь место и далее, то к 2000 году сельское хозяйство, упав за 50-процентную отметку, вообще потеряет какую-либо экономическую привлекательность для государства. Его товарность сократится до предела, уступив место натурализации. Основная масса производителей-крестьян окончательно уйдет на подворья, а горожане будут жить на импортном продовольствии и на урожае с садово-огородных участков, площадь которых существенно увеличится. Все это, как очевидно, будет означать уже не кризис сельского хозяйства России, но его крах.

В отличие от России — родины и главного полигона искусственных экспериментов — в других странах аграрные кризисы возникали в основном после катаклизмов, вызванных внешними событиями. Например, региональных и мировых войн. Но каковы бы ни были причины, вызывающие кризис в сельском хозяйстве, оно в любом случае непременно становилось предметом общенациональной заботы, а его проблемы не отдавались на волю рыночной саморегуляции. В дело вступал аграрный протекционизм.

Это явление со второй половины XIX века постоянно присутствует в тех странах, чье сельское хозяйство в силу его слабости не могло выдерживать конкуренцию с более сильными соседями. В те времена дорогостоящая поддержка «своего» производителя объяснялась остальной части общества доводами о том, что нужно иметь собственную надежную продовольственную базу на случай недружественного поведения соседних государств.

Конечно, на самом деле перед национальным правительством часто стояла дилемма: немедленно вводить протекционистскую политику и получить быструю отдачу или, не прибегая к протекционизму, ограничиться мероприятиями, которые лишь в перспективе приведут к повышению эффективности сельского хозяйства. Как правило, решению предшествовали споры, политическая борьба. Однако в

итоге выбор всегда делался в пользу аграрного протекционизма. Слишком длительным и затратным был путь «самоодернизации» аграрного сектора. Движение по этому пути в то время, когда кризис уже охватил сельскую экономику, делало реальной опасностью потери продовольственной безопасности — части национального суверенитета. Обратимся к конкретным примерам.

В конце XIX века Германия сузила масштабы свободной экономики, введя протекционизм в отношении сельского хозяйства. Этому предшествовал факт превращения страны в мощную индустриальную державу, способную закупать зерно по более низкой цене в недавно заселенных европейских колониях. Но, говорили дальновидные политики, это неминуемо приведет к свертыванию германского зернового хозяйства. Вопрос решил образовавшийся «блок солидарности» юнкеров Восточной Германии и стальных магнатов западной части страны. Именно он подвинул Бисмарка ввести тариф на импорт зерна. Угроза национальному суверенитету была устранена. Аналогичные события произошли в то время во Франции и Италии.

Накануне русско-японской войны в Стране восходящего солнца также отказались от импорта риса, заменив его затратными протекционистскими мерами поддержки отечественных производителей. Под лозунгом национальной безопасности в период военных действий внутри страны победу над коммерсантами, заинтересованными в ввозе риса, одержали земельные власти в лице Имперского сельскохозяйственного общества. Протекционизм не был отменен и после окончания боевых действий. Напротив, он возростал и стал ослабевать лишь после того, как страна получила возможность производить для себя рис и некоторые другие прежде импортируемые сельскохозяйственные продукты в своих колониях в Корее и на Тайване.

После второй мировой войны японский аграрный протекционизм нарастал год от года. Конечно, его высокие показатели стали возможны благодаря еще более высоким темпам роста в промышленности: государство получало большие средства для перераспределения в пользу крестьян, деятельность которых при политике свободного рынка прекратилась бы сама собой. Следует отметить, что даже в восьмидесятые годы уровень производительности труда в японском сельском хозяйстве составлял лишь 12 процентов от уровня американского и менее 25 процентов от уровня производительности сельского труда во Франции и Германии. Что же до сегодняшних реалий, то известно, что страна

вместе со Швецией и Швейцарией занимает первые три места в мировой классификации государств по уровню аграрного протекционизма.

Конечно, в истории есть и другие примеры. Так, в середине прошлого века Великобритания в согласии с идеями торговой доктрины, разработанными Манчестерской школой, отказалась от политики аграрного протекционизма. Однако, в первых, в то время Британская империя была сильнейшей индустриальной державой с развитым рынком промышленных товаров. А во-вторых, широко практиковала импорт продуктов питания из своих заморских колоний.

Сегодняшняя мировая ситуация разнообразна. Есть страны, которые предпочитают не тратить средства на продовольственную безопасность. Однако это, как правило, государства как бы второго ряда. Они стоят за спинами своих более могущественных союзников и партнеров.

В первом же ряду положение определяется либо однозначно сильными аграрными державами (типа США и Канады), экономическая мощь которых включает традиционный аграрный протекционизм, либо объединениями не столь сильных государств, создающими коалиционную межгосударственную безопасность (включая обеспечение продовольствием), — речь о Европейском Союзе.

Примечательно, что до начала 90-х годов в ЕС не входили Швейцария и Швеция, всегда охранительно относившиеся к своему сельскому хозяйству. Причем их аграрный протекционизм в отличие от некоторых других стран определялся не только «производственными», но и «культурными» целями. То есть для них было важно сохранить не просто конкретное товарное аграрное производство, но и тот особый хозяйственный уклад и особый социальный тип человека, которые называются швейцарским и шведским сельским хозяйством и крестьянством. Естественно, эти требования шли от самого крестьянства, которое было столь сильно, а страна столь демократична, что эти требования неизменно выполнялись. Отсюда масса охранительных законодательных норм, условий и социальных фильтров, которые препятствуют проникновению в деревню того, что может нанести ей ущерб или замедлить процесс улучшения благосостояния сельских жителей.

Так, с 1951 года Швейцария жила по закону, согласно которому доходы предпринимателей, действующих в сельской местности, не должны превышать доходов сельских производителей — крестьян. В противном случае они изымаются государством и перераспределяются в их пользу.

Ситуация начала меняться в последнее время в связи с вступлением в ЕС. Что это означает, например, для Швеции? Как ни странно — дальнейшее улучшение положения крестьянства. Оказалось, что совокупные выгоды от дотаций партнеров по Европейскому Союзу выше субсидий, которые выделяло собственное национальное правительство.

Конечно, происходят изменения в структуре производства сельскохозяйственной продукции и лесного хозяйства страны: меньше нужно продуктов и больше — молодого леса, невспаханной земли. Ряд сельскохозяйственных зон переходит в режим экологических заповедников. Параллельно идут изменения в структуре занятости, уровне доходов разных социальных слоев деревни, соответствующие службы активно занимаются их профессиональной переподготовкой. И все это уже четыре года постепенно и обстоятельно делается большими научными и государственными силами в отношении всего лишь 92 тысяч фермерских хозяйств страны. Похоже, свободная экономика Швеции превратилась в форму перманентного аграрного протекционизма. Или аграрный протекционизм стал неотъемлемой частью шведской модели рыночной экономики.

Вернемся, однако, к вопросу о мотивах введения политики аграрного протекционизма. Как отмечалось, в прошлом главным мотивом была опасность снижения уровня продовольственного самообеспечения страны при высокой вероятности межгосударственных столкновений. Количество продовольственных запасов принималось в расчет наравне с количеством запасов оружия и военного снаряжения.

После второй мировой войны ситуация в глобальном масштабе стала более предсказуемой и устойчивой. Страны оформились в блоки по типам общественного строя, внутри них прошла унификация по хозяйственным укладам. (К типам хозяйственных укладов прежде всего нужно отнести семейное фермерство, включенное в крупные агрокорпорации, и тип крупных коллективно-кооперативных и государственных объединений производителей — наемных работников государства с дальнейшей, опять же государственной, вертикальной интеграцией.)

Все страны — участницы второй мировой войны в течение 15—20 лет следовали курсом жесткого аграрного протекционизма: государство активно влияло на экономические процессы в сельском хозяйстве, способствуя его всестороннему укреплению, повышению его эффективности и конкурентоспособности. Предпринимались значительные усилия к восстановлению, модернизации и развитию тех секто-

ров экономики, которые связаны с производством по технологической цепочке «производитель — переработчик — торговля». И только с конца 60-х — начала 70-х годов начался процесс выборочного и постепенного открытия национальных границ для импортной конкурентной сельскохозяйственной продукции и сырья. Принцип «вначале сила — потом открытость» выполнялся повсеместно.

При этом речь шла не только о «внеблоковой», но и о «внутриблоковой» политике. Франция не пускала на свои рынки конкурентные испанские товары, итальянцы — французские и наоборот. Такой политике следовали все, поскольку было очевидно: стоило одной какой-нибудь стране оказаться на коротком продовольственном поводке у другой, и это сразу же становилось средством давления в постоянно возникающих межгосударственных спорах по самым разным вопросам — будь то рыболовство в Мировом океане или разработки полезных ископаемых на континентальном шельфе. Кроме того, вместо разрушительных военных столкновений в особых ситуациях в качестве средства давления страны стали использовать торговые войны. Их итог — всегда прав сильный — подтверждался постоянно и требовал всемерного укрепления продовольственных тылов страны. Установившееся к сегодняшнему дню положение по средневзвешенной импортной пошлине на продовольственные товары таково: для стран — членов Всемирной торговой организации 16 процентов, для Европейского Союза — 21 процент, для Японии — 23.

Иной вариант — ситуация, при которой страна не проводит политику аграрного протекционизма и открывает границы для импортных товаров, имеет жесткие и довольно быстрые следствия. В короткий срок слабое национальное сельское хозяйство разрушается, не выдержав конкуренции с дешевыми товарами развитых сельских хозяйств иностранных государств, и страна оказывается в экономической и политической зависимости от стран-экспортеров.

Естественно, правительства иностранных государств заинтересованы в развитии собственного аграрного сектора — решаются проблемы занятости, возникает возможность для структурной перестройки сельского хозяйства. В последнее время, как показал опыт бывших социалистических стран Европы, развитые страны таким путем решают и свои экологические проблемы: наиболее грязные, экологически вредные, интенсивные производства переводятся на земли вчерашних социалистических соседей. У себя в стране оставляется самое безвредное производство,

расширяются рекреационные зоны, развивается биологическое земледелие.

В полной мере эти опасности и перспективы ожидают и Россию.

Лечение больного, как известно, начинается с правильного диагноза. Воспользуясь этим правилом и я, еще раз подчеркнув, что моя позиция (которую я хотя и высказывал прежде и даже пытался реализовать в 1994 году, будучи министром сельского хозяйства Республики Крым в правительстве Евгения Сабурова) отличается от позиций крайне левых — коммунистов и крайне правых — радикал-либералов. Стоит она в следующем:

1. Сельское хозяйство СССР было неэффективным, природоразрушающим и могло кормить население лишь при постоянной финансовой подпитке за счет экспорта сырьевых ресурсов и при хищнической растрате производительных сил. Одна из двух основных причин состояла в отделении работников от средств производства и результатов их труда. (Вторая причина — трагическая история российской деревни начиная с XX века — предмет особого разговора.) Колхозы и совхозы были воплощением крайне неэффективной формы хозяйствования, при которой экономически не заинтересованные в своей деятельности крестьяне зависели от воли абстрактного собственника — государства и конкретного распорядителя — партийного и государственного чиновника.

2. Для сельского хозяйства не прошли бесследно времена сталинского разгрома аграрной науки в 30-е годы, лысенковщина 50-х годов, конъюнктурные политические пристрастия «первых лиц» в последующие времена. Настоящая аграрная наука в стране была разрушена, на одного нормального ученого приходился десяток ползунаек и конъюнктурщиков. Существенно была искажена методология научных разработок. Так, до сих пор в среде почвоведов и агроэкологов господствует представление о том, что в сельском хозяйстве необходимо поддерживать некий оптимальный «уровень плодородия». Но что это такое вне связи с конкретной сельскохозяйственной культурой, севооборотом, агробиоценозом, технологией? Абстракция. Конкретное же знание применительно не только к району или хозяйству, но и к каждому возделываемому полю, как правило, отсутствует. Нет не только специалистов «внизу», необходимых наборов техники, сортов, минеральных удобрений, гербицидов и пестицидов. Нет знания и понимания того, что это все нужно для нормального ведения производства.

Так было и в «лучшие» брежневские времена, когда из 130 миллионов гектаров

пашни мы имели (по памяти) порядка двадцати под парами, еще двадцати с орошением, еще пятьдесят было защищено лесополосами, еще двадцать осушено, когда вдоволь вносилось минеральных удобрений и органики, а урожаи при этом в среднем по стране не подымались выше 16—17 ц/га.

3. Так называемая перестройка, так и не начавшись в экономике, своим главным негативным результатом в деревне имела растрату накопленного в 1965—1985 годах, в период «развитого социализма», материально-технического и ресурсного потенциала — начиная от почвенного плодородия и кончая социально-бытовой сферой жизни крестьян. Этот потенциал был тем реальным ресурсом, который должен был смягчить в любом случае сложный процесс аграрного реформирования. А то, что любое реформирование все же болезненно, даже если оно тщательно продумано и организовано, по мере возможности экономически и административно регулируется и адекватно состоянию сельского хозяйства и сознанию производителей, сомнений не вызывает.

4. Великий русский экономист Н. Д. Кондратьев выдвигал три условия «рационального реформирования» деревни: во-первых, реформы должны быть реалистичными, выполнимыми и непременно осуществляться; во-вторых — приводить к повышению производительности труда или по крайней мере не понижать ее; и, в-третьих, отвечать требованию справедливости.

С этой точки зрения современные попытки аграрного реформирования в России реформами не являются. Они не реалистичны и поэтому в массе своей проходят формально или не проходят вовсе. В их ходе допущены грубые просчеты — взять хотя бы приватизацию предприятий переработки по «второму варианту», в результате которого в цепочке «производитель — переработчик — торговля» возник монополист, в значительной мере определяющий проблемы сбыта.

Попытки реформ, результативные в практически полном уходе государства из производственно-снабженческо-сбытовой сферы, наряду с факторами общеэкономического порядка устойчиво способствуют снижению производительности, сокращению объемов и даже свертыванию производства.

Что же до принципа социальной справедливости при проведении реформ, столь важного для российской деревни, все еще живущей по нормам обычного права, то он даже не декларируется. То, что было очевидно для русского ученого Кондратьева еще до Октября 1917 года, без сожаления

отброшено нашими реформаторами как коммунистический хлам.

5. Сельское хозяйство России начиная с 1992 года неуклонно деградирует. И дело, конечно, не столько в разрушительном характере реформ, хотя и ошибок было сделано много, сколько в отсутствии у государства долговременной аграрной стратегии протекционистского характера, необходимой для АПК на период глобальной перестройки всей экономики страны. Если отношение к сельскому хозяйству не изменится в ближайшее время, страна действительно потеряет продовольственную независимость и так же, как и по многим другим параметрам, окажется на коротком поводке у процветающих государств.

6. Протекционизм по отношению к сельскому хозяйству не может строиться по принципу «золотых брежневских времен»: вы нам дадите денег столько, сколько мы попросим, а мы вам вернем продукции столько, сколько Бог пошлет. Производственная база, на которую достаточно гарантированно могло бы опереться правительство, ежемесячно сокращается. Но пока она — в довольно суженном варианте — еще существует и может служить основой для создания в стране гарантированного минимального объема продовольственных ресурсов, равно как и для развертывания серьезной комплексной работы аграрного реформирования, такую работу правительству следовало бы организовать.

Что же должна представлять собой эта работа?

Не хочется затевать спор с ортодоксами по вопросу о том, что наши колхозы — чуть ли не национальный способ хозяйствования, а страсть к тотальному государственному регулированию толкает десятки миллионов семей поддержать еще недавно выдвигавшийся крайне левыми тезис о национализации садово-огородных участков. Будь так, не составлял бы предколлективизационный (позднеэповский) процент производственных кооперативов ничтожно малую величину, а сегодня толпы граждан выстраивались бы в очередь, чтобы вернуть государство свидетельства о собственности на шесть соток.

Дело, однако, не только во взглядах крайне левых. В отличие от их намерений объективно способствуют разрушению нашего сельского хозяйства и те радикал-либеральные идеологи и правительственные чиновники, которые требуют, как это было в конце 1993 года, немедленного роспуска формально перерегистрировавшихся колхозов и совхозов, или те, которые сегодня настаивают на продолжении линии на раздел пашни и угодий по земельным долям с реализацией декларирован-

ного указом президента права их купли-продажи.

На самом деле в консерватизме, демонстрируемом всей деревней (от «агроначальников» до пьяниц с лодырями), есть своя логика. Можно стремиться понять ее и находить способы эффективного позитивного изменения. А можно постараться в очередной раз пробовать решить проблему ломкой через колено. К сожалению, мы, как и прежде, предпочли второй путь.

То, что власть и интеллигенция с самого начала объявленных агрореформ так и не удосужились хотя бы закамуфлировать презрительно-обличительную лексику («агроулаг», люмпены), — лучшее доказательство того, что вопросом: «Почему происходит то, что происходит?» — так никто и не озаботился. За основу была принята грубо-простая схема, и ответ сразу давался на вопрос: «Что следует делать?» Схема, включавшая три уровня идей, состояла в следующем.

Уровень первый. Загнанное шестьдесят лет назад в колхозы крестьянство желает вырваться на свободу, и поскольку насильственно объединялись все средства производства, то теперь, наоборот, все должно быть разделено. Отсюда идея номинально расписать за каждым производителем причитающуюся ему долю — имущественный и земельный пай.

Конечно, должна быть свобода как для выхода из коллектива, так и для объединения в нем на новой — через суммирование долей и паев — основе. «Должно быть, — слышал я от одного из главных идеологов в бывшем совхозе «Правдинский» Нижегородской области, ныне преобразованном, — поделено все, включая лес, водоемы, энергосеть. Все должны знать свои границы».

Этот уровень в идеологии реформаторов в качестве главной включал следующую идею, казавшуюся легкоприменяемой у нас. Во многих развитых странах собственное сельским хозяйством — процессом выращивания растений и животных — занимаются фермерские семьи при малом использовании наемного труда. Поэтому — даешь фермерство!

И, наконец, последний (базовый) уровень содержал идею самоорганизующегося всеобъемлющего сельскохозяйственного рынка — продуктов труда, капиталов, средств производства, недвижимости. Насколько идея самоорганизации органична и возможна сегодня в России, прошедшей, в частности, через жесткий тоталитарный режим, опять же идеологов либерального пути не тревожило.

Все мы помним фермерскую эпопею. В завтрашние кормильцы России зачисляли

всех — от «архангельского мужика», покойного Николая Сивкова, до вчерашнего городского интеллигента и демобилизованного офицера. Фермерам выделяли земли, обеспечивали техникой и льготными кредитами. Скоро, однако, выяснилось, что препятствует их становлению не только сопротивление некоторых руководителей и местного населения. Даже государство, то ли изменив политику, то ли не найдя средств, что называется, отвернулось от них. Факт этот хоть и опечалил фермерских лидеров, но не остудил их фанатизма в стремлении бороться за идею до конца. При этом они не слишком разбираются в методах и не слишком переживают, подтасовывая статистику. Последний пример — якобы производимые фермерами 40 процентов валового объема сельскохозяйственной продукции. На самом деле несколько процентов. Остальное — зачисляемая на счет фермеров продукция, производимая крестьянами (вчерашними колхозниками, совхозными рабочими, а сегодня — членами АО и ТОО, но никак не «вольными хлебопашками») на личных подворьях. Вот уж прямо по Салтыкову-Щедрину: «Как сделать государство богатым? Считать его таковым».

Что же касается остальных «агрореформ», то скоро они обрели свой незамысловатый вид, очень напоминающий экран монитора, на котором видно затухание жизнедеятельности сердца. Регулярно (один-два раза в год) появлялись указы президента и постановления правительства, кое-где «под них» начинали преобразования. Основная же масса из почти 27 тысяч производственных коллективов в соответствии с классикой крестьяноведения демонстрировала эффективность «оружия слабых» — имитировала, саботировала перемены, объединялась против разорительной политики ценового дисбаланса, сокращала производство, переносила центр сил на личное подворье.

Конечно, не везде и не всегда все обстояло именно так. Поднялась часть пионеров фермерского движения, выстаивают и приспособляются к новым условиям многие вчерашние «маяки», накопившие в «застойные» времена столько опыта и связей, что и сегодня, когда правительство все же что-то дает селу, они первые за столом. Однако и они понемногу сбавляют обороты и общую тенденцию — все более усиливающейся регресс — не меняют.

Впрочем, последние политические события в связи с принятием Государственной думой 15 июня 1995 года в первом чтении Земельного кодекса РФ, с одной стороны, и предвыборные инициативы правительства (речь о намерении провести референдум о купле-продаже земли), являющиеся

продолжением правительственного курса в аграрном реформировании, с другой, обнаруживают две разнонаправленные возможные тенденции в развитии сельского хозяйства.

Начнем с правительственного проекта реформы. Реакция на него со стороны крестьянства за четыре года совершенно определилась: он не был принят. И то, что Государственная дума в новом Земельном кодексе отказывается от механизма деления земель среди членов производственных коллективов, есть лишь констатация очевидного: даже те крестьяне, которые психологически были бы готовы выйти из крупных хозяйств и начать мелкое товарное производство, не стали этого делать в силу того, что не видят и не надеются в будущем получить реальную экономическую поддержку государства. Кроме того, пытаюсь создать новый слой производителей (фермеров), но не участвуя в этом экономически и организационно, государство полностью дискредитировало замысел своей концепции аграрной реформы.

К тому же за это время ситуация в деревне существенно переменялась. В «падающих» колхозах-совхозах народ худо-бедно приспособился жить натуральным хозяйством. У работающих выросло подворье, развито современное отходничество — временные подработки в городах, торговля своими продуктами, перепродажа ширпотреба. У ленивых и пьющих заботы те же, только источник доходов изменился — воровство стало немыслимым. Кроме того, все категории объединяются в случае, когда объектом грабежа оказывается природа, — браконьерствуют масштабно, систематически, варварски. Врагов — государственных органы рыбоохраны, лесников и т. д. — подкупают, запугивают или обманывают успешно.

В «средних» и «крепких» хозяйствах налицо сочетание «общественного» производства и личного обогащения лидеров при помощи «общественной» базы. При этом чем крепче хозяйство, тем больший круг лиц заинтересован и участвует в этом. Очевидно, есть и такие, в которых все делается исключительно по закону. Однако их слишком мало.

Совершенно очевидно, что в обоих вариантах вместо возможной дележки с помощью долей и паев, что означает дальнейшее усиление неустойчивости, сложившимся структурам нужна собственность на все земли хозяйства. Их реальное положение хозяев диктует одно: правила игры ясны; иллюзий и надежд больше нет; выживать самостоятельно нужно на прочной основе. В этой позиции лидеров-хозяев по разным мотивам, но в целом поддерживает основная часть населения деревни.

Затеянное правительством осенью 1995 года (сильно подозреваю, не без серьезного давления со стороны очень недалекого руководства АККОР и созданного недавно Союза землевладельцев России) разбирательство по вопросу, можно ли продавать-покупать землю, с одной стороны, есть попытка продолжить провалившийся проект целенаправленного мелкокапиталистического преобразования деревни. Однако, с другой стороны, это более серьезный симптом. Смысл его в том, что правительство никак не может разглядеть за привычными стереотипными образами наших крупных аграрных руководителей лицо вполне сложившегося хозяина крупного аграрного предприятия, которому для его превращения в крупное капиталистическое производство кое-чего пока недостает. И прежде всего — юридически закрепленной полноты пользования, владения, распоряжения пашней и сельскохозяйственными угодьями. При этом, само собой, основная часть крестьян в этих хозяйствах снова займет место наемных работников, что отвечает их желаниям и соответствует мировой ситуации.

Вопрос о купле-продаже земли, так страстно отвергаемый этими аграрными руководителями сегодня (в варианте дробления на земельные доли), есть справедливый гнев хозяйственника, которому не только не помогают работать, но вообще хотят поставить под сомнение всю целесообразность его усилий, заставляют тратить силы на никчемное дело. Даже если пройдет правительственный вариант — не сомневаюсь, через непродолжительное время львиная часть земельных долей все равно будет сконцентрирована у руководителей крупных предприятий.

Ирония в том, что те из них, кто доживет до капиталистического завтра в качестве полновластных собственников сельскохозяйственных земель, сами поставят вопрос о свободе распоряжения ею — о продаже и залоге. И тогда уже государству придется не инициировать этот процесс, а изобретать меры и находить ресурсы для ограничения этой стихии.

Что же до доводов некоторых защитников нашего немногочисленного фермерства о том, что якобы в случае купли-продажи они сегодня могут под залог земли получать банковские кредиты, то это доводы для наивных или сильно оторвавшихся от реальности теоретиков. Ситуация в экономике сегодня и, к сожалению, еще не один год будет исключать заинтересованное движение банковского капитала в столь неприбыльный сектор, каким является сельское хозяйство. В развитых странах доля государственных капиталов в сельском хозяйстве зачастую превышает

частные. Что уж о нашем капитале толковать!

С другой стороны, несопоставимы по продолжительности процессы становления эффективного сельского хозяйства в случае «фермерского» и «крупнокапиталистического» вариантов. Все наше производство было настроено на товарное производство в больших объемах. Что же до его переоснащения на фермерский образец, то здесь мы уже имеем негативный ответ: нельзя быстро и с малыми затратами перестроить связанные с сельским хозяйством отрасли на этот вариант. Компания с фермерским движением это также уже показала.

Так что, по-хорошему, нашему правительству следовало бы отказаться от не оправдавшего себя проекта аграрного реформирования и подумать о совсем иных вещах, которые хотя и могут показаться столь привлекательными, как фермерство, но зато будут более реалистичными. Для этого, впрочем, нужно избавиться от иллюзии, что власть что-то может делать вопреки реальности, будто она способна что-то навязать ей. Ошибка. Можно всего лишь научиться видеть процессы и приблизительно предсказывать тенденции их развития. А если есть силы, то и осторожно участвовать в них. На этом возможности власти заканчиваются, но начинается более важное — мудрость.

Сказанное о мелкокапиталистических ориентациях нашего правительства, очевидно, не относится к позиции вице-преьера по сельскому хозяйству А. Х. Завярухи, но не потому, что он проводит другую стратегию, а потому, что вообще непонятно, какую позицию он занимает, кроме того, что старается «выбить» побольше средств для АПК.

Впрочем, недавно он, на мой взгляд, сделал сенсационное заявление, посрамив самых радикальных из радикалов. По сообщению Интерфакса, 3 ноября в Нальчике он сообщил: «Через два года Россия сможет полностью перейти на собственное продовольственное обеспечение», для чего создано главное условие — «сельхозпроизводители добились самостоятельности».

Чтобы не допустить какого-либо неприличия, в этой ситуации остается только руками развести и отойти в сторону.

Может быть, самое сильное обвинение, которое слышат сегодня крестьяне, — это их якобы враждебное отношение к рынку, «нерыночность». В доказательство говорят, во-первых, о том, что крестьяне активно требуют мер государственной поддержки, в то время как по законам рынка они должны выживать самостоятельно. Во-вторых, крестьяне явно и скрытно вы-

ступают за сохранение колхозно-совхозных форм организации производства. В-третьих, с ностальгией вспоминают «брежневские времена».

Во всем этом существует большая путаница, обусловленная прежде всего тем, что у нас почти нет аналитиков, которые бы могли спокойно и терпеливо разбираться в «превращенных формах» выдвигаемых крестьянством требований, тем более что интересы аграрников сегодня зачастую представляют политики из эпохи «застоя», дальнейшее пребывание которых в верхах напрямую зависит от того, как долго продлится взаимное непонимание крестьянства и власти. Никакой позитивной программы эти люди представить не способны и существуют только на лозунге «Верните социалистическое вчера!». Их естественные союзники — «обновившиеся» коммунисты с негленной идеей государственной собственности на землю сельскохозяйственного назначения.

Итак, по существу выдвигаемых крестьянам обвинений.

Крестьянство действительно требует государственной поддержки, и, как я старался показать, в этом нет ничего удивительного. Обновление технологий, сортов, пород, инвестиции в развитие социальной сферы (без чего люди, кроме всего прочего, еще и плохо работают), рискованный характер сельскохозяйственной деятельности вообще, а в условиях большинства регионов России — ежегодный гарантированный риск — все это делает для нашей страны неизбежным и постоянным аграрный протекционизм в той или иной форме.

За неимением лучших аналогов, с которыми сельские жители могли бы сравнить свое теперешнее в целом бедственное положение, называются «брежневские времена». Действительно, как мы знаем, с середины 60-х до середины 80-х годов в село были направлены большие материально-финансовые ресурсы. И то, что не было получено адекватной отдачи, многим позволило заявить о принципиальной неправомерности такой политики.

Однако на самом деле было как минимум три крупных фактора, сделавших именно такой результат неизбежным. Первый связан с общим технологическим уровнем нашей экономики. Инвестиции, например, позволяли приобретать много новой техники, но ее соответствия мировым стандартам и качество оставались по-прежнему неудовлетворительными. Виновны ли сельчане в том, что, например, монополист «Россельхозмаш» не допускал появления конкурентов (а иногда и просто уничтожал их) и в то же время увеличивал стоимость своих комбайнов при снижении их качества? При всей ясности ответа он до сих

пор не снимает приговора сельскому хозяйству как «черной дыре».

Второй фактор — социально-психологического свойства. Начиная с конца 60-х годов село впервые за советскую историю получило возможность с помощью бюджета поднять свой уровень жизни, в том числе — несколько приблизить к городским стандартам социальную сферу. Отсюда — частичное перераспределение финансовых ресурсов, выделенных для производства.

О третьем факторе — принципиально неверной научной ориентации в стратегии выращивания растений — я уже писал.

Далее — по поводу самой формы колхозов и совхозов. Загадка постоянных битв в отношении этих организационно-хозяйственных форм, на мой взгляд, объясняется следующим. Для крестьянства эти формы — эрзац кооперации, действительно необходимой в сельском хозяйстве любой страны, а в условиях рискованного земледелия — повторяю еще раз — в особенности. Не только потребительская, которая влечит жалкое существование еще и сегодня, но кредитная, снабженческая, сбытовая, производственная кооперация бурно развивалась в России с конца XIX века и накануне первой мировой войны была сильнейшей в мире. При этом в отличие от нередко звучащих сегодня заявлений развитие кооперации было не только делом самих сельских хозяев. Огромную роль в этом играли государство, предпринимательство, интеллигенция. Десятки тысяч специалистов — оплачиваемых работников и энтузиастов — шли по стране, разъясняя и помогая крестьянам создавать свои кооперативы. Сильнейшие в мире научные школы обеспечивали разработку необходимых моделей, методик и программ, отслеживали и корректировали этот процесс. И все это — в параллель с одной из крупнейших в истории государства, «стольпинской», реформой.

То, как государство культивирует новые организационно-хозяйственные формы сегодня, видно на примере нашего фермерства. То, сколь существенна поддержка аграрной науки и каковы возможности и результаты ее усилий, демонстрирует нам пример единственной предложенной иностранцами «нижегородской» модели реформирования. Об инвестициях же и вовсе говорить не стоит. В результате зададимся вопросом: какую форму кооперации может отстаивать крестьянство? Очевидно, что у него вовсе нет выбора.

И, наконец, еще один тезис в опровержение «нерыночности» деревни.

Странное дело: коммунисты, в союз с которыми сегодня записывают крестьянство, и в теории, и на практике всегда боролись с крестьянской «торгашеской пси-

хологией», с крестьянином-«хозяином», с 50 процентами его натуры собственника с опорой на 50 процентов его натуры труженника.

В советские времена при централизованной плановой экономике только у крестьян была законная возможность иметь свое подсобное хозяйство и торговать его продуктами. Добавим к этому постоянную игру крестьянина с природой с расчетом на такой выигрыш, который бы позволил свести концы с концами ему самому и его семье при том, что государство в любой момент могло заменить зарплату натуроплатой, а последнюю — «палочками» с отсроченным расчетом, произвольно изменить закупочные цены, вовсе не платить, как это происходит сегодня, и т. д. и т. п. Как же было выживать крестьянину? Странно, если бы все это не делало его рыночником, а его сознание не приучалось работать экономическими категориями.

Тогда почему звучат обвинения в «нерыночности»?

Повод дают, как уже отмечалось, требования аграрников обеспечить протекционистскую политику при решении вопроса о допуске на внутренний рынок иностранной продукции, а также сдерживать падение собственно сельскохозяйственных отраслей. Действительно, по оценкам специалистов, в последние три с половиной года цены на продукцию промышленности — ресурсы для села — в среднем выросли почти в пять раз больше, чем цены на сельскохозяйственную продукцию. Государство жестко, хотя и опосредованно, регулирует цены деревни, привязывая их к низкой покупательной способности населения. В результате за четыре последних года деревенская экономика недополучила порядка 125 триллионов рублей при том, что споры о бюджетной строке на сельское хозяйство ведутся вокруг 10—15 триллионов. Такая политика уже привела к спаду сельскохозяйственного производства примерно на четверть, сделала нерентабельными ряд отраслей.

Сокращение объемов производства, снижение эффективности и конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства и пищевой промышленности уже два года ведут ко все более нарастающей утрате российскими производителями внутреннего рынка. Не только в крупных городах, где доля импортной продукции, по оценкам экспертов, доходит до 80 процентов, но в среднем по РФ объем сельскохозяйственного импорта к продукции АПК в 1993—1994 годах составлял 13—15 процентов. Доля импортного мяса и мясопродуктов была 18,5 процента, молока и молокопродуктов — 10,2 процента, сахара — 33,7 процента при том, что среднедушевое по-

требление мяса с 1990-го по 1994 год сократилось на 28 процентов, а молока на 30 процентов.

По данным на июль 1995 года, доля продуктов пищевой промышленности и сельхозсырья в товарной структуре российского импорта составила 36 процентов, превосходя импорт продукции машиностроения — 26 процентов. Очевидно, «ножницы Буша», «Распутин» и «Сникерс» нам нужны больше, чем новые машины и технологии. (Последнее, естественно, адресуется не коммерсантам, ориентированным на прибыль, а членам правительства, считающим, что все идет хорошо и мы через два года самообеспечимся.)

Вернусь, однако, к теме «нерыночности» крестьян.

Ситуация стала бы более прозрачной, если бы аграрники вели себя более корпоративно, как, например, шахтеры. Однако они не отличают себя от остального населения в том смысле, что, как и все, являются потребителями продуктов питания. Поэтому аграрники, ставя себя на место покупателя с тощим кошелем, говорят о дотациях сельскохозяйственным отраслям, но при полном равнодушии общества никак не могут заставить правительство прислушиваться к себе.

Впрочем, при определенном развитии ситуации дело может дойти и до этого. Вспомним, как во время кризиса хлебозаготовок Сталин спросил у сибирского крестьянина, почему деревня не продает зерно по установленной государством низкой цене. На что крестьянин ему с насмешкой ответил: а ты, спляши, парень, может, я тебе и отсыплю с полмешка.

XX столетие принесло с собой новые гуманитарные проблемы, которые быстро были осознаны и стали учитываться развитыми государствами Запада и Востока при разработке национальных аграрно-протекционистских стратегий. В самом широком смысле эти проблемы — экономической, социальной, политической и культурной защищенности крестьянства — относятся к правам человека. Профсоюзные объединения фермеров, политические организации, представляющие их интересы в законодательных органах, выступления сельскохозяйственных производителей, наконец, — все это в итоге приучило власти к тому, что с сельским хозяйством нельзя обращаться как с неодушевленным производственным объектом, что в отличие от промышленности в аграрной сфере неразрывно переплетены экономика, психология и культура и последние два элемента хотя и не поддаются объяснениям в системе категорий «прибыль — издержки», тем не менее требуют постоянного учета, в том чис-

ле и в контексте названных экономических категорий.

Постепенно развитие государства стали осознавать неотъемлемость культурологического аспекта для нормальной протекционистской аграрной политики. Причем этот аспект был сугубо специфичен именно для аграрного труда, не просматривался в индустриальных сферах экономики. Оказалось, что крестьянство в сильной мере заинтересовано в скорейшем решении на общегосударственном уровне проблемы национальной идентификации. Этому есть два объяснения.

По мере индустриального развития город все больше теряет черты национальной принадлежности. Быстро меняющиеся и независимые от национальных территорий технологии, не знающий границ банковский капитал, общецивилизационные нормы в поведении, интернациональные стандарты в моде, стандартизация структур массового сознания с помощью интернациональных коммуникационных средств, влияние массовой культуры, наконец, все увеличивающееся число иностранцев в городах (иностранцы рабочие, нелегалы, беженцы и т. п.) — все это заставило политиков, озабоченных перспективами сохранения национального государства, обратиться к этой проблеме со всей серьезностью. Деревня, защищенная аграрным протекционизмом, во многих случаях не разрешающая продажу земли иностранцам, не подверженная столь быстрому ритму в смене технологий, была естественным местом для культивирования истинно немецкого (швейцарского, шведского, английского и т. д.) сознания и духа.

С другой стороны, решение проблемы национальной идентификации в первую очередь в деревне имеет и философское обоснование. Национальная идентификация предполагает достаточно устойчивое во времени отождествление субъектом самого себя с определенной природной и социальной локальностью. Невозможна национальная идентификация со всем миром. Космополитизм не может быть национальным. Напротив, национальная идентификация предполагает некий микромир, имеющий свой ландшафт, природную среду, климат, а в социальном плане — свои собственные законы, в том числе и на «микроуровне». Именно локальность, место придает социальному образованию характерные черты, делает его укорененным.

Конечно, мест множество, но все они — при всем отличии в микросхематике — имеют и нечто общее, что видно на другом, более масштабном уровне рассмотрения. В силу этого баварцы отличаются от гессенцев, но имеют нечто, объединяющее их в качестве немецких крестьян. И это

«нечто» придают им деревенская среда, уклад, порядок жизни.

Осознание этого культурологического фактора определило мотивацию современных западных политиков, отстаивающих аграрный протекционизм. Возвращаясь к нашим примерам, отмечу, что наряду с доводами против экономической зависимости и политической уязвимости для Японии импортировать рис из Соединенных Штатов, где затраты на его производство значительно ниже, есть еще доводы относительно изменений, которые неизбежно произойдут в представлениях других народов о японцах, равно как и изменения в сознании японцев о самих себе. У гуманитарного фактора оказалось существенное экономическое следствие.

А что происходит с самосознанием российского крестьянства, с тем самым культурологическим фактором, который научились учитывать развитые страны? Каждодневно ощущая свою экономическую ненужность, чувствуя, что оно не только не укрепляет, но и теряет свою национальную идентичность, крестьянство все отчетливее начинает задавать вопрос: «Кому это выгодно?» Ответ, как водится, находим на поверхности: «Врагам России». Добавим к этому господствовавшее еще вчера милитаристское сознание, поголовную воинскую подготовку мужского взрослого населения деревни, достаточно низкий образовательный уровень, безысходные мысли о будущем детей (в рэкетире или на панели?) и получим отчетливое стремление любыми средствами восстановить свою локальность, усилить национальное самосознание. При том, если это не удается сделать экономическими способами (отсутствие аграрного протекционизма), — в дело пойдут иные, которые в конечном счете могут привести и к фашизму.

Совершенно очевидно, что при нормальной жизни крестьянство не испытывает никаких отрицательных эмоций ни к горожанам, ни к представителям иных наций и этносов. Однако эти эмоции начинают появляться по мере того, как выясняется, что «городские» живут лучше деревенских, а «лица ...й национальности» — неизмеримо лучше русских. Если же к этому добавить последовательно проводимую политику на свертывание аграрного производства — источника нормальной жизни крестьянства, ситуация постепенно становится взрывоопасной.

Вместе с тем решение деревенских проблем может быть фактором стабилизации положения в городе. Тенденция эта обозначилась в последние годы. Так, потерявшие работу горожане все чаще устремляются в село к своим деревенским родственникам или даже на новые места. Речь часто

идет просто о самопрокорме, обеспечении выживания посредством натурального хозяйства. Так было в гражданскую войну после Октября 1917 года. В сегодняшней же ситуации к горожанам добавились русские и «русскоязычные» переселенцы и беженцы из бывших республик СССР — ныне независимых государств.

Что же из всего этого следует? Ответ, на мой взгляд, достаточно очевиден. Плата за опору властей исключительно на финансово-экономические механизмы может быть очень высокой. Намного выше, чем стоят меры по разумной регионально ориентированной аграрной реформе, структурной перестройке сельского хозяйства, восстановлению ценового и межотраслевого паритета и многим другим необходимым мероприятиям. Совершенно ясно, что разумная аграрная политика, обеспечивающая нормальные социальные условия жизни сельского населения, — не только средство сохранения национальной независимости и подъема экономики страны, но и одна из самых действенных мер защиты демократии. В связи с этим — немного о политике.

Наверное, можно удивляться, что только в последнее десятилетие XX века в России, одной из немногих стран мира, в которой все еще уцелело крестьянство, образовалась наконец Аграрная партия.

Историческая необходимость в ее появлении возникла давно — почти сто лет назад. В то время реальной предпосылкой ее возникновения было мощное кооперативное движение, объединявшее накануне революции 1917 года в разных формах кооперативов более половины крестьянских дворов. После Октября именно кооперация стала главным врагом большевиков в деревне: крестьянское хозяйственное самоуправление было несовместимо с тотальным государственным проникновением во все сферы сельского бытия. Кооперативы распускали, деньги конфисковывали, руководителей арестовывали.

Попытка великих российских ученых в период нэпа помочь крестьянству найти формы сосуществования с большевизмом на определенном этапе могла бы привести к созданию политической организации. Однако власть этого не допустила. Примечательно, что главным обвинением против приговоренного к смерти А. В. Чаянова власти выдвинули якобы имевшую место попытку создания Трудовой крестьянской партии.

Созданная два года назад Аграрная партия России объективно оказалась в положении защитницы крестьянства. Сегодняшнюю главную цель Аграрной партии — сохранить государственное участие в современном аграрном производстве и

жизни деревни — нельзя не признать правильной.

Посредством своей политической организации современная деревня подает сигнал: Россия не прошла необходимый исторический период аграрной модернизации, возможной лишь в условиях протекционизма, после которого она смогла бы свободно конкурировать с зарубежным производителем.

И второе, политически еще более существенное. Объективно отвергая коммунистическую идеологию, трактующую крестьянство как мелкобуржуазную стихию, заслуживающую скорейшего исчезновения с лица земли, Аграрная партия тем самым сдерживает распространение в деревне коммунизма и фашизма, в первую очередь — среди люмпенизированных слоев. Происходит это потому, что именно Аграрная партия старательно «выбивает» из правительства те жалкие крохи бюджетных средств, которые идут на торможение процесса деградации сельского хозяйства и сельского жителя.

Конечно, как молодое политическое движение, возникшее из уже существовавших властных структур, АПР несет в себе отпечаток вчерашнего дня. В нее входит много политических фигур, тесно связанных с прошлым тоталитарным режимом. Непроясненность позитивной части ее политической программы дает законные основания другим политическим силам считать ее всего лишь «отрицателем» грубых просчетов радикал-либерального курса, а мутность позиций лидеров партии — членов правительства дает повод видеть в думских аграрниках лишь лоббирующую группу. Все это так. И если партия действительно озоботится вопросом о развитии сельского хозяйства страны, ей придется от многого отказаться и многое изменить.

Вывод, таким образом, таков: действительный демократ, думающий о будущем России, должен отстаивать идеи рационального аграрного реформирования, выступать за политику аграрного протекционизма, поддерживать не противоречащие здравому смыслу головные идеи тотального превращения крестьян в фермеров, а думать о реальном преобразовании действительности. В этой связи центральная задача сегодня — разработка идеологии и механизмов структурной перестройки сельской экономики. Что и как нужно делать — предмет особого разговора. Предваряя его, скажу о нескольких моментах.

Структуру современной сельскохозяйственной экономики России (1990—1994 годов) можно рассмотреть несколькими способами, в том числе и через систему основных 18 перерабатывающих отраслей

АПК с их сырьевой базой. Вместе с коллегами мы проанализировали состояние в каждой отрасли и получили их рейтинговое распределение с позиций инвестиционной привлекательности по показателям устойчивости производства и спроса, рентабельности, обеспеченности эффективной сырьевой базой. Приведу результаты в порядке от наиболее к наименее привлекательным. (Здесь и далее расчеты сделаны на основе данных, взятых из сборников: «Производственно-экономические показатели развития Агропромышленного комплекса России в 1994 году». Части 1 и 2. М., 1995.)

1. Продукты спиртовой и ликероводочной промышленности.
2. Пиво.
3. Продукты масложировой промышленности.
4. Продукты мукомольно-крупяной промышленности.
5. Хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия.
6. Кондитерские изделия.
7. Продукты табачно-махорочной промышленности.
8. Продукты сахарной промышленности.
9. Пищеконцентраты.
10. Продукты комбикормовой промышленности.
11. Продукты винодельческой промышленности.
12. Льноволокно.
13. Мясо и мясопродукты.
14. Чай.
15. Продукты плодоовощной промышленности.
16. Картофелепродукты.
17. Молоко и молочные продукты.
18. Рыба и рыбопродукты.

В том числе по устойчивости производства и спроса первые три места с 1990 года удерживают: спирт, ликер, водка; сахар; табак — махорка. По рентабельности — спирт, ликер, водка; пиво; махорка — табак.

Как видим, основные сельскохозяйственные отрасли, образующие костяк аграрного производства и обеспечивающие фундамент продовольственной безопасности страны и здоровья ее населения — мясо и молоко, — следует искать в конце рейтингового списка — на 13-м и 17-м местах. Они наименее привлекательны и, следовательно, менее всего привлекательны для частного отечественного и иностранного инвестора. Кто, кроме государства, может обеспечить их подъем?

Существенным образом различается ситуация по производству основных видов сельскохозяйственной продукции по регио-

нам России. Если принять во внимание все принятые в экономико-географической классификации 11 регионов страны, в состав которых входят 89 областей и республик, то среди них можно выделить значительно меньшее число производящих основную долю аграрной продукции. Картина здесь следующая.

Зерновые (кроме пшеницы) производят 6 регионов; удельный вес в общем объеме валового сбора по РФ — 86%. Пшеницу производят 6 регионов; удельный вес в общем объеме ВС по РФ — 90%. Подсолнечник — 3 региона; удельный вес — 91%. Сахарную свеклу — 3; удельный вес — 81%. Овощи — 4; 49%. Лен-долгунец — 3; 80%. Мясо скота и птицы — 6; 70%. Молоко — 6; 75%. Яйцо — 6; 59%.

Дифференциация по производству, призванная привести к структурной перестройке сельского хозяйства, раскинувшегося сегодня «от моря до моря», должна быть дополнена дифференциацией по состоянию почв, материально-технических и людских ресурсов. Это особенно важно потому, что наша «привычка» выращивать по 14—16 ц/га, в то время как Европа ниже 55—65 ц/га не опускается, объясняется просто: прежде всего нет технологий, обеспеченных ресурсами, знаниями, умениями, культурой.

Наложение этих и иных видений современного российского АПК даст ответ на вопрос: в какие территории и хозяйства инвестиции принесут максимально высокую и быструю отдачу?

В хозяйствах, которые были бы выделены и отобраны как приоритетные в деле обеспечения внутреннего рынка страны, необходимо провести такое реформирование, которое позволило бы отделить, скажем, хороших работников от любителей спиртного и лодырей. Поскольку в процессе преобразований 1992—1993 годов основная масса хозяйств провела условное деление средств производства на имущественные пай и земельные доли, эту реальность нужно иметь в виду и использовать. Один из вариантов — постепенный переток паев и долей через акции в руки хороших работников. Известны хозяйства, где такой процесс идет уже не один год. Его главные достоинства — добровольность и постепенность — решают первостепенный для современной деревни вопрос о социальной справедливости: обиженных и обманутых нет.

Само собой, такого рода дифференциацию можно провести внутри регионов, в том числе — по областям, районам, конкретным хозяйствам. Вывод, который, на мой взгляд, должен быть в этой связи сделан, состоит в следующем: во всей системе сельскохозяйственного производства необ-

ходима **инвентаризация**, в результате которой следует произвести **отбор** между сильными, средними и слабыми производствами. На этой основе можно было бы отказаться от абстрактного требования поддержки сельского хозяйства вообще, конкретизировав его указанием на конкретные отрасли, области, районы, хозяйства.

Разумеется, эта мера не может считаться популярной и быть поддержана всем крестьянством, однако в данном случае приходится выбирать: либо попытаться спасти часть наиболее жизнеспособных производств и на их основе обеспечить продовольственную безопасность страны, либо пытаться продолжать «размазывать» крохи средств по всем предприятиям, не получая в итоге отдачи даже от жизнеспособных и постепенно теряя все сельское хозяйство.

Специальная система мер должна быть разработана государством для крестьян, оставшихся в слабых хозяйствах. Надо признать, что проводившаяся в 60-х годах работа по сселению так называемых перспективных деревень — если бы она была выполнена в полном объеме — только часть того, что предстоит сделать в данном случае. Ведь надо продумать и организовать не только социальную сферу, но и, вполне вероятно, провести профессиональную переориентацию.

Федеральной системе вся эта работа явно не под силу, что стало очевидно со времени, когда из государств — бывших республик СССР — начали возвращаться русские переселенцы и беженцы. Тем более существенна должна быть роль региональных властей, органов местного само-

управления и самих крестьян. В какой мере удастся смягчить этот неизбежный процесс?

Недавно состоялся Всероссийский сельский сход, на котором говорились вполне разумные вещи относительно несвоевременности для сегодняшнего хозяйства страны ставить ребром вопрос о купле-продаже земель сельскохозяйственного назначения. Не о том нужно заботиться в условиях, когда у производителей буквально из рук уходит отечественный рынок сбыта, что неминуемо обрекает их хозяйства на развал.

В тот же день параллельно Ассоциация фермеров и Союз землевладельцев (собственников садово-огородных участков и других небольших клочков земли) на своем съезде неистово требовали обратного. Лучшая из их иллюзий — залог недвижимости для получения банковских кредитов. И невдомек работягам, что не нужна будет их продукция, если не отвоюют внутренний рынок для отечественного производителя у импортеров продовольствия крупные производственные коллективы и ориентированное на отечественные интересы правительство. И никаких доводов не хотят слушать их заполошные лидеры.

Как тут не вспомнить великого классика: «Русь, куда же несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа».

То, что в нашей тройке уверенно развалились современные чичиковы, выкрикивающие стоящему на обочине народу: «Конец на переправе не меняют!», — очевидно и слепому. Вот только не обрыв ли впереди?

Леонид БАТКИН

Вещь и пустота

ЗАМЕТКИ ЧИТАТЕЛЯ НА ПОЛЯХ
СТИХОВ БРОДСКОГО

*Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет уходя.*

Афанасий Фет

*Вот оно — то, о чем я глаголаю:
о превращении тела в голую
вещь! Ни горé не гляжу, ни долу я,
но в пустоту — чем ее не высветли.
Это и к лучшему. Чувство ужаса*

*вещи не свойственно. Так что лужица
подле вещи не обнаружится,
даже если вещица при смерти.*

*.....
Хочется плакать. Но плакать нечего.*

Иосиф Бродский

В удачном эпиграфе есть нечто старинное.

Но отнюдь не древнее. Эпиграф не известен риторической поэтике. Это ремарка романтической «иронии».

Придя взамен тяжеловесному Прологу, эпиграф привнес во всякое сочинение привкус драматургической закваски. Некую тень двузначности. Свернутый пролог — либо скорее обещание эпилога? Так или иначе настоящий, то есть пушкинский, например, эпиграф отличается тем, что не тычет грубо в предстоящий смысл, а только — почти нечаянно — прикасается к нему. Не торопится быть итогом того, что пока не высказано, не произошло. Знает свое правильное место.

Но где действительно его существо и место: до текста или, может быть, в конечном счете все же за ним? Внешне «до», а все-таки втайне — «вослед». Дочитав сочинение, разве не хочется вновь заглянуть в эпиграф?

Вместе с тем эпиграф — не осколок ли архаического жанра загадки, занесенный в новую литературу? Но, если согласиться с этим бездоказательным допущением, что же, в таком случае все следующее за эпиграфом является, хотя бы формально, ответом?

Да... то есть, конечно же, нет. Функции тут парадоксально перепутаны.

«Вопрос», хотя и неспроста дан в своего рода затакте, соотносен со всем композиционным и смысловым целым, мимолетен, проронен перед порогом, вовсе не обязателен. «Ответ» же, то есть собственно сочинение, вместо того чтобы быть, как полагается, предельно кратким, — сравнительно с эпиграфом грандиозно велик и многослоен.

Из книжки эссе о смысловом мире и поэтике Иосифа Бродского, подготавливаемой автором для издательства Российского государственного гуманитарного университета.

Именно сочинение нуждается в понимании, и, разумеется, это оно само — загадка.

Но тогда эпитафия с его разительной по отношению к основному тексту краткостью отнюдь не загадка, а, напротив, какой-никакой ответ.

Пожалуй, так.

Однако мы ведь пока не знаем, ответ кому и на что. До поры — непонятность, вопросительность эпитафии.

Он сам по себе. И, как облачко, невзвешенное посреди совершенно чистого неба, проходит через сознание стороной. У него все еще впереди. После хорошего эпитафия хочется, проводив его глазами, удивленно и рассеянно помедлить, прежде чем приняться за чтение.

Странное эхо, опережающее сам звук.

У Пушкина, как известно, была слабость к эпитафиям. Вполне в духе времени. В этом он долгие годы оставался верен романтическим обычаям. Эпитафии у него замечательно неожиданны. Занесенные из другого культурного ряда, часто из другого языка, французские или английские, они чужаются рассудительного прямого соответствия и, следовательно, совершенно свободны. Они задорно либо меланхолически загадывают дальнейшее.

Хорошо бы прочесть обстоятельное исследование эпитафического вкуса Пушкина в связи с глубинными началами его поэтики. (Не знаю, может быть, такая работа давно уже проделана.)

Откуда вообще на ум писателю вдруг приходит эпитафия? Разумеется, всегда это голос из чужого сочинения. Это припоминание по ассоциации: в параллель или по перпендикуляру. При удаче это сторожевая переключка смыслов.

Но что если пишут о самом писателе? На сей куда более скромный случай существует и другой способ. Извлекают эпитафия из того самого автора, о котором предстоит завести речь. Тогда это маленький образчик пока еще свернутой ткани, за осмысление которой вы собираетесь приняться. И одновременно приоткрываемый заранее краешек собственного толкования.

Так вот. Начать заметки о поэзии Бродского с эпитафии очень трудно.

Ведь его смысловой и речевой мир не отзывается спокойно и сочувственно на что то ни было чужое, не созерцает его, не собеседует... а втягивает, перемалывает, глотает, шумно выплевывает. Отношения Бродского с любой эпохой, страной, погодой, вещью, мыслью, речью — слишком неистово обдуманно, чтобы бахтинское понятие диалога (то есть пограничности всякого высказывания, сущего как ответ на другие высказывания) могло сохранить «полифоническое» значение. Диалог тут спрессован до неузнаваемости, под огромным давлением личной экспрессии *свернут внутрь монолога*.

Из «Строф» в «Урании»: «Как тридцать третья буква, /я пчусь всю жизнь вперед». О том, что значит для «Я» «пятиться вперед», см. ниже. Наичевиден высокий эгоцентризм поэтики Бродского. Любая встреча с миром, с историей, с литературой, вообще с Не-Я — еще одна напряженная встреча с собою же.

Конечно же, в самом отвлеченном виде все это относится к лирической поэзии вообще.

Но откровенно-избыточная, пространная, отчаянная, захлебывающаяся моноличность Бродского (который в этом отношении неоромантик, как и любимая им Цветаева) — несмотря на обычную гримасу усталости, на одновременно язвительную и уязвленную, отрешенную и беззащитную манеру, — тем не менее без остатка затягивает в себя всевозможные иные миры и тексты.

Поэт не щадит почти ничего и никого. И прежде всего себя.

Бывают исключения. Выпадает и беспечное счастье. Вечно летящая бабочка или мгновенный Рим.

В целом лиризм Бродского настолько агрессивен, прожорлив, всеяден — и потому одинок, — что делает почти невозможным сколько-нибудь независимое, отдельное существование подле себя хоть малой части чьей-либо другой речи, тем более поэтической, и в частности «окольной записи» («эпитафия»).

Сам поэт прибегает к нему в исключительных случаях. Например, в «Стихах о

зимней кампании 1980 года» и в «Эклоге 4-й (зимней)» это строки Лермонтова и Вергилия. В первом случае: едва ли не публицистическая, избыточная выходка, учиненная для того, чтобы отогнать всякую тень былой возвышенной поэтики от убитых и убийц в стуже мерзкой афганской войны. «Полдень в долине Чучмекистана»? Вкус изредка изменяет Бродскому, поскольку ведь ему плевать на вкус.

То есть он пишет плохо, как Достоевский; грубовато и диковато, как Розанов; в зрелости он выработал беспризорный вкус, выбившийся на опасное пограничье с безвкусицей жизни. На дикое поле. Засада подстерегает за каждой строкой.

И тут уж помогай Бог! Вкус — лучшее, что есть в искусстве: за исключением гениальной безвкусицы.

Вкус сглаживает неизбежные перепады качества внутри произведения и работает на целостность впечатления. В случае же действительно талантливого самоотказа от нормативности вкуса (впрочем, в «мовисты» много званых, да мало избранных) получится неизбежное раскачивание целостного впечатления над скальной пропастью. Тут либо пан, либо пропал.

Учитывая все это, у Бродского поразительно мало стилистических срывов (которые по своему характеру суть то же, что и его альпинистские удачи, но — с недотягиванием или переключением). «Слава тем, кто, не поднимая взора, / шли в абортарий в шестидесятых, / спасая отечество от позора». Тоже не самые удачные строки в неровном стихотворении об афганской кампании. Лермонтов же попал в него, как кур в ощиц.

Во втором случае вергилиева латынь куда более уместна, но лишь ради пояснения к названию и концовке, а также по (тоже любовному, избыточному) контрасту между античным «строем времен величавым» (*Magnus... saeculorum... ordo*) — и собственным: «Жизнь моя затянулась <...> Днем легко ошибиться: / свет уже выключили или еще не включили? <...> Время глядится в зеркало, как певичка, / позабывшая, что это — „Тоска“ или „Лучия“». Эпиграф оборачивается еще одной ухмылкой.

А, скажем, в третьем, особом случае — это итальянская строка Чезаре Павезе, на которую Бродский, подобно пушкинскому импровизатору, сочиняет вариацию (см. «Натюрморт»). О чем? — разумеется, о вещи и пустоте. Под занавес он переводит «*Verrà la morte e avrà i tuoi occhi*», включая эпиграф в концовку собственного стихотворения, — короче, полностью завладевает им. «Это абсурд, вранье: / череп, скелет, коса. / „Смерть придет, у нее / будут твои глаза“».

Как же решиться предварить заметки о поэзии Бродского строками старого поэта?

Вместе с тем. Чуть не в каждом стихотворении, а то и строфе у Бродского сыщется готовый эпиграф к рассуждениям о нем же. Ведь этот поэт сплошь сентенциозен. Сыплет и сыплет репризами белого клоуна. Предложение эпиграфов из Бродского к статье о Бродском слишком уж превышает спрос. Поэтому, на чем ни остановись, случайность и неполнота заведомы. Смысловое ядро творчества Бродского всегда мучительно раздвоено, растроено.

Собственно, само представление об «ядре» не подходит к его генеральному сквозному приему — самопередразниванию, переиначиванию, переворачиванию только что сказанного, с бесчисленными гамлетовскими оговорками, поправками, нащупываниями ускользающего последнего завитка мысли.

Иронический стиль.

Разговор Гамлета с собою же, как с Полонием. Так на что, мой принц, по-вашему, похоже проплывающее облако? проплывающая жизнь? И в ответ: «Холм или храм, / профиль Толстого, / Рим, холостого / логова хлам, / тающий воск, / Старая Вена, / одновременно / айсберг и мозг, / райский анфас...» Или: «Туча вверх, / как отдельный мозг».

У Бродского «безумие, в котором есть метод», а лучше — метод, который раздвигает тяжкие шлюзовые створы лирического безумия. Это очень жестко рассчитанная поэтическая околесица. Поэт не просто в мире, и он не совсем в себе, он *около* себя. То есть: он эпи-графичен.

«Это ты, теребя / штору, в *сырую полость* / *рта* вложила мне голос».

Не плотность ядра. Аналог влажного опрастывающегося лона, некая смысловая полость, из которой тянется пуповина поэтических формул. Они обязаны своей пронзительной точностью — предварительности, необязательности каждой из них. Множественность пулевых отметин на стендовом щите с непременным словно бы случайным попаданием в десятку.

Ироническая речевая, и зрительная, и умозрительная, и уморительная (сиречь смертельная) логика уподоблений и расподоблений такова, что поэт не настаивает, не задерживается ни на одном из них. Он колобродит, острит, играет околичностями, бормочет, мучается, умничает — и наконец вдруг выговаривает что-то очень простое, хватающее за душу, запахнутое. И поспешает снова запереть двери изнутри.

Бродский, как никто, требует выносливости от толкователей. Приходится кочевать вслед за ним из одной незнакомой местности в другую, из одного стихотворения в другое. Меняются топонимика, климат, времена года, адреса отелей неизвестны, телефоны не отвечают.

Узнать голос Бродского проще простого. Но застать его дома и быть уверенным в прочности знакомства нельзя.

Бродский ощутимо целостен, как всякий подлинный поэт. Он, в сущности, на фоне русской поэтики XX века редкостно понятен. Да, трудность чтения бывает весьма ощутима. Но это трудность, так сказать, горизонтальная, а не вертикальная. Она чересчур демонстративна, чтобы быть истинной преградой для понимания. Рассудочные выкрутасы вокруг абсолютно точного поэтического зрения — в случае Бродского своего рода защитная мимикрия тех простосердечия и непосредственности, без которых нет лирического гения.

Поэт усвоил это рано (1967 год!): «Ты, несомненно, простишь мне этот / гаерский тон. Это лучший метод / сильные чувства спасти от массы / слабых. Греческий принцип маски / снова в ходу».

Позже принцип маски на стыке с «сильными чувствами» вступил в диффузный сплав, автор впредь не будет столь наивно признаваться в нем.

Бывает очень непросто разбираться-пробираться сквозь стихи Бродского, замедленно нащупывать упор для следующего шага: из-за торосов и выбоин синтаксиса, из-за разрезающих смысловую ткань мыслительных кислот.

Но это не эзотерическая головокружительная глубина слова сверх слова, как в мандельштамовских метафорах.

И это не пастернаковские «слезы вселенной в лопатках», не «сладкий заглохший горох» флейтовых россиниевых трелей: когда поэзия и не предполагает понимания, поскольку сама есть единственно возможное понимание жизни. Все в них, сестре-жизни и сестре-поэзии, живо и узнаваемо *только вместе*, через их родственность, иначе говоря, ассоциативно.

У Пастернака: душа — «безраздельный лист» обеих сестер, «приросшая песнь», «содроганье сращенное». («О не бойся, приросшая песнь! / И куда порываться еще нам? / Ах, наречье смертельное «здесь» — / Невдомек содроганью сращенному».) Ранний Пастернак без летучей прелестной неясности немойслим.

Зрелый Бродский же, хотя и бывает чаще всего вызывающе и расчетливо неясен, рассудительно нарочит, подчас вовсе неудобочитаем, но в конечном счете он ошеломляюще открыт. И если простота его все-таки столь сложная, открытость столь скрытная, путаная, то это потому, что многолика и растеряна современная душа. Гора с горой не сходится, человек с человеком — бывает. Но современный рефлектирующий человек с самим собой никогда.

Поэзия и смыслы Бродского бездомны. Чтобы герменевтический круг замкнулся, то есть чтобы добраться в последний пункт, который был отправным для поэта, предстоит износить в пути не одну пару башмаков, привести многие десятки цитат, столкнуть когорты оцетинившихся копыями сентенций.

А итог? — что ж, он-то и будет прост. Подобно любому земному итогу. Но жизненная дорога Бродского — не строгая, не простая и не белая (как в блоковском напутствии Кармен). Она важнее итога, она сама и есть единственно возможный индивидуалистический итог.

Особенно же у поэта, который все сводит и сводит счеты с *пространством*. А значит (по Бродскому), с временем и судьбой. С прошлым, с памятью. С родиной, которую помнят тем лучше, чем больше отвыкают. С чужбиной, к которой привязываются навсегда, как к одинокой старости. Со смертью, привыкнуть к которой еще предстоит. И, значит, с Богом (или с «пустотой»).

Конечно, поэт остается самим собой в любых четырех стенах на любом из трех своих континентов (в России, Европе, Америке). И в силах вынести даже самого себя. Но лишь постольку, поскольку протейстичен.

Короче, у Бродского подозрительно легко найти эпитафию к нему же. Лучше бы поостерегся.

Я, кажется, полуинстинктивно отсрочиваю приступ к делу, то есть начало конкретных разборов по существу. Я ведь не стиховед, даже не «чистый» литературовед, уж тем более не «бродсковед». Короче, берусь не за свое дело. А ежели так, нарочно решил не изучать написанного о Бродском людьми, которые всеми этими гуманитарно-научными преимуществами для данного случая обладают. Чтоб впредь без смущения ломиться в открытые двери.

Пусть будут впрямь полудилетантские заметки читателя.

Какое облегчение для меня, историка-профессионала! Отдохновенная, блаженная прихоть.

Однако вместе с тем и непривычная степень неуверенности.

Даже освободив себя от строго исследовательской установки, от полноты герменевтических обязательств, от всяких претензий на основательность, все-таки никто не вправе, взявшись истолковывать чьи-либо сочинения, прибегать к натяжкам и выдумкам.

Даже откровенный (а иначе это было бы скверным жульничеством!) отказ от научной строгости ради свободы каких-то личных размышлений не означает непродуманности и безответственности по отношению к словам другого.

Даже в свободном плавании по морю Бродского хочется надеяться на исправность пусть немудреной астрологии. Самые что ни на есть разэссеистические записи могут быть убедительными и бесполезными также для других читателей. А могут не быть. Могут оказаться (признаться, подчас кажутся мне самому) чересчур банальными. Или, напротив, слишком уж субъективными и опрометчивыми?

Что поделать.

По крайней мере условия объявлены.

Во мне давно жила потребность высказаться о стихах Бродского. О чем, по дурной своей привычке, торопился объявить друзьям заранее. Но, может быть, отчасти сие было оправдано суеверной надеждой, что это в конце концов не даст мне отлынивать от рискованной затеи.

Решаюсь предположить, что сходное чувство смутно бродит также в других непрофессиональных по отношению к этому предмету головах. С 80-х годов, по мере запоздалого знакомства с изданиями «Ардис», вряд ли чья-либо старая и тем более самоновейшая поэзия в такой степени не просто дарила мне радость, заставляла задуматься, вызывала восхищение (на это я еще способен), но — продырявливала навывлет мою шкуру, изрядно задубевшую с возрастом впечатлительность.

Так, и тоже с огромным провинциальным запаздыванием, в начале 70-х произошло у меня с Мандельштамом. Известное дело... ни Библия, ни Бо-цэюи, ни Шекспир, ни Пушкин, никто и ничто, даже гении, всегда приходящие в мир впервые, как Озирис, и всегда насущные благодаря инокультурности и дистанции, не заменят нам приятеля-соседа по лестничной площадке столетия, голос современника, которым смогли бы в корчах воспользоваться мы, безъязыкие.

Обойду молчанием в своих маргиналиях художественную эволюцию Бродского, его творчество до эмиграции. И прозу. Буду писать лишь о тех стихах, в которые вслушивался чаще. И только о том, в чем захотелось отдать себе вразумительно сформулированный отчет.

II

Пустился в разговоры издали, даже об эпитафиях вообще, вместо того чтобы сразу же пояснить, почему их здесь *два*: неуместных в данной эпитафической роли друг без друга, зато бьющих током именно в сопряжении.

Строки Фета задают вопрос о жизни и смерти индивидуального Я («тридцать третьей буквы») в масштабе «мироздания». Вот, по-моему, наиболее близкое-чужое для смыслового мира Бродского. Но стилистически, интонационно строки эти ведь решительно никак не подходят для эпитафа... сами по себе.

С другой стороны. На фетовский рыдающий органный аккорд Бродский словно бы отвечает методически, прямо-таки по пунктам. И его ответ начисто отвергает всю прежнюю русскую поэтику, от Пушкина до Мандельштама и Пастернака включительно.

Однако: это именно ответ, который *был бы* немислим и непонятен вне с мясом отдираемой от себя классической поэтики.

Повторю: любая цитата из Бродского не годится, чтобы быть поставленной в качестве эпитафа к нему же. Это было бы тавтологией, медной медью. Но и любая

цитата из всей прежней отечественной поэзии, до Бродского, — недопустима, как переливание крови другой группы.

Иное дело — их столкновение.

Бродский в «Части речи», «Новых стансах к Августе», «Урании» стал возможен лишь в связи с тем пониманием существа *поэтичности* (заодно и всего остального), от которого он избавляется: как змея, выползающая из старой кожи.

Выползающая, но не выползшая.

Пишем (читаем) антиклассику, классика в уме.

Иосиф Бродский — гений ее эпилога.

Фет говорит о смертном часе с трагической прямоотой и торжественностью. Называет жизнь жизнью и смерть смертью. Ему не приходит в голову смущаться ни высокого тона, ни поэтических слез.

Бродский говорит о том же, но...

Во-первых, он сколько можно, до последнего, избегает *называния* смерти по имени. Через изломы и многословные нарочитости эвфемизмов («Вот оно — то, о чем я глаголаю»; «техническая акта трудность» — о самоубийстве) создает ощущение, что говорить о смерти приходится через силу.

Кстати. Всякий раз, когда Бродский прибегает к своему излюбленному мнимонаучному тону, к бормотанию зубрилки («...сила трения / возрастает с падением скорости / <...> старение / есть отрастание органа / слуха, рассчитанного на молчание / <...> искомое <...> / всякий распад начинается с воли, / минимум коей — основа статике. / Так я учил, сидя в школьном садике»)...

или же к тону мнимо-фольклорному («Ой, отойдите друзья-касатики! / Дайте выйти во чисто поле!»)...

или к натужному юмору с обыгрыванием канцелярских оборотов («Всякий, кто мимо идет с лопатой, / ныне объект внимания»: как сказано в «Барбизон террас», «сильно одобренный милой кириллицей волапюк»)...

особенно же всякий раз, когда поэт впадает в архаический напыщенно-одический тон (с непременными «коей», «каковое», «коли ж», «ежели» и т. п.)...

и притом всегда фантастически сбиваясь с какого бы то ни было выдержанного тона, проделывая самые резкие модуляции без малейшей подготовки, дико перемешивая всевозможные стилистические регистры, дурашливо пуская петуха, —

значит, дело дрянь.

Это знак трагической неловкости.

«Слушай, дружина, враги и братие!» Или: «За каковое раченье-жречество <...> / чаши лишившись в пиру Отечества, / нынче стою в незнакомой местности» <...>

Ага! Скорее всего тут же дело зайдет о сокровенном и простом.

Действительно, за сим следует вот что.

«Ветрено. Сыро, темно. И ветрено. / Полночь швыряет листву и ветви на / кровлю. Можно сказать уверенно: / здесь и скончаю я дни <...>»

После неизбежных и скребущих сердце мнимо-разговорных корявостей и мычаний, вроде «взаймы в смысле тьмы», —

*Чем безнадежней, тем как-то
проще. Уже не ждешь
занавеса, антракта,
как пылкая молодежь.
Свет на сцене, в кулисах
меркнет. Выходишь прочь
в рукоплесканье листьев,
в американскую ночь.
(«Строфы»)*

Высокопарность на грани площадного кривляния у Бродского — безошибочный симптом сдерживаемой сердечности, подлинной возвышенности. По нынешним временам они вроде неуместны, занесены из давно отгоревшей поэтики. Они теперь нам — поперек горла. Потому и требуют как бы пародического перебора, обращенного, впрочем, лишь на себя же. Например, уходов в державинское «глаголание» и рядом же — для уравнивания — обороты, вроде: «нынче стою в незнакомой местности».

*Все, что творил я, творил не ради я
славы в эпоху кино и радио,
но ради речи родной, словесности.
За каковое раченье-жречество <...>
чаши лишившись в пиру Отечества <...>, и т. д.*

Тяжко, братие, в эпоху кино и радио глаголати!

Бродский впервые приучил нас к отчаянному косноязычию. К тому, что одеревенелым языком можно не только выражать волнение, но и заражать им.

Что это — язык поэзии.

«Творил я... творил не ради я... но ради... за каковое...»

Но как иначе, не заикаясь, сказать *о себе*: ТВОРИЛ? Как в напши времена выговорить самое заветное, не прикрывшись обложкой учебника для первоклашек — «речь родная» — да еще и не добавив «словесности»? Мало того: «раченье-жречество»!

Единственный способ для иронического стиля признаться в жреческом отношении к своему творчеству — это вот так и выложить дьяконским речитативом:

«Бр-ра-а-ати, твор-р-ил я р-р-рачительно и жр-ре-е-е-чески».

Пусть читатель поперхнется, пусть улыбнется. Но пусть заглотнет главное.

Интимность мыслей о собственной смерти остранена необыкновенным средним родом: «оно». Кто до Бродского так толковал... *про это*?

Нет прямого фетовского слова об уникальном огне, просиявшем над целым мирозданием и уходящем в ночь. Точней, такое слово всячески утаивается и *откладываетя*. «Я был как все. То есть жил *похожею* / жизнью. С цветами входил в прихожую. / Пил. Валял дурака под кожей».

Это не означает, конечно, что современный индивидуалист не знает о вселенском масштабе всякой личной смерти. Как раз наоборот. Ему дано ощутить это трезвей, безнадежней, страшней.

Зато — по необходимости — с одиноким мужеством.

«Правильно!»

Зато со стоической самоиронией.

«Душа не зарилась / на не свое. Обладал опорой, / строил рычаг...»

Один-единственный раз душа здесь прямо названа душой, а не, скажем, «фибрами». Как и один-единственный раз, под занавес, смерть будет названа наконец «смертью» (до этого еще раз, но через прилагательное: «смертная темень»).

Более того. «1972 год» завершается октавой с поразительным замечанием, единым дыхом перекрывающим даже фетовский величественный смысловой масштаб: «Только *размер потери* и / делает смертного равным Богу»!

Потому что со смертью каждого человека исчезает весь его — Его! — бесконечный мир. Но Бродский не был бы Бродским, коли, выговорив *такое*, тут же не поспешил бы добавить: «(Это сужденье стоит галочки / даже в виду обнаженной парочки.)»

Не парочка ли, изгнанная из рая, имеется в виду? Тогда выходило бы, что, лишь став, благодаря первородному греху, смертными людьми, эти двое, все их потомки стали и вровень с бессмертием. Без Змия не было бы человеческой истории, не понадобились бы Мессия и Страшный суд, не пришел бы Христос. Разумеется, это только *мой* домысел. У Бродского сказано то, что сказано. Но... почему «сужденье стоит галочки»? За что галочка-то?

Ср. в стихотворении «Как давно я топчу, видно по каблuku»: «И по комнате точно шаман кружа, / я наматываю, как клубок, / на себя *пустоту* ее, чтоб душа / знала что-то, что знает Бог».

Знание пустоты, то есть смерти, — вот божественное знание.

Наклонись, я шепну Тебе на ухо что-то: я благодарен за все; за куриный хрящик и за стрекот ножниц, уже кроющих мне пустоту, раз она — Твоя. Ничего, что черна. Ничего, что в ней ни руки, ни лица, ни овала. Чем незримей вещь, тем оно верней, что она когда-то существовала на земле, и тем больше она — везде. Ты был первым, с кем это случилось, правда?

Если Фет стремился совладать с ужасом смерти, космизируя, поэтически возвышая мысль о ней, а притом переводя в третье лицо («жаль того огня... что в ночь идет и плачет»... словно не о себе), то психологическая и поэтическая стратегия Бродского строится прямо противоположным образом.

О душе-то как раз обняками. И даже: «Ежели что-то во мне и теплится / это не разум, а кровь всего лишь». Однако о приходе бездыханности (без-духовности) ска-

зано, как о «превращении тела в голую вещь». И (будто в ответ на «огонь, что просиял над целым мирозданием»): «Ни горé не гляжу, ни долу я, / но в пустоту — чем ее не высветли».

«Пустота» — совсем не фетовская «ночь». Ночь — антитеза просиявшего и гаснущего огня. У Бродского же пустота есть пустота.

Ничто, которое стократ проще и загадочней ночи, порождает перпендикулярно иную поэтику.

Можно попробовать мысленно отделаться от собачьего предчувствия «смертной темени», от «прижимания к подстилке». Можно сдержать «воплé» и вообразить себя уже потерявшим сознание.

Переход от одушевленного тела к мертвому *пропущен*.

Вместо «в ночь идет и плачет» — эллипсис. Скорей! — к медицинскому заключению о коллапсе: «голая вещь». Эвфемизм бездыханного тела, «трупности».

«Это и к лучшему».

Это помогает прямо назвать то, что Фет облагораживал и смягчал. «Чую дыханье смертной темени / фибрами всеми и жмусь к подстилке. / *Боязно! То-то и есть, что боязно*». «...Дело, должно быть, в трусости. / В страхе...»

А выведя бесстрашно наружу животный страх, можно подбодрить себя так: «Бей в барабан о своем доверии / к ножницам, в кои судьба материи / скрыта...» Ср. в «Пятой годовщине»: «Я чувствую нутром, как Парка нитку треплет...» Или: «подчиняешься Парке, / обожающей прясть» («Строфы»).

Кстати: всем памятно первое, кажется, в русской поэзии снижение этого античного мотива у Пушкина, настолько поразительная «депоэтизация», что на миг словно напрямую просвечивает следом и Бродский сквозь строку: «Парки *бабье* лепетанье!»

О родословной «прозаичности» как коренного свойства поэтической речи Бродского надобно бы рассудить особо.

«Бей в барабан, пока держишь палочки, / с тенью своей маршируя в ногу!» Когда же «тень» сотрется, душа испарится — обнаружится «голая» вещица.

Всего-то и делов.

Причем даже не для тебя, а для живых, хлопочущих вокруг «вещицы». («(«...» Уже те самые, / кто тебя вынесет, входят в двери»).

«Чувство ужаса вещи не свойственно».

Если Фет, говоря о смерти напрямую («Что жизнь и смерть?»), сублимирует и гармонизирует, то есть обходит, чувство ужаса, если он прибегает к эвфемизму именно в *этом* («и плачет уходя»), то Бродский, напротив, первобытно не желая называть «смерть», ужаса перед ней не скрывает, как никто. И пробует рассудительно совладать с этим чувством посредством расхожего дедовского средства, верного, как горчичник. То есть: пока сознание есть, смерти еще нет; а когда сознание угасло, смерти уже нет.

Бродский опускает переход к «оно», в «пустоту», к «акту». В шестнадцати строфах он заговаривает зубы старухе с косой.

«Боль»? «Ни против нее, ни за нее / я ничего не имею. Коли ж / переборщит — возоплю: *нелепица / сдерживать чувства*. Покамест терпится».

Еще и еще раз он, как почти вся русская поэзия, идет от Державина и Пушкина — но уходит от них едва ли не более бесповоротно, чем кто-либо до него.

Потому что Хлебников, Маяковский и др., ранний Пастернак, поздние Цветаева и Мандельштам позволяли себе уходить, словно не оглядываясь. А иные и хлопали дверью. Но это оставляло возможным или даже делало неизбежным возвращение блудных сыновей гармонии.

Бродский уходит, напротив, навсегда, ибо постоянно и грустно оглядывается на прежний, классический строй речи, под знаком которой прошла и его поэтическая молодость. (Из «Сонетов к Марии Стюарт»: «в старое жерло / вложив заряд классической картечи, / я трачу что осталось русской речи / на Ваш анфас и матовые плечи»).

Так же навсегда он уходит на Запад, постоянно оглядываясь на Россию.

«Пятится всю жизнь вперед».

Россия и классическая поэтика впервые становятся сознательно разработанными в качестве воспоминаний: становятся *образом* России и *образом* прошлой поэтики.

В результате возвращение наконец оказывается лишенным смысла. Уход — бесповоротным.

Опрокинутый смысл центона «Здравствуй, младое и незнакомое / племя...» На сей раз это сказано (хотя «речь о саване еще не идет»: поэту 32 года) — о «тех самых, кто тебя вынесет...» Больше о младом племени ни звука. Значит, и приветствие не всерьез? Ну, отчего же. Но адресовано оно не младому племени, а собственному старению, смерти и тем, кто взвалит на плечи твой гроб.

Птица уже не влетает в форточку.
Девушка, как зверь, защищает кофточку (...)
Сердце скачет, как белка, в хвосте
ребер. И горло поет о возрасте.
Это — уже старение.

Старение! Здравствуй, мое старение!

*Правильно! Тело в страстях раскаялось.
Зря оно пело, рыдало, скалилось.
В полости рта не уступит кариес
Греции древней, по меньшей мере.
Смрадно дыша и треща суставами,
пачкаю зеркало...*

Технические подробности (включая девушку, защищающую кофточку, античные руины кариеса и пр.) функциональны, ибо помогают взглянуть на себя в зеркало, будто не на себя. Помогают увидеть дело в правильном свете.

«Правильно!» «Бей в барабан о своем доверии / к ножницам, в коих...»

«„Ты боишься смерти?“ — „Нет, это та же тьма?»

но, привыкнув к ней, не различить в ней стула».

(Из стихотворения «Лондон в Челси»).

Почему же именно стула?

См. «Посвящается стулу»: ни дать, ни взять, в стиле риторских «похвал» времен второй софистики. Это довольно длинная философическая история.

Достаточно напомнить, что стул в ней тоже «вещь», но неживая изначально, следовательно, в отличие от трупа — подлинная. Впрочем, он «сделан, как и дерево в саду, / из общей (как считалось в старину) / коричневой материи». Отсутствие сознания и отсутствие даже жизни у стула — «сухо / сочтется камуфляжем в Царстве Духа». Ибо всякая вещь, «презирая риск, / пространство жаждет вытеснить (...).» Пространство же без вещи — пустота... «воздух». «Стул, что твой наполеон, / красуется сегодня, что вчерась. / Что было бы здесь, если бы не он? / Лишь воздух (...).»

Нелепое «вчерась» сигнализирует о подступающем лирическом удушье.

Нас ждет под (нескрываемым) камуфляжем версия того же сюжета: о «вещи» и «пустоте».

Стул, как и всякая равная себе вещь, уверенно противится дурной бесконечности пространства, пустоте, смерти, «воздуху» промеж своих четырех ножек («только воздуху», от коего «вас охватывает жуть»). Но телесность дна перевернутого стула («Фанера. Гвозди. Пыльные штыри. / Товар из вашей собственной ноздри») жалка, как собственное стареющее тело.

(Кто еще был бы способен, кроме Бродского, на такую «деталь», как засохшая сопля на днище стула, по вопросу «что жизнь и смерть?»)

Итак. Как и мы, «Стул состоит из чувства пустоты / плюс крашеной материи; к чему / прибавим, что пропорции просты (...).» Материи придана на сей раз форма именно стула. А не стола. «Стул может стать, чтоб лампочку вернуть, / на стол. Но никогда наоборот».

Форма, в отличие от материи (особливо же мыслящей), бесконечна во времени. Стул некоторым образом вечен.

«Всё выглядит как будто его нет, / тогда как он в действительности есть!
(...) Мир создан был для мебели, дабы / создатель мог взглянуть со стороны / на что-нибудь, признать его чужим, / оставить без внимания вопрос / о подлинности. Названный режим / материи не обещает роз, / но гвозди (...).»

«(...) Везде / вещь держится в итоге на гвозде».

Неужто сквозь похвалу стулу здесь возможен вольный или невольный намек на Распятого? Смысл наступает мгновенно и неизбежно, как иерусалимская ночь.

Ты был первым, с кем это случилось, правда?
Только то и держится на гвозде,
Что не делится без остатка на два.

(«Римские элегии»)

«Названный режим» поэтики, при котором, скажем, разглядывание стула, его неприглядного днища, мнимориторическое глаголение по сему ничтожному поводу есть сразу же мысль о вселенском творении («И, вниз пылью, переплетенный стебель / вмиг озарит всю остальную мебель»), подвигает нас к «последним вопросам» даже тогда, и особенно тогда, когда мы готовы расслабиться.

Бродский, о чем бы ни писал, пишет о самом горьком, о самом главном, о запредельном. Выдержать это и притом настойчиво выказывать себя не «Поэтом», а обычным человеком своего времени, можно, только плюнув на «стиль». Распотрошив обивку стиха. Сломав синтаксис. Забывая гвозди enjambement'ов («вещь держится в итоге на гвозде»). Покрывая разорванность фраз, смысловые внезапности, иронические и ритмические экстрасистолы густой пеленой сплошного, монотонного заунывного интонирования, читая стихи словно в синагоге, словно заворуженно и нервно раскачиваясь, с обессиленными выдохами на излете строф.

Невыносимая напряженность чуть не в каждом стихотворении! (Отсюда и основная опасность, подстерегающая «позднего Бродского», — опасность превращения этого в прием, в манеру, в «верхнее ля».) Чуть что, даже вроде и не к месту, при огромном и несравненном разнообразии внешних тем и материала, все тот же вопрос. «Что жизнь и смерть?»

Только о главном. Такой поэт.

Да можно ли кружить и кружить вокруг «этого»?

Иосиф Бродский и в этом, пожалуй, наследник бесстильного Достоевского. И надстильного позднего Мандельштама.

Но я немного отвлекся.

Мир создан был для мебели, то есть из потребности Творца в остранении... подобно Создателю, ведет себя и человек: «Глаз чувствует, что *требуется вещь, / которую пристрасно рассмотреть.* / Возьмем за спинку некоторый стул», и т. д. В производном придаточном стих давится сказуемым. Гвоздь искривлен, вбит неграмотно, но крепко. Далее бесстрастным тоном учителя математики, будто начало теоремы: «Возьмем за X некоторый стул», и пр.

Стул у Бродского существует в согласии с Аристотелем. «Стул напрягает весь свой силуэт». Форма выше материи и насыщенной пустого пространства.

Остается, однако... «вопрос о подлинности».

Воскресный полдень. Комната гола.
В ней только стул. Ваш стул переживает
вас, ваши безупречные тела (...)
Он не падет от взмаха топора,
и пламенем ваш стул не удивит (...)
Он превзойдет употребленьем гимн,
язык, вид мироздания, матрас.
Расшатан, он заменится другим,
и разницы не обнаружит глаз.
Затем что — голос вещь, а не зловец —
материя конечна. А не вещь.

Итак, пока живы, вы видите стул. Мебель. Вещи. Даже ночью, если привыкнуть ко тьме. Но придет час стать тоже «голой вещью», и не надо бояться. Это просто значит: привыкнуть ко тьме, в которой не различить стула... к миру вне творения, к пространству без «мебели».

По Бродскому, «трупность» — это когда всё выглядит, как будто вы есть, тогда как вас в действительности нет.

Воскресенье — самый тягучий день для одинокого. Полдень — самый пустынный час. «Воскресный полдень. Комната гола». «Полдень», «комната», голизна, как, впрочем, и «только стул» — из длинного ряда знаков одиночества и близящегося конца в поэтической системе Бродского. При такой густоте их в первой строке заключительной строфы дальше нужно ждать мыслей о смерти, они последуют с неизбежностью.

Стул — исконная, то есть *повторяющаяся* вещь. Подлинно вещь. Значит, стул бесконечен и превосходит в этом мыслящую и говорящую плоть, которую «ничто не повторяет» (ср. с «я жил, как все!»), недостаточно плотскую плоть, не-вещь с томи-

тельным дыханием, которая в «голую вещь» обратится лишь напоследок, прежде чем исчезнуть.

Чем мы дышим — то мы есть,
 что мы топчем — в том нам гнить <...>
Нас других не будет! Ни
 здесь, ни там, где все равны.
 Оттого-то наши дни
 в этом месте сочтены <...>
 Сумма лиц, мое с твоим,
 очерк чей и через *сто*
тысяч лет неповторим.
Нас других не будет! <...>
 («В горах»)

Вот базальтовое основание всего, что знает Я о жизни и смерти. Вот простая необходимость нашего мужества.

Или так:

Всё, что звали мы личным,
 что копили, греша,
 время, считая лишним,
 как прибор с гольша,
 стачивает — то лаской,
 то посредством резца, —
 чтобы кончить цикладской
 вещью без черт лица.

(«Пятая годовщина»)

«Личным» убийственно рифмуется с «лишним»; легкая звуковая неполнота перекрывается точностью смыслового попадания. За вычетом же неповторимо-личного остается человеческая галька, гольш, голизна, мертвая вещь в цикладской исторической кладке. Коричневая материя. Забвение индивидуального смысла, стирание в памяти черт прежнего своего и другого лица — то, чем время убивает наше прошлое, прежде чем прикончить нас совсем.

«Нам цена — базарный грош. / Я умру, и ты умрешь».

Тут мне хочется сделать некоторые довольно пространные выписки из труда, не имеющего как будто никакого отношения к стихам Бродского.

«Смысл мира должен находиться вне мира. В мире все есть, как оно есть, и все происходит, как оно происходит; в нем нет ценности — а если бы она и была, то не имела бы ценности.

Если есть некая ценность, действительно обладающая ценностью, она должна находиться вне всего происходящего и так-бытия. Ибо все происходящее и так-бытие случайны.

То, что делает его не случайным, не может находиться в мире, ибо иначе оно бы вновь стало случайным.

<...>

Понятно, что этика не поддается высказыванию.

Этика трансцендентальна.

(Этика и эстетика суть одно.)

<...>

Мир счастливого отличен от мира несчастного.

Так же как со смертью, мир не изменяется, а прекращается.

Смерть не событие жизни. Человек не испытывает смерти.

<...>

Бессмертие человеческой души во времени, то есть вечное продолжение ее жизни и после смерти, не только никак не подтверждается, но не оправдывает всегда возлагавшихся на него надежд и в качестве допущения. Живи я вечно — разве *этим* раскрывалась бы некая тайна? Разве и тогда эта вечная жизнь не была бы столь же загадочной, как и нынешняя? Постигание тайны жизни в пространстве и времени лежит *вне* пространства и времени.

<...>

С точки зрения высшего совершенно безразлично, как обстоят дела в мире. Бог не обнаруживается в мире. <...>

Мистическое — не то, *как* мир есть, а *что* он есть. {...}

Переживание мира как ограниченного целого — вот что такое мистическое.

Для ответа, который невозможно высказать, нельзя также высказать и вопрос.

Тайны не существует.

Если вопрос вообще может быть поставлен, то на него *можно* и ответить.

{...}

Решение жизненной проблемы мы замечаем по исчезновении этой проблемы.

(Не потому ли те, кому после долгих сомнений стал ясен смысл жизни, все же не в состоянии сказать, в чем состоит этот смысл?)

В самом деле, существует невысказываемое. Оно *показывает* себя, это мистическое».

(*Людвиг Витгенштейн*. Логико-философский трактат, 6.41—6.522.)

Можно было бы шаг за шагом разъяснить неожиданную уместность здесь цитат из Витгенштейна, указать текстуальные параллели. Но я не собираюсь этого делать, дабы чересчур уж не нарушать связности изложения. И еще потому, что читателей не затруднит разобраться в этом самим.

Ограничусь следующим.

Хотя *всякий* «ценностный» (человеческий) смысл и *всякое* искусство обретаются лишь «вне мира», вне *наличного* бытия («так-бытия», «So-Sein»); хотя в принципе «этика и эстетика суть одно» *всегда*, на современный взгляд; и хотя, наконец, понимание мистического («тайны») как невозможности не только ответа, но и вопроса как «показывания», явленности (*zeigt sich*) вне (или *поверх?*) высказывания — все это у Витгенштейна, разумеется, логическая всеобщность, а не особенность того или иного высказывающегося — тем не менее Иосиф Бродский отличается тем, что не только подлежит, как все, этим истинам, но и превращает их или нечто сходное в *прямой предмет* своей поэзии. В ее генеральную тему и музыку.

Поэзия Бродского несравненно и сплошь рефлексивна *напрямую*. Это легко принять в ней за перенасыщенность энергией рассудочного высказывания. Да нет же, это только личный способ выживания. Покрой данного «трико паяца». На деле столь, казалось бы, рациональный поэт беспрестанно мучим невозможностью что-либо высказать о мире, где все есть, как оно есть, и все происходит, как оно происходит. Невозможностью даже спросить о смысле жизни и смерти.

«С той дурной карусели / что воспел Гесиод, / сходят не там, где сели, / но где ночь застает {...} / эти строчки, по сути, / болтовня старика {...} / Так мы лампочку тушим, / чтоб сшибить табурет. / Разговор о грядущем — / тот же старческий бред».

Чем извилистей его квазирациональные выкладки, тем ближе рев Минотавра. Он не знает ответов и, в сущности, не задает вопросов («свободному слову / не с кем счесть свести»).

Его остроумие часто как бы машинальное, немного заведенное, привычное, принужденное. Оно удерживает баланс на растяжке тугого отчаяния. Его настойчивое вопрошание — это бормотание, это раскачивающееся, шмелиное, через нос, жужжащие строфы (чья пронумерованность — подобие лонжи).

Теперь представим себе абсолютную пустоту.
Место без времени. Собственно воздух. В ту
и в другую, и в третью сторону. Просто Мекка
воздуха. Кислород, водород. И в нем
мелко подергивается день за днем
одинокое веко.

То есть представим себе настоящее с отрезанным прошлым, если угодно, эмиграцию, место без времени, жизнь после жизни, неприкаянность, а в общем, всякое экзистенциальное одиночество. «Философская поэзия»? Да нет. Никакое не философствование, а попытка «скрипеть моим пером, моим коготком, моим посохом», продираясь сквозь абсурд существования.

«Посреди абсурда, ужаса, скуки жизни...» («В Англии. IV»)

Это абсурд в кубе: «Что способен подумать при виде птиц / в аквариуме бо-таник?»

Это бес-смыслица отдельного существования по отношению к несоразмерному с ним, немислимому, невообразимому Целому: «Помнит ли целое роль частиц?»

Это без-различие: как между стулом и телом на нем (в «Посвящается стулу»: «Тело, застыв, продлевают стул. Выглядит, как кентавр»). Или как между жизнью и смертью в минуты острого сердечного приступа. («{...} На тротуаре / в двух шагах от

гостиницы, рыбой, попавшей в сети, / путешественник ловит воздух раскрытым ртом: / сильная боль, на этом убив, на том / продолжается свете» — действительно, не анжамбманы, но экстрасистолы!)

И, что совсем уже скверно, это без-различие между сказанным и несказанным словом: «Было ли сказано слово? И если да, — / на каком языке? Был ли мальчик? (...)»

Это глухая тоска. «Ночь; дожив до седи́н, ужинаешь один, / сам себе быдло, сам себе господин.»

Это гостиничная без-домность.

Это оскорбительное отвращение к себе (и оскорбление тут же не заставляет ждать: «В одинокой комнате простыню / комкает белое (смуглое) просто ню — / жидопись неизвестной кисти».)

И в конце концов это —

(...) записки натуралиста. Записки натуралиста. Капающая слеза падает в вакууме без всякого ускоренья. Вечнозеленое невращение, слыша жжу це-це будущего, я дрожу, вцепившись ногтями в свои корни.

Что за последняя строфа «Квинтета»?! Почти физически неприятная фонетика. Что за расчетливо-случайная игра со словом, скрип пера, отвечающий тоске, но, может быть, и отвлекающий от нее, скоморошничавший. Grimасы перед зеркалом с показыванием себе языка. «И без костей язык до внятных звуков лаком». Только судьбу он на сей раз не благодарит.

ЖЖУ! ЦЕ-ЦЕ! Записки. За. Писки. Мои писки. Великолепные стихи по необходимости должны *разваливаться* в «месте без времени». Что за странное, корявое — «слыша жжу це-це будущего»?

А... плевать! — «В горле першит. Путешественник просит пить». «И накапливается, как плевков, в груди: / «Дай мне бумаги, чернил, а сам уйди / прочь!»

И веко подергивается.

С чего и начинается «Квинтет». Затем это повторяется еще трижды: лейтмотив. Что, все-таки симптом жизни? Или...

Почему это происходит и в «абсолютной пустоте»? Да потому, что «сильная боль, на этом убив, на том продолжается свете».

Ибо: «Нам знаком при жизни предмет боязни» («Песнь невинности, она же — опыта»).

Но — совершенно по той же причине, по каковой они дергаются, веки также и останавливаются. Немигающие глаза, знак оцепенения, «мертвой зыби». «В середине длинной или в конце короткой / жизни спускаешься к волнам не выкупаться, но ради / темно-серой, безлюдной, бесчеловечной глади, / схожей цветом с глазами, глядящими, не мигая, / на нее, как две капли воды. *Как молчанье на поугая*. («В Англии. I. Брайтон-рок».)

Продолжать «мелко подергиваться» по ту сторону жизни либо быть еще живым и, не мигая, застыть перед темнеющим, сереющим морем... молчать либо быть крикливым попугаем... испытывать боль то ли на этом, то ли уже на том свете... жить или умереть. Похожие состояния!

Жжу. Оно начинается уже во время приступа. «Я понимаю только жужжанье мух / на восточных базарах!» — это рыба на тротуаре хватает ртом воздух. Ср.: «Жужжанье мухи, / увязшей в липучке, — не голос муки, / но попытки автопортрета в звуке / «ж» (...)» («Эклога 5-я»).

После жужжания мухи и предложения представить себе абсолютную пустоту, после мелко подергивающегося в оной одинокого века — что бы ни сказать далее, все равно выйдет совсем не то. «Вечнозеленое невращение». Автопортрет в нестерпимом звуке.

У скрипачей есть прием «коленьо»: ведение деревянной стороной смычка по струне. Кремер играет Шнитке. «Чудовищность творящегося в мозгу...» Такие невероятные приемы в поэтике Бродского бывают необходимы. Они из поэтического ряда — вон. Они уравнивают слишком тягостные признания, отвлекают от них деревянным скрипом.

«Так и я, ребенок странный, / Песнь мою пою впотьмах. / Незатейливая песня, / Но зато прогонит страх». У Бродского это гейневско-блоковское звучит вот как: «Я дрожу, вцепившись ногтями в свои корни». А что такое корни, единственно

возможные для «путешественника» и поэта, сказано было в начале: «Дай мне чернил и бумаги!»

Не отсюда ли незатейливые пiski натуралиста, машинальная фонетика, жжудо-дро-це-це, «зараза бессмысленности» («Письма династия Минь»)? Впрочем, на этом-то — на максимальном расстройстве сознания, соответственно при напрочь задикулирующей на себе изощренной поэтической технике расстройства, распада речи,— самое время закончить стихотворение. Обычный для Бродского финальный ход.

«Я в последнее время немного сбиваюсь: скалюсь / отраженью в стекле витрины». («В Англии. VI».)

В руках у него нет Ариадниной нити. Какая там к ляду нить! Нет никого, кто сел бы за прялку вместо Парки. Он чуть не сбивается с навязчивой мысли и возвращается к ней.

Бродский «показывает» экзистенциальный трагизм тем несказанней, чем рассудительней, дотошней он высказывается, высказывается и высказывается. «Человек — только автор / сжатого кулака».

Слова — единственное, что реально и прочно. Но и они тут бессильны. «Дорогая, несчастных / нет, нет мертвых, живых. / Всё — только пир согласных / на их ножах кривых». Лингвистический позитивизм Бродского...

А по Витгенштейну: «Тайны не существует».

Остается попытка «переживания мира как ограниченного целого». То есть с некой позиции, мысленно занятой извне мира.

Это значит: принять вид отстраненности, вид ироничности, вид холодности. «Бобо мертва. И шапки не долой».

Все отмечено такой нешуточной, убедительной выделкой, что это невозможно не принять в качестве мироощущения. Однако при каждом движении все сразу же наклоняется в другую сторону. Это лишь противоположный конец балансира, сжато в кулаке.

Опасное скольжение автора под куполом. Мы прикладываем бинокль.

«Мы, восклицая «вон, / там», видим вверху слезу / ястреба...»

Между прочим, Людвиг Витгенштейна относят к позитивистам. Очень хорошо. Но почему бы не добавить, что такой позитивизм, додуманый до предела,— не самый избитый путь к *своему* мистическому? И не самый легкий.

«Бобо мертва. И хочется, уста / слегка разжав, произнести «не надо». / Наверно, после смерти — пустота. / И вероятнее, и хуже Ада. / Ты всем была. Но потому что ты / теперь мертва, Бобо моя, ты стала / ничем — точнее, сгустком пустоты. / Что тоже, как подумаешь, немало. / {...} Идет четверг. Я верю в пустоту. / В ней как в Аду, но более херово. / И новый Дант склоняется к листу / и на пустое место ставит слово».

«Бобо» — это бабочка. Чтобы понять, насколько Бродский совершенно серьезно, достаточно прочесть его поэму о бабочке. «Вера в пустоту» в заключительном четверостишии «Похорон Бобо» имеет двоякий и разнонаправленный смысл. Она оказывается сразу и знанием того, что нам гнить в земле, что «нас других не будет»; и убежденностью в высшей реальности поэзии (заполнить пустоту дано лишь словом).

О первом значении «пустоты» «хочется, уста слегка разжав, произнести «не надо». Но уста лучше не разжимать. «Слеза к лицу разрезанному сыру».

В том же переломном для судьбы Бродского 1972 году, почти одновременно с «Похороны Бобо», поэт написал еще раз совершенно теми же словами, решающе важными: «Пустота вероятней и хуже ада. / Мы не знаем, кому нам сказать «не надо» («Песня невинности, она же — опыта»).

А почему: «Идет четверг»? А потому, что это можно по крайней мере высказать с полной уверенностью. Потому, что «больше не во что верить» (опричь пустоты): см. ниже о «Темзе в Челси».

«Чем объяснить, что утешаться нечем?»

Легче констатировать: «Херово». Dixi et sic levavi animam meam. Сказал и тем облегчил душу. (Ср. «Натюрморт», седьмая строфа.)

«Нам за тобой последовать слабо, / но и стоять на месте не под силу». Бродский в собственной манере излагает довольно старую мысль, выраженную римским перво-священником в XIII веке иначе: «Время есть замедление вещей переходящих».

«И в качестве ответа / на «Что стряслось» пустую изнутри / открой жестянку: «Видимо, вот это».

Как нередко у Бродского, окликание Смерти по имени табуировано (а если нет — то уж оголено совершенно: «Я умру, и ты умрешь»; или: «Они умрут. Все. / Я тоже умру»).

Переход от «слабо» и «херово» к «новому Данте», который «склоняется к листу», от бытового и грубого слога к самому высокому в поэтической системе Бродского идеально непрерывен, почти незаметен, как выдох и вдох. Надо будет еще обдумать грубости у Бродского, которые никого не должны бы шокировать. Надо будет написать о художественной важности беспрецедентного в русской поэзии их *внеиерархического* появления, в обнимку с возвышенным и трагическим, через запятую (впрочем, редко, всегда внезапно и скорей всего в моменты наиболее глубокого потрясения).

«Бобо мертва». Но почему «бобо»? Потому что Бродский крайне чуток к чистой фонетике, то есть не только к звукам поэтической речи, а и просто к звукам речи.

«БО-БО»!

Поджатые губы, надутые щеки, гулко выходящий воздух, нечто безусловно и законченно бессмысленное. Трубность, весьма пригодная, при виде трупности, перед констатацией наждачных согласных: «мертва». Пустота. Не живая бабочка, а бобо в пустой жестянке.

«(...) Кожура / снятая с апельсина / жухнет. И свой обряд, / как жрецы Элевсина, / мухи над ней творят. / Облокотясь на локоть, / я слушаю шорох лип. / Это хуже, чем грохот / и знаменитый всхлип. / Это хуже, чем детям / сделанное «бо-бо». / Потому что за этим / не следует ничего».

Мы все сойдем под вечны своды... мухи заменят жрецов Элевсина... шорох лип, то бишь краса равнодушной природы у гробового входа, — это хуже, чем «бо-бо»... за этим не следует ни-че-го.

«Нищий квартал в окне / глаз мозолит, чтоб (...) / в лицо запомнить жильца, а не / как тот считает, наоборот».

Это из стихотворения, которым открывается сборник «Часть речи».

Ваш квартал переживет вас...

Или еще.

«Плещет лагуна, сотней / мелких бликов тусклый зрачок казнь / за стремленье запомнить пейзаж, способный / обойтись без меня». (Венецианские строфы-II.)

Знаменитая лагуна переживет вас...

«Может, вообще пропажа / тела из виду есть / со стороны пейзажа / дальнорзости мечь» («Строфы»).

Но таково же соотношение между глазом и обычнейшим стулом. «И по комнате, точно шаман кружа, / я наматываю как клубок / на себя пустоту ее, чтоб душа / знала что-то, что знает Бог». Вариация на уже знакомую величавую индивидуалистическую тему о том, что «только размер потери» — исчезновение личной вселенной — «делает смертного равным Богу».

«Чувство ужаса» преодолевается, поскольку высказано поистине с последней прямой, не предсмертной, а уже словно бы потусторонней: из той самой непостижимой пустоты.

Поэт говорит в «1972 году» о предстоящем как о свершившемся. Вместо «огня», красиво уходящего «в ночь», взгляд со стороны на стареющее — и в перспективе — подышающее тело. Мое?! Да, миленький читатель. Мое или твое. Уже нет сознания, следовательно, нет и смерти, а значит, уже нет и ужаса.

«Это и к лучшему».

Место того, что имеет произойти, на первый взгляд не мироздание, как у великого лирика прошлого века, а всего только постель умирающего.

И в апофеозе кривая усмешка, бесконечная усмешка Бродского. Трагическая грубость. Или, если угодно, констатация при омовении. После «глаголаю» и «ни горé, ни долу»: «Так что лужица / подле вещи не обнаружится, / даже если вещь при смерти».

ОНО наконец-то может быть названо вследствие неслыханного антиклассического виража с «вещицей» и «лужицей».

А затем... вопреки тезе иронического стиля, всем этим многочисленным подходам к «пустоте», вопреки не щадящему ни себя, ни читателя глгдению в упор и (или) отворачиванию от «вещицы», которой со временем стану Я... после того как фетовское «плачет уходя» может показаться бесповоротно перечеркнутым... вдруг два

простых слова. По стилю они совершенно поразительны на предыдущем фоне. На деле же подготовлены по контрасту, от противоположного.

«Хочется плакать».

Фет ни в коем случае так не мог бы сказать. Но разве не это он и хотел, собственно, «навеять»? Такова антигеза, запрятанная — со стиснутыми зубами — внутрь рассуждения о «вещице» и «лужице». Косвенно напоминающая о лиризме классической поэтики. Без торжественных органных раскатов. Зато от первого лица. Признание, глухо оброненное с глаза на глаз с читателем.

«Что не выскажешь словами, звуком на душу навей»? (Ср. у Бродского: «искренний звук».) Да нет, конечно. «Словами» в их наипрямом, жестко-логическом значении тоже.

На исходе XX века уже не осталось таинственно-недоступных сладостных слов. В лирическом анамнезе современной русской поэзии — мандельштамовский разрыв аорты, притом... «с кошачьей головой во рту». Последнее для поэтики Осипа Эмильевича (в отличие от судьбы его) было сугубо нехарактерным, но, между прочим, мельком предсказало Бродского. В эпикризе столетия (в «Части речи» или «Урании») «кошачья голова во рту» досказана с немислимой ранее жесткостью.

Без катарсиса? Ну, отчего же. Тут свой собственный, современный катарсис. «Лужица подле вещи не обнаружится».

И точка. И не трогайте меня. *Noli me tangere.*

«Хочется плакать». А вослед еще три слова: синтез, столь же краткий, стоический, очень обыденный по интонации и, стало быть, тоже оспаривающий фетовское «Не жизни жаль...». Однако же и включающий прежний возвышенно-трагический лиризм, только каким-то невероятным кружным путем.

Жизни-то жаль.

«Но плакать нечего».

Так, изгнанный в дверь, фетовский плачущий огонь может вернуться. Но не былая поэтика. Ведь это спор эпохальных поэтик, а не прямых ощущений. «Искренних звуков» по поводу одного и того же ужаса. Разгонов мысли в частях одной и той же речи. Спор разных времен со все тем же пространством.

«Полдень в комнате». Финал.

Знай, что белое мясо, плоть,
искренний звук, разгон
мысли *ничто* не повторит — *хоть*
наплоди легион.

[=«просиял над целым мирозданием»]

Но, как звезда через *тыщу лет*,
ненужная никому,
что не так источает свет,
как *поглощает тьму*,

[=«и в ночь идет»]

следуя дальше, чем тело, взгляд
глаз, *уходя вперед*,
станет *назад посылать подряд*
все, что в себя вберет.

[=«и плачет уходя»]

В последней из процитированных строф — одна из возможных разверток смысла формулы «пытится вперед».

Как печально и славно Бродский утешает себя и Фета. К умиротворению тех, кто любит их обоих.

А заодно (о, мы еще убедимся!): Россия и эмиграция оказываются иносказаниями того, что уготовано всякой душе в пространстве мира.

Иосиф Александрович, с 1972 года «тыща лет», пожалуй, уже и промелькнула? Все подтвердилось. Так за Вас! — еще через 1000 лет!

И за Вас, Афанасий Афанасьевич!

III

Бродским излюблены многострофные растворы — с высокой концентрацией и переплетением сразу всего, чем заполнена его поэзия, с очередной инвентарной описью всех свойственных ей мотивов и приемов.

Конечно, любая такая опись, несмотря на длину, неполна, да и неповторима. Это не итог, но характерный для Бродского образ *итоговости*. Подытоживания и прощания.

У поэтов бывает один «Памятник», ну два (если, допустим, засчитать Пушкину и «...Вновь я посетил»), один «Заповіт», «Реквием».

Бродский же то и дело вызывает нотариуса и велит переписать духовную.

В ней поименованы и розданы: любовь (как незаживающая, так и легкомысленная), стало быть, и все виды разлук; засим друзья, одиночество, память, забытьё, ощущения собственной телесности, старение, время, пространство (или «воздух»), в нем вещи и пейзажи, история с обильной географией, погода с затяжным дождем, океан и просто сырость, плавание и сидение дома взаперти, вид земной тверди сверху, с высоты птичьего полета, и вид неба снизу, обязательно флора, чье изобилие соответствует географии, а также очень многое другое, вплоть до лампочки под потолком и начинки в сиденье стула. Так или иначе «сгусток пустоты». Все это дано чуть ли не разом, с непререкаемыми формулами окончательности, впрочем, возобновляющейся при каждом следующем случае.

«Что бы такое сказать под занавес?!»

На хронологическом рубеже своих двух жизней — «здесь» и «там», уже готовых поменяться местами, — прощаясь с Россией и с молодостью, поэт написал нечто итоговое, предсмертное. Может быть, вопреки дате это можно бы воспринять как эпилог ко всему творчеству Бродского, как последнее стихотворение последнего тома его сочинений. К счастью, сочинения продолжали с тех пор, скоро уже четверть века, прибывать и прибывать. А эпилог соответственно продолжает отодвигаться в конец их собрания.

«1972 год» открывает обширный последующий эпилогический ряд, это первый крик ястреба.

Данная песня не вопль отчаянья.
Это — следствие одичания.
Это — точнее — *первый крик молчания*,
царствие чье представляю суммою
звучков, исторгнутых прежде мокрою,
затвердевающей ныне в мертвую
как бы натуру, гортанью твердою.

Впрочем, ощущение Я и настоящего как затвердевающего прошлого, мотив затянувшегося прощания с жизнью — все это очевидно уже в 1971 году, на пороге эмиграции, прежде всего в таких распахнутых и мощных стихах, как «Натюрморт» и «Я всегда твердил, что судьба — игра».

Я сижу у окна. Я помыл посуду.
Я был счастлив здесь, и уже не буду. (...)

Я сижу у окна, обхватив колени,
в обществе собственной грузной тени. (...)

Гражданин второсортной эпохи, гордо
признаю я товаром второго сорта
свои лучшие мысли, и дням грядущим
я дарю их как опыт борьбы с удушьем.
Я сижу в темноте. И она не хуже
в комнате, чем темнота снаружи.

Тут же сказано: «...не знал Эвклид, что, сходя на конус, / вещь обретает не ноль, а Хронос». Надо полагать, это значит, что в острие конуса — там, где «вещь» исчезает, убывает, «сходит», где затвердевает мокрая ранее гортань, — прежде чем наступит последняя «пустота», накануне «нуля» обнаруживается время, но тождественное прошлому. Воспоминания. Не живое, струящееся время, а Хронос, время в янтарной смоле.

Индивид живет накануне конца времен. Сиречь конца своих времен. Настоящее в сумерках расплывается, оно мерцательно, неверно. Что до будущего, его, собственно, нет. Настоящее явственно отдает будущим лишь в эсхатологическом плане. «Пахнет оледенением. (...) / В просторечии — будущим. Ибо оледенение / есть категория будущего, которое есть пора, / когда больше уже никого не любишь, / даже себя

⟨...⟩ / ⟨...⟩ В определенном смысле, / в будущем нет никого; в определенном смысле, / в будущем нам никто не дорог ⟨...⟩ / ⟨...⟩ Будущее всегда / настает, когда кто-нибудь умирает. / Особенно человек. ⟨...⟩»

Зато: «В прошлом те, кого любишь, не умирают. / В прошлом они изменяют или прячутся в перспективу» («Вертумн»).

Или в ретроспективу Хроноса? Ею-то Бродский и поглощен чаще всего. У Тридцать Третьей буквы есть только прошлое. Вперед можно только пятиться. Писать стихи — значит переходить на код. Помахать рукой остающимся.

Поэтому, с чего бы Бродский ни начал, все равно получится, пожалуй, опять-таки эпиграф. Или эпиграф (что одно и то же). Или эпитафия: Бобо и себе.

«Эта песнь без конца...» (из «Сидя в тени»). «1972 год» и другие подобные стихотворения, сплетенные из лейтмотивов, из ключевых слов, воспринимаются в качестве крупной формы. Как Маленькие поэмы. Как итоговые комментарии к прожитому, а также к оставшемуся для проживания. Или как некие патолого-анатомические заключения после вскрытия души.

То есть Бродский — поэт не только эпилогический в историческом (стилистическом, психологическом) плане по отношению к русской лирике XVIII—XX веков. Он также настойчиво эпилогичен, особенно в крупных композициях, по отношению к собственной поэзии и судьбе.

Таковы, например, «Строфы» 1978 года. Да и «Песня невинности, она же — опыта», даже «Лагуна» или «Темза в Челси», даже «Пьяцца Маттеи» или «Эклоги». Или «Сидя в тени», или «Бабочка», или «Муха», или «В горах», или «Вертумн», или «Fin de siècle», или как раз сравнительно небольшое «Послесловие», или вовсе лаконичное и великолепное «Я входил вместо дикого зверя в клетку» (листаю «Сочинения» уже наугад). Это цикл «Часть речи». А также «Колыбельная Трескового мыса» и, безусловно, «Литовский ноктюрн», «Пятая годовщина», ну и так далее.

Прощания и подытоживания.

Осенний крик ястреба.

В этой поэме отчаяние достигает спасительного самоотстранения; личная интонация возвышается до романтического эпоса.

Одинокая птица над Америкой.

Оледенение, холод, зима — обычные для поэта знаки смерти, ухода — приобретают непреложную природную и фабульную буквальность. С традиционной и неожиданной развязкой.

Взгляд снизу вверх: запрокинутая голова. Слежение за удаляющимся полетом птицы. Обычный взгляд, нуждающийся в бинокле.

И взгляд сверху вниз: на ширящийся земной окоем. Ястребиное зрение Бродского. В зените этот взгляд становится завораживающим, невероятным, как из космического иллюминатора.

Наконец, разглядывание летящего ястреба с такими мельчайшими подробностями, которые доступны лишь при наблюдении вплотную. Холодяще-достоверный полет рядом с птицей. Все три визуальные проекции, перемежаясь, в итоге трудноуловимо переплетаются. Они потрясающе накладываются друг на друга (и, между прочим, строфы единого восходящего потока поэтому не пронумерованы). Возникает округлая факеточность поэтической «глазной ягоды». Чудотворная сферическая объемность.

Так подготавливается хватающий за душу финал.

Притом отчетливая структура внутренней формы.

Три строфы экспозиции с нарастающим удалением от земли. Упорное воспарение. («На воздушном потоке распластанный, одинок, / все, что он видит...») Взгляд сверху вниз. Переход от крупных планов там, внизу (от «суслика на меже»), ко все более общим («схожие с бисером городки / Новой Англии»). «Стынут шпиль церкви».

Следующие центральные двенадцать строф: *невозможность возвращения* и — смерть.

Сперва мы поднимаемся сами (в то, «что для двуногих высь»), вплотную приближаемся к ястребу. Видим сомкнутый клюв, прижатую к животу плюсну, различаем даже мелкую дрожь «сердца, обросшего плотью, пухом, пером, крылом».

Затем, в седьмой и восьмой строфах, *одновременно* «сверху», «снизу» и «рядом». / Крупные планы внизу вновь упоминаются по поводу их умаления и наконец исчезновения. Перетекание ястреба в небо — «за счет» его превращения для нас (*снизу*) в «еле видное глазу коричневое пятно, точку» — «за счет пустоты в лице /

ребенка, замершего у окна, / пары, вышедшей из машины, / женщины на крыльце». Ребенок действительно замер или это (сверху) его фигурка кажется неподвижной? Во всяком случае, «пустота в лице» должна быть отнесена к дальнейшему: первый предупредительный знак того, что произойдет с птицей.

На крупном плане (но *рядом*) остается лишь ястреб («Но восходящий поток его поднимает вверх / выше и выше. В подбрюшных перьях / щиплет холодом. Глядя вниз, / он видит...»).

А там, внизу, общий план становится настолько общим, что «горизонт померк» (еще одно тревожное про-зрение). Несчетные трубы и дымки: «...он видит как бы тринадцать первых штатов». Взгляд на Америку настолько *сверху*, что достигает ее первоначала в историческом времени.

Множество силуэтов, локальных цветовых тонов, проблесков и недоступных слуху, но зримых звуков, отпечатываясь на поэтической сетчатке, превращают поэму в мозаику и обеспечивают тождественность видимого и воображаемого. Все зримое, истаивая в вышине, переходит в область воображаемого, все воображаемое оказывается отчетливо зримым.

Щиплет холодом. Средина поэмы близится к «бесцветной ледяной глади», а значит, к кульминации.

«Эк куда меня занесло!» — единственное местоимение первого лица, в котором поэт на мгновение становится одинокой птицей или наоборот.

«Его, который еще горяч!» Самоощущению уже не расстаться с полетом ястреба. Крен в «меня» (словно бы произвольный, поэтому пронзительный) выравнивается в «его». Я, замерзая, становится «он».

«И тогда он кричит...» Криком, «не предназначенным ни для чьих ушей». «Только псы задирают морды». Человеку так кричать нечего и некому: «...так отливаться не могут слезы / никому...»

Но кошмар может кричать неслышимым криком птицы. Не ртом, клювом. «И мир на миг / как бы *вздрагивает от пореза*».

Эта фраза, разумеется, главная.

В ней высшая точка лейтмотива *раняще-острого*, разворачивающегося параллельно визуальным мотивам. Серебро реки, «точно живой клинок», — «травы, чьи лезвия остры», — сердце ястреба, «точно ножницами сечет». Впечатления острого, рассекающего — подготавливают крик ястреба. «Из согнутого как крюк, / клюва, похожий на визг эриний {...} механический нестерпимый звук, / звук стали, вписавшейся в алюминий...» (то есть «в бесцветную ледяную гладь»).

Ср. в «Пятой годовщине»: «Там схож закат с порезом». «Там», то есть в данном случае на родине. Все не свертывается, не присыхает блоковское: «закат в крови!» Не знаю, где еще так видят солнечный закат.

О, русская гемофилия!

«Там», по ту сторону жизни, обжигает тепло, как здесь — на морозе «черная ограда» обжигает руку без перчатки...

После перетаскивания кульминационной пятнадцатой строфы в шестнадцатую, тут же вдруг — «мы». «{...} Мы, восклицая «вон, / вон там!», видимверху...»

Это уже начался — а мы-то еще не опомнились, не сразу поняли — эпилог «Зима, зима!», вполне пригодный и для эпитафии.

Напоследок вновь скрещиваются все направления взгляда, скрываются расстояния, видимое становится слышимым и слышимое зримым. «Мы видим слезу ястреба плюс паутину, / звуку присущую, мелких волн». Не будет более взгляда вниз, взгляда ухода и расставания. Но вернется живой взгляд снизу, «отсюда» — туда. Бинобль воображения.

Мы видим сверху слезу ястреба. «Но плакать нечего».

Процай, птица. «Серебро» становится морозным, затем смертельно-бесцветным («черт-те что», «астрономически объективный ад»), но вдруг опять нарядно-сверкающим. «И в кружеве этом (звуковых волн. — Л. Б.), сродни звезде, / сверкая, скованная морозом, / инеем, в серебре, / опушившем перья, птица плывет в зенит, / в ультрамарин...»

Красивые, но весьма зябкие похороны в ионосфере («где вместо проса — крупа далеких / звезд»).

Заиндевшие перья готовы выпасть снегом. Острота истаивает. Серебро — иней — снежные хлопья. Какой перепад ощущений, какое кружение цвета, звука, геометрии, сердца!

Совмещение близкого-далекого в звездной крупе. Свободные и белые-белые стихи. И невероятный каданс. «{...} Мы видим в бинобль *отсюда* / перл, сверкающую деталь».

Были и другие, до Бродского запрокидывавшие голову к небу. Вот почему не удержаться от простейших реминисценций, убедительных своей далековатостью. Ну да, еще раз! — «...что просиял над целым мирозданием». Перл. Сверкающая деталь. «...Ангел мой, ты видишь ли меня?»

Когда цвет колеблется между серебром и алюминием, сверканием и тусклостью, живым и мертвым, острота предметов превращается в остроту звука: «пронзительный, резкий крик» — «алмаз, режущий стекло». А острота звука — в видимое, в «порез» мира. И наконец — в сказочные «осколки» «фамильного хрусталя», которые, «однако, не раñат, но / тают в ладони». Взгляды отсюда туда и оттуда сюда. Превращение «разбившейся посуды» в «горсть юрких хлопьев, летящих на склон холма».

«И, ловя их пальцами, детвора / выбегает на улицу в пестрых куртках / и кричит по-английски: «Зима, зима!»

«По-английски»? В России поэту не пришло бы в голову, что они кричат «по-русски». И он не отметил бы «пестрых курток». Последний взгляд в поэме на ближайшее — издалека, из заледенелого прошлого. Америка стала «мы видим отсюда»; зато Россия — неустранимое «мы видим оттуда». Складываем и делим пространство, близкую Америку пишем, далекая Россия в уме. Не ностальгия, слава богу. Но некая легкая отстраненность от симпатичной не нашей детворы. И, уж конечно, от России — тоже. «Смешанная с тревогой гордость». Осенний крик. «Эк куда меня занесло!» Разбитой посуды не склеить. Но она может выпасть тающими небесными хлопьями, холодящим неизъяснимым благословением.

Щемящая примиренность с судьбой.

Во всей поэме ни одной из столь излюбленных поэтом косноязычинок. Ни одной резкой лексической или интонационной модуляции. Поэма сработана на непрерывном восходящем воздушном токе: «(...) чужа каждым пером поддув / снизу, сверкая в ответ глазоу / ягодою...» Обошлось также без привычной усмешки (ею невозможно счесть и единственное по этой части: «Он уже / не видит лакомый променад / курицы по двору обветшалоу фермы»). Разве что: «...выше / лучших помыслов прихожан / он парит в голубом океане...» (и все-таки необыкновенно ровный торжественный тон).

Реквием Бродского: по всякому «сердцу, обросшему плотью».

Высвобожденная из иронии, благодаря отрешенному наблюдению «натуралиста», объективной форме Сказания о ястребе — возвышенная простота его поэзии.

А еще: гнездо «в мощной пене травы» среди буков, где-то на Юге, у Рио-Гранде. Самый подробный план, увиденный сверху, — это память о детстве. «Гнездо, разбитая скорлупа / в алую крапинку, запах, тени / брата или сестры». Суметь разглядеть из такой страшной дали даже крапинку на скорлупе!

Позволю себе ненужное сентиментальное признание. Долго не мог читать вслух «Осенний крик ястреба» без комка в горле в кульминации и увлажнения глаз в финале (стихи, как известно, лучше не слушать и не читать молча, а сразу и держать перед глазами, и читать вслух для себя). Эпическая объективность тона и совершенство описания делают лирическое напряжение физически ощутимым, непереносимым.

«Ре-диез алмаза, режущего стекло».

Мы запомнили, что душа — это то, что «не делится без остатка на два». Бесконечная дробь. После запятой ее малость, чем дальше в Ничто, тем ничтожней, но значит — и упорней. Числитель все загадочней цепляется за знаменательную не буквальную (не исчислимую окончательно), но смысловую реальность. Снежные хлопья тают, но падают, падают.

«Бессмертие человеческой души во времени... никак не подтверждается», по уже приведенному приговору позитивного ума.

Ум поэтический, вполне и со страхом соглашаясь, предпочитает задуматься над гадательностью, непостижимостью самой границы между жизнью и исчезновением: над таинственной бесконечностью дроби.

Поэзия, должно быть, состоит
в отсутствии отчетливой границы
(«Post aetatem nostram»).

Так делает перо,
скользя по глади
расчерченной тетради,

не зная про
судьбу своей строки,
где мудрость, ересь
смешались, но доверяясь
толчкам руки,
в чьих пальцах бьется речь
вполне немая,
не пыль с цветка снимая,
но тяжесть с плеч.

Такая красота
и срок столь краткий,
соединясь, догадкой
кривят уста.
Не высказать ясней,
что в самом деле
мир создан был без цели,
а если с ней,
то цель — не мы.
Друг-энтомолог,
для света нет иглок
и нет для тьмы. <...>

Ты лучше, чем Ничто.
Верней: ты ближе
и зримее. Внутри же
на все на сто
ты родственна ему.
В твоём полете
оно достигло плоти
и потому
ты в сутолке дневной
достойна взгляда
как легкая преграда
меж ним и мной.

Смешались личная судьба и судьба строки; человеческие сроки и век бабочки; красочная пейзажность крыльев и прихотливый узор вспархивающего дольника. «По чьей подсказке / и как кладутся краски? / Наверяд ли я, / бормочущий комок / слов, чуждых цвету, / вообразить бы эту / палитру смог».

Смешались жизнь и смерть («Жива, мертва ли...»). «Сказать, что ты мертва? / Но ты жила лишь сутки. / Как много грусти в шутке / Творца! едва / могу произнести «жила» — / единство даты / рожденья и когда ты / в моей горсти / рассыпалась, меня / смущает вычество / одно из двух количеств в пределах дня. / <...> дни для нас — / ничто. Всего лишь / ничто...» Смущает бесконечность деления, бессмысленность вычитания сущей малости из Ничто.

Соответственно смешиваются в конечном счете вещи и люди. «Вещи и люди нас / окружают. И те, / и эти терзают глаз. / Лучше жить в темноте <...> / Пора. Я готов начать. / Не важно с чего. Открыть / рот. Я могу молчать. / Но лучше мне говорить. / О чем? О днях, о ночах. / Или же — ничего. / Или же о вещах. / О вещах, а не о / людях. Они умрут. / Все. Я тоже умру. / Это бесплодный труд. / Как писать на ветру. / <...> / Преподнося сюрприз / суммой своих углов, / вещь выпадает из / нашего мира слов. / Вещь не стоит. И не / движется. Это — бред. / Вещь есть пространство, вне / коего вещи нет. // Вещь можно грохнуть, сжечь, / распотрошить, сломать. / Бросить. При этом вещь / не крикнет: «Ебена мать!» / <...> / Вещь, коричневый цвет / вещи. Чей контур стерт. / Сумерки. Больше нет / ничего. Натюрморт. / Смерть придет и найдет / тело...» Голую вещь.

Но тут уж никакое высказывание более невозможно. Остается молчать. Или матерно завопить. «Но лучше мне говорить». Остаться «бормочущим комком слов». Видеть сны. «Все-таки это лучше, чем мягкий пепел / крематория в банке...»

Поэтому неизбежна еще одна, решающая неотчетливость поэтической границы: когда готовы смешаться Ничто и чудо.

«Наклонись, я шепну Тебе на ухо что-то <...>

Ты был первым, с кем это случилось, правда?»

Ничего, что пустота черна, ничего, что это Ничто. Не Твоя ли это пустота?

«Пустота. Но при мысли о ней / видишь вдруг как бы свет неоткуда. / Знал бы Ирод, что чем он сильнее, / тем верней, неизбежнее чудо. / Постоянство такого родства — / основной механизм Рождества».

По-моему, было бы очень странным считать, что это религиозные стихи. Что у Бродского вообще есть такие стихи. Христос как первый, кто стал «незримой вещью» в «пустоте», что предстоит и каждому из нас?

Больше не во что верить, oprичь того, что
покуда есть правый берег у Темзы, есть
левый берег у Темзы. Это — благая весть.
{...} И палец, вращая диск
зимней луны, обретает бесцветный писк
«занято»; и этот звук во много
раз неизбежней, чем голос Бога.

(«Темза в Челси»)

Я, конечно, не вправе что-либо говорить о самом поэте; речь идет только об его стихах. В них поэтически претворено то состояние души, которое может оказаться также и корнем религиозности. Но в поэзии Бродского, думаю, просто находится место для Бога.

Как и — в несравненно большей степени — для «пустоты», для Ничто. «В Ковчег птенец / не возвратившись доказует то, что / вся вера есть не более чем почта / в один конец» («Разговор с небожителем»).

Как и для наипростейших очевидностей: «Брежит рассвет, проезжает почта», у Темзы по-прежнему два берега, вот все, во что можно верить, вот «правота веса и меры», вот — евангелие («благая весть»)!

Как и для неизъяснимой бабочки или «беззвучного чуда» облаков, которые «легче тела, лучше души».

«Только господь / вас видит с изнанки — / точно из нанки / рыхлую плоть. / То-то же я, / страхами крепок, / вижу в вас слепок / с небытия, / с жизни иной. {...} / Это от вас / я научился / верить не в числа — / в чистый отказ / от правоты / веса и меры / в пользу химеры и лепоты...»

Смешиваются мудрость и ересь. Краткий век бабочки или человека: «Как много грусти в шутке / Творца...» Но, может быть, мудрость современного чекана и немислима вне личной ереси? Также и на современный лад выстраданная религиозность? И уж тем более с прошлого века поэзия всегда осуществляется как индивидуальная ересь.

После той строфы «Натюрморта», которая вдруг заканчивается криком «... мать!» — спустя всего дважды двенадцать коротких строк — Мать говорит Христу.

Мать говорит Христу:
— Ты мой сын или мой
Бог? Ты прибит к кресту.
Как я пойду домой?
Как ступлю на порог,
Не узнав, не решив:
ты мой сын или Бог?
То есть мертв или жив?

Он говорит в ответ:
— Мертвый или живой,
разницы, жено, нет.
Сын или Бог, я твой.

Нет разницы? Но значит и никакого «в ответ» нет. Да и не может быть ответа на вопрошание о жизни и смерти.

Не узнать, не решить.

«Мир создан был без цели, а если с ней, то цель — не мы».

При заведомом отсутствии ответа — бессмыслица и самого вопроса? Пусть так. Но как тогда жить. Как я пойду домой? Как ступлю на порог?

Однако на последнем пороге кончается также жесткое формальное различие вопроса и ответа.

Они тоже смешиваются! «Сын или Бог, я твой».

Человечность.

Смысл, смеющийся в отсутствии надмирного смысла — быть.

«Этот мыслитель заметил, что все книги, как бы различны они ни были, состоят из одних и тех же элементов: расстояния между строками и буквами, точки, запятой, двадцати двух букв алфавита. Он же обосновал явление, отмечавшееся всеми странниками: во всей огромной Библиотеке нет двух одинаковых книг».

«Библиотека безгранична и периодична. Если бы вечный странник пустился в путь в каком-либо направлении, он смог бы убедиться по прошествии веков, что те же книги повторяются в том же беспорядке (который, будучи повторным, становится порядком: Порядком)».

Хорхе Луис Борхес.
Вавилонская библиотека.

Зеленый год

Бруно Шульц. Коричные лавки. Санатория под Клепсидрой. Перевод Асара Эппеля. Еврейский Университет, Иерусалим — Москва, 5753.

Не знаю, как там у вас, но наши уральские бабушки еще весной с кликушеским упрямством повторяли: будет зеленый год — ничего не уродится, все в ботву уйдет. Так оно и случилось. Лета, солнца почти не было. Сразу дожди, сразу осень: монах волосатыми пальцами книгу раскроет — сентябрь. В ожидании неурожая, недорода скоро перестали пропалывать сорняки, трава отбилась от рук, запузырилась... Забурлила, размах на рубль, удар на копейку. Зато добра этого, как в анекдоте, много-много.

Тем не менее именно в такой год появляется первая (и, вероятно, последняя) книжка одного из самых странных, загадочных европейских писателей, Бруно Шульца. Вероятно, последняя, так как две повести, в нее вошедшие, и горсть графических листов — все, что осталось от местечкового гения из города Дрогобыча, где Б. Шульц безвылазно жил и где погиб в гитлеровскую оккупацию. Вместе с тем миром, что воспевал на свой лад и страх, риск и голос.

У Борхеса есть рассказ «Тайное чудо», где проживающему в Праге на Цельтнергассе Яромиру Хладику, автору неоконченной драмы «Враги» и труда «Опровержение вечности» — исследования о влиянии иудейских рукописей на Якоба Беме, за секунду до расстрела Мастер Вселенной подарил год — пьесу закончить: «Немецкая пуля убьет его в назначенный срок, но целый год пройдет в его сознании между командой и исполнением...»

Смею утверждать, что «Коричные лавки» — не сборник рассказов, не даже «как бы повести из новелл» (определение переводчика книги А. Эппеля, воссоздающего стилистически выверенный необычайный мир прозы Шульца), но полноценный эпос удивительной концентрации и красоты. Вроде бы и не происходит ничего важного — зеленый год (зеленый, как плесень, дворец забвения), шенок на кухне прибулдился, тараканы, хлам, — но павлинье перо или карта города вдруг становятся узлами современной, в отмеренных сроках, истории — «горький запах болезни оседал на дне комнаты, а обои все густели сплетениями арабесок», — когда смена времен года сродни кругосветному путешествию.

Начало — август, все кипит и пенится с экспрессией раннего прямо-таки Пастернака, с места в карьер: «Там был уже не сад, но пароксизм неистовства, взрыв бешенства, циническое бесстыдство и распутство. Там рассвирепевшие, давшие выход своей ярости, верховодили пустые одичалые капуста лопухов — исполинские ведьмы, высвобождающиеся среди бела дня из широких своих юбок, скидывающие их, юбку за юбкой, откуда вздутые, шуршащие, драные лохмотья полоумными лоскутьями не погребали под собой склочное это прижитое в блюде отродье».

Когда-то Бердяев отмечал у Розанова «первородную биологию, переживаемую как мистику», а все им написанное уподоблял «биологическому потоку». То же у Шульца, сознательно постоянно отпускающего повествование из рук, отдающегося на откуп стихии жизни, бурлящей биомассы, неуправляемой магмы, в которой жизнь и которая жизнь. Такая экспрессивная экспозиция, когда просто невмочь вынести легкость самого по себе осуществляющегося бытия, необходима именно вначале: обозначены и введены действующие лица и какая угодно, но никак не «равнодушная» природа — на первых ролях. «Буйная и разная, некошенная трава пушистой шубой покрывала волнистую землю. Были тут обыкновенные луговые травянистые стебли с перистыми кисточками колосьев; была тонкая филигрань дикой петрушки и морковки; сморщенные и шершавые листики бурды и глухой крапивы, пахнувшие мятой; волокнистый, глянцево-подорожник, крапленый ржавью, выбросивший кисти грубой багровой крупы». И — контрастом — мир людей, «эфемерическая генерация фантомов, бескровных и безликих». Из жара — в холод, из света — в пыль. Дядя Марк (Мрак) «с беспольным лицом, примирившись с судьбой, пребывал в сером своем банкротстве, в убежище безграничного презренья, где, похоже, обрел тихую пристань». Или самый старший из кузенов, Эмиль, «с белокурыми усами на лице, с которого жизнь как бы смыла всякое выражение... Казалось, он — всего лишь одежда, существующая сама по себе. Смятая, сборчатая, брошенная на кресло. Лицо его было словно видение лица — след, оставленный в воздухе неведомым прохожим». Короче — големы, духи или тени, назначенные отбывать повинность. Они не живут даже, но статично представляют сцены из, живые картины в рамках старых домов-лабиринтов, заносимых пылью все больше и больше. «Вам известно, сударыни, что в старых квартирах есть комнаты, о которых забыли. Не посещаемые месяцами, они прозябают в забвении в старых своих стенах, бывает даже, самозамуровываются, зарастают кирпичами и, навсегда утраченные для нашей памяти, утрачивают понемногу и свою экзистенцию. Двери, ведущие в них с какой-нибудь площадки черной лестницы, могут столь долго не замечаться домашними, что врастают, уходят в стену, каковая затирает их следы фантастическим рисунком царапин и трещин». Как видим, даже стены обладают здесь более решительным, действенным характером. В отличие от человеков, неспособных даже к самозамуровыванию, они исчезают или раздваиваются — так ведет себя вся окружающая среда — «можно

сказать, что из городских недр порождаются улицы-парафразы, улицы-двойники, улицы мнимые и ложные», устраивают людям подлянки и празднички, играют, лукавят и прочая.

Лето заканчивается, не успев расплескаться, выдохнувшись, выдохнув нервическую свою перевозбужденность на первых пяти страницах. Но гаснет краткий день, город все чаще оказывается в хронически тусклых сумерках, воцаряется зима... и все! Время остановилось-исчезло, испарилось-замерзло, и каждый новый «рассказ» начинается с неизбывных вариаций на одну и ту же тему: «наступили желтые нудные зимние дни...», «в самые краткие сопливые зимние дни...», «случилось это в пору серых дней...», «в ту долгую и пустую зиму мрак в городе нашем уродился огромным, стократным урожаем» (так, пожалуй, воспаленно-красный СССР воцарялся-подавлял географические карты мира). На фоне такого задника, соответствующих декораций и освещения главные (единственные) думы и помыслы — о безумии. По сути дела (формально), наравне с рассказчиком, чье детское мироощущение, мироположение и является границей-скрепкой миров живой и неживой природы, главным героем оказывается отец; ожидание неперемennого, закономерного даже безумия, как бы нарастающего вместе с пылью, мусором и хламом во всех углах, и движет сюжет. Оживляя застывший, застывающий ландшафт. Это он, отец, открывает онтологическую сущность манекенов («роли их будут коротки, лапидарны; характеры — без расчета на будущность»), превращается то в таракана (!), то в пегуха («за столом он, забывшись, срывается со стула и, маша руками, точно крыльями, издавал протяжное пение, а глаза его заволакивались мутью бельма. Потом, сконфуженный, он смеялся вместе с нами и старался выходку свою представить шуткою»), демонстрируя присущую живому, живущему существу способность изменяться, разговаривает с кошкой или проникается состраданием к мебели («Кто скажет, сколько есть страдающих, покалеченных, фрагментарных состояний бытия, таких, как искусственно склеенная, насильно сколоченная гвоздями жизнь шкафов, столов, распятого дерева, немых мучеников»), чередуя вспышки безрассудства и черной меланхолии с обычным вялотекущим (манекенообразным) существованием. Что как бы естественно для непонятных еврейских стариков, которые либо безумцы, либо пророки, но чаще и то и другое одновременно.

Неукротенный хаос — в порядке вещей, единственный способ хоть как-то противостоять ему — выпасть из течения

времени, замереть на пограничье. Или полностью совпасть. «Любопытно будет отметить, что в столкновении со столь необычным человеком все вещи словно бы возвращались вспять, к корням своего бытия, восстанавливали свой феномен — вплоть до метафизического ядра, пятились как бы к изначальной идее, чтобы там от нее отступить и переметнуться в сомнительные, рискованные и двусмысленные пределы... ереси».

Всего-то год, но целая эпоха угасания, тления, распада. От августа (книга начинается бодро: «В июле мой отец уезжал на воды»), через всю эту бесконечную зиму и весну до «меня уносит все выше и выше в желтые неведомые осенние бездны», где все и заканчивается смертью отца: «Было это в поздний и запропастившийся период полнейшего упадка, в период окончательной ликвидации наших дел». Плохой год, зеленый. Трава дурит в человеческий рост, а толку?! Одна именно что дурь. Присутствие отца как воспитательный, формирующий момент и позволило Шульцу стать тем, кем он стал. Любопытно будет заметить, что в своих как бы безумных рассуждениях отец рассказчика приходит к оправданию убийства: «Убийство не есть грех. Оно иногда оказывается неизбежным насилием над строптивыми и окостенелыми формами бытия, которые теряют привлекательность».

Описанные Шульцем развал и запустение, развалины, в которых отчего-то не переводится жизнь, совершенно фантастическая по сути, как бы предвосхищают магический реализм латиноамериканцев. Читая, никак не мог отделаться от ощущения, что приемами этими хорошенько попользовался среднестатистический «Маркес». Помните, как начинался «Сто лет одиночества»? «Пройдет много лет, и полковник Аурелиано Буэндия, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит этот далекий вечер, когда отец взял его с собой посмотреть на лед».

...До сих пор живы очевидцы убийства бытописателя исчезнувшего мира. 19 ноября 1942 года эсэсовцы устроили в оккупированном Дрогобыче «дикую акцию». Эсэсовец Гюнтер, желая напакостить сослуживцу, искал именно Шульца. А увидев, подошел и выстрелил ему в голову. Вряд ли Мастер Вселенной дал местечковому гению отсрочку — к тому времени главные его книги уже были написаны, а описанный в них мир уничтожен. Тайного Чуда не случилось. Хотя, как знать, все могло быть и совершенно иначе. Только все равно мы никогда не узнаем, что пронеслось в воображении писателя за один миг и один год.

Д. БАВИЛЬСКИЙ

О том, как все-таки сделан «Дон Кихот», или Перестоявшиеся щи

●
Александр Кабаков. Последний герой. Роман. Журнальный вариант. Знамя, 1995, №№ 9—10.

●
За это произведение автору уже досталось от бойкой критики. И, вступая в разговор, скажу — критика не права. Несмотря на то, что А. Кабаков, если и не последний герой, то уж точно один из предпоследних, в том-то сомнений нет, — его ставят в двусмысленную позицию. Что ни сделай, после таких статей будешь в ущербе. А сделать чего-то придется. Тому есть причины.

Семантика молчания чрезвычайно сложна, и сейчас и здесь ее исследовать не место и не время. Напомню лишь, что короткая ремарка о безмолвствующем народе требует многотомной ученой монографии-истолкования. Фразы же подлиннее, а тем более отклики и критические статьи толкуются куда легче. Какая бы то ни было реакция на действия писателя со стороны критики есть приглашение. Положительная — значит, так держать. Отрицательная — я так держать буду!

Между тем вдруг автор, пусть с запозданием, но сделал правильные выводы из моей статьи «Господин Сочинитель», опубликованной несколько лет назад в «Литературной газете», и решил оставить художественное поприще, перейдя к каким-нибудь иным занятиям? Вдруг таким образом он решил попрощаться с читателями и навсегда отбыть в культуролобивый город Парижск, о котором с большим чувством упоминает в романе? Потому-то он и прокручивает напоследок свой стилистический пусть не орган, так органичик во всех регистрах, — мелодрама, пьеса абсурда, триллер, одесский анекдот, детектив и прочие жанры так и мелькают перед изумленным читательским взором, не останавливаясь ни на минуту. И это был бы достойный настоящего героя конец. Теперь же, после острых выступле-

ний, ему попросту придется в отместку что-то писать.

Ведь так и сделан «Дон Кихот». По крайней мере его второй том, где спустя десятилетие после выхода тома первого говорится и о реакции читателей, и о том, что первый том опубликован.

И по минованию лет выясняется, что многие ошибались. Дон Кихот — не сумасбродный хлюпик, а тренированный мужчина, выходящий против льва со шпагой и прославляющий везде и всюду имя любимой женщины. Он-то по-настоящему и был первым и последним героем новой европейской литературы.

А если и тут лишь недоразумение?

Вечный кабаковский герой (не первый и теперь вряд ли последний), его неистребимое альтер эго — российский технический интеллигент, у которого на носу очки, а в душе вечная болдинская осень. О неистребимости этого героя говорит и автор в некоем письме, адресованном к нему и введенном в новую мениппею.

И отмечен этот герой всем, чем отмечен российский технарь, — тоской по фирменным джинсам, значащим для него больше, чем знаменитая гоголевская шинель, и тоской по миллионерше. Герой живуч, и если у него что-то не складывается, то в другом сочинении и под другим именем ему дадут отыграться. Не беда, что джинсы только тряпка, а миллионерша потерята и бывшая в употреблении, — другого сознания технаря и представить не в силах.

Достаточно одного примера. Может показаться странной цель героя и его возлюбленной, которые непременно хотят пробраться в некий Центр Управления Общественным Мнением и проделать там при компьютерах акт торжествующей любви, чтобы о том узнали все. Этот сам по себе экстравагантный и странный поступок может показаться необъяснимым: ведь технарь даже в любви крайне застенчив.

Но припомним городскую байку об очкарике, как он пришел в аптеку и шепчет что-то продавщице на ухо, а она его переспрашивает громогласно: «Тебе презервативы, что ль?» Он краснеет и шепчет что-то еще тише, а она опять переспрашивает: «Презервативы?» В конце концов, получив требуемое, тот уходит, и перед тем, как закрыть дверь, останавливается на пороге и в отчаянии кричит во все горло: «Да, да, трахаться иду!»

И припоминание это по-новому освещает весь роман, событийной части которого я подробно не пересказываю, потому что событий как таковых нет, есть только грандиозное мельтешение без смысла, движение колонн бронетехники и перебежки гражданского населения — все, чему поло-

жено быть в порядочной антиутопии или на майском параде.

Скажу о другом. Видно, что каждое очередное произведение дается сочинителю все с большим трудом, а его альтер эго все сильнее стареет, спивается и погружается в изящный мир поношенных джинсов. Пора бы перевести дух. И если бы критика вправду хотела сочинителю добра, она бы лучше промолчала.

Это не значит, что А. Кабаков неприкасаем. К кабаковской прозе можно относиться по-разному, можно ее любить, можно ненавидеть, но отрицать то, что она где-то существует, невозможно. Мне же кажется, взлет таланта и мастерства у сочинителя уже в прошлом. Я с трепетом беру его старую книгу «Ударом на удар, или Подход Кристаповича», где рассказывает о многолетней и бескомпромиссной борьбе простого гражданина со всеильным КГБ, раскрываю на любимой пятидесятой странице и читаю: «Потом они ели сильно перестоявшиеся щи...»

Живи сто лет — лучше не напишешь!

Феликс ИКШИН

Символизм или истерия?

●

И. П. Смирнов. Психодиахронология. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. М., Новое литературное обозрение, 1994.

●

Что происходит в последние годы с историей русской литературы? На первый взгляд — полный упадок и отсутствие идей. Официальные версии унесены ветром перестроечных перемен. Взамен не создано пока ничего или почти ничего. Возьмем двадцатый век. Теория двух борющихся друг с другом (или по крайней мере наглухо друг от друга изолированных) литератур — советской и эмигрантской — явно не у дел. Однако из подрывающих «устой» деклараций конца восьмидесятых так и не родилась сколько-нибудь связанная картина. Пример: какой момент считать датой вхождения солженицынско-

го «Архипелага» в отечественный культурный обиход? Время написания книги и ее прочтения узким кругом посвященных? Годы после зарубежной публикации, когда слепые машинописные копии «Архипелага» с конспиративным благоговением передавались из рук в руки? Или лагерная эпопея Солженицына вернулась в Россию только благодаря новомирской публикации, окончательно разорвавшей пути партийной цензуры? Но тогда в чем причина быстрого угасания былой популярности книги, ее перемещения на периферию внимания читателей и критиков?..

Та же неопределенность и с девятнадцатым веком. Понятная и простая, как сон в летнюю ночь, триада «периодов освободительного движения» отвергнута. Нельзя больше всерьез говорить о том, что Чернышевский с Добролюбовым наперебой нападали на врагов-невидимок (известных в лучшем случае по именам) под гулкой аккомпанемент «Колокола». Хорошо, а взамен-то что? Торопливые (и чудовищные по степени тенденциозности и комментаторского невежества) издания Леонтьева с российскими триколорами на форзацах?

Время благоприятствует изучению частностей, кропотливым архивным разысканиям. Кажется, что для обширных исследований, посвященных литературному движению нескольких столетий, час еще не пробил. Выдвинуть единые основания, критерии, пригодные для восприятия и изучения Жуковского и Пастернака, Тургенева и Бабеля, — задача вполне наивная и обреченная на неуспех. И все же...

Игорь Смирнов, литературовед и культуролог, ныне работающий в Констанце (Германия), после долгого перерыва издает книгу в России в Научном приложении к журналу «Новое литературное обозрение». А в книге-то как раз и делается попытка выстроить непротиворечивую картину литературного развития «от романтизма до наших дней».

И. Смирнов всегда удивлял читателя нестандартными теоретическими построениями. Ученого издавна привлекают «начала и концы» культурной эволюции: жанры древнерусской литературы, фольклора и — новомодные постмодернистские эксперименты. «Существуют ли такие художественные явления, совпадение которых не обусловлено действием жанровой традиции, с одной стороны, а с другой — не может быть понято и как результат литературных реминисценций?» — вот одна из ключевых проблем современного литературоведения, сформулированная Смирновым еще в семидесятые годы. Словесность понимается как разнovidность универсального «культурного языка», причем *повторяемость* тех или иных фактов, тем,

мотивов (вечная проблема!) невозможно объяснить сознательным использованием уже известных художественных образов.

Стандартность сказочных, песенных, былинных ситуаций понятна: в фольклоре вообще отсутствует представление об авторстве и литературной «собственности». Но так ли обстоит дело в новейшее время? Что преобладает в современном искусстве слова — личная инициатива или жанровый канон?

...Новая книга Смирнова изумляет даже при беглом перелистывании. Вот (наудачу) один из многих рискованных пассажей: памятное событие из «Руслана и Людмилы» (лишение зловредного похитителя юной девы его роскошной бороды) описывается так: «Черномор подвергается символическому осколению за кражу у героя сексуального объекта». Модная околонучная эссеистика? Совсем наоборот — Смирнов как раз стремится не выходить за пределы строгих гипотез. Его цель — проанализировать на литературном материале основные понятия психоанализа: «травма», «патология», «инфантильная сексуальность» и пр.

По Смирнову получается, что каждая стадия развития русской литературы на протяжении последних двух столетий соответствует тому или иному психоаналитическому типу самоопределения личности. От оглавления книги дух захватывает: романтизм здесь сближается с «кастрационным комплексом», реализм — с «эдипальностью», символизм уподоблен «истерии», ну и так далее вплоть до постмодерна, который ассоциируется с некоей гремучей смесью «шизоидности» и «нарциссизма». Оказывается, путь русской литературы воспроизводит... последовательность фаз психического становления индивида. Как водится, «филогенез повторяет онтогенез», только в обратном, вывернутом наизнанку порядке: от «взрослых» комплексов и болезней (нарциссизм, шизофрения) к болезням «детским» (эдипальность и т. д.).

В науке нашего века нередко возникали попытки увидеть главный смысл события или текста не в его «открытой», демонстративной значимости, но на периферии, в области произвольных проговорок и косвенных свидетельств. На сходных предпосылках основывалось и недоброй памяти социологическое литературоведение: в романах Тургенева разыскивалась идеология либерального дворянства, а в стихах Кольцова — крестьянское мировоззрение.

Смирновский «психоанализ» абсолютен: «за» текстом ничего не кроется, кастрационный и прочие комплексы — вовсе не тайный довесок к обычным функциям литературы («отражение» жизни, способ-

ность доставлять эстетическое наслаждение и т. д.). Все дело в том, что, по Смирнову, «психоанализ, логика и история — это одно и то же». Фрейд подает руку Леви-Стросу, стихи и проза одновременно и свидетельствуют о психическом расстройстве автора, и, подобно древнему мифологическому сказанию, представляют собою механизм для разрешения определенной общекультурной проблемы, преодоления *логического* противоречия. Почему романтизм сопоставлен именно с кастрационным комплексом? Да просто потому, что ребенок, испытывающий страх кастрации, лишен представления о половом самоопределении, в его сознании доминирует, как предполагает Смирнов, логическая процедура «иррефлексивности». При этом невозможно отделить собственное «Я» от чужого — вот вам аналог романтического титанизма («все во мне, и я во всем», как сказал поэт).

«Эдипальность» сопряжена с иной логической операцией — «транзитивностью». «Эдипов комплекс наводит ребенка <...> на предположение, что место любого человека открыто, дабы быть занято другими людьми». На смену романтическому самоопределению личности приходит другое, «реалистическое». («Я» — такой же, как все другие»). В эпоху символизма доминирует «истерия», которой сопутствует «интранзитивность», то есть отсутствие в мире и между людьми причинно-следственных отношений, промежуточных звеньев порождения смысла. Все сиюминутное нетождественно себе, имеет оборотную сторону, сопряженную с вечными культурными ассоциациями, — вот вам и теория символа...

«Уф, устал я точить этот нож!» — говорит в известной сказке людоед, намереваясь съесть беззащитную девочку. Читатель книги Смирнова, возжаждавший (после просмотра оглавления) чуть ли не клубнички, а столкнувшийся, напротив того, с интранзитивностью, тоже вправе посетовать на усталость. Однако девочка-то в сказке, конечно, останется невредимой. Так и в нашей книжке — тяжеловесный терминологический антураж нередко сопутствует блестящим анализам классических текстов (стихи Вяземского, Веневитинова, Баратынского, гоголевские повести, «Бесы» Достоевского и др). Впрочем, важна не только конкретика, ключевой тезис («психическое становится логическим») тоже впечатляет. Хотя не исключено, что все это — только интеллектуальные игрища: ведь недаром же в эпиграф вынесена малопочтительная фраза о Фрейте, извлеченная из Энтони Бёрджесса: основатель психоанализа, дескать, человек недалекий, недужный, даже слегка не в себе...

Дмитрий БАК

Портрет кобры

В. И. Курдов. *Памятные дни и годы. Записки художника.* Санкт-Петербург, АО «АРСИС», 1994.

Ягуар жаловался маме. Он зажмурил глаза, сделал плаксивое лицо и что-то шептал ей на ухо, а она слушала и вылизывала его своим большим теплым и шершавым языком, успокаивая. Это не выдумка. Это одна из иллюстраций к сказке Р. Киплинга «Откуда взялись броненосцы». А всем известно: то, что состоялось в искусстве, не только оживает, но и живет долгие годы, дольше, чем длится человеческий век.

Вспомнилось это не только потому, что работы Валентина Курдова, раз увидев, уже не забыть, так замечательно рисовал он животных, которые у него всегда чуть похожи на людей, а и по той причине, что художник обращался к киплинговским сказкам и в тридцатые годы, и к концу жизни. Хотелось многое сделать заново. Ведь книжный график связан договорными сроками, бывает, и поторопиться. Но за художником, словно тень, следуют его промахи и ошибки. Сказано честно и просто. И потому веришь сказанному, читаешь эту книгу с первой страницы до последней.

Отличную прозу писали многие русские художники. Именно потому, что рисунок их был тверд, а живопись возникала не из смешения красок, а из владения цветом. Профессионалы не путают разные ремесла, они относятся с уважением к любому. И еще они знают — у каждого ремесла свои законы. Если живописи впору спастись от «рассказа в картинках», то русской прозе рассказ необходим. Не бесконечное повествование, а случай, череда событий, изложенных занятно и мудро.

Конечно, незатейливые курдовские записки не сравнить с «Самаркандией» Петрова-Водкина, да и незачем, и без того хороши. В них увиденное умным человеком (как странно, что когда-то художники были еще и умны, кроме того, что мастеровиты) поведано нормальным человеческим языком, без лжи и умолчаний.

Интерес таких сочинений вовсе не в том, сколько стоили кипяток или картошка в каком-нибудь давно ушедшем году, хотя и это любопытно. Интерес в том, что можно радоваться жизни, делить свою радость с другими. И делятся воспоминания: где родился и кто родители, каким необыкновенным человеком был отец, у кого учился художник рисовать, как служил в кавалерии, чистил и холил коней. В словах слышится заправдашнее счастье. И понятно теперь, откуда взялись акварели «Всадники революции» и замечательный рисунок «Конюшня», где в одном из денников, отведенных военным коням, стоит козел и насмешливо поглядывает вокруг.

Хотя художник говорит о себе, получается, что он рассказывает о других. Вот они, писатели, с которыми доводилось работать или просто дружить, — Житков, Хармс, Введенский, Олейников — короче, тогдашняя детская редакция Госиздата в полном составе. Вот друзья — Евгений Чарушин и Юрий Васнецов. Вот учителя и сложившиеся мастера (а мастерство и корпоративность не существуют без старшинства) — Михаил Матушин, внимательно вглядывающийся в мир, Павел Филонов, одержимый, и это видно по немногим страницам, где он появляется, элегантный Николай Радлов. Или Малевич, обучавший, словно составлял историю болезни, и глубокомысленно ставивший диагноз: «Инкубационный период заканчивается». Или Татлин, запирающий двери своей мастерской, чтобы не подглядывали посторонние, и даже выставлявший учеников с топорами, дабы ненароком не заглянул ненавистный ему Малевич.

Все же главная фигура записок — Владимир Лебедев, художник еще не открытый и не понятый даже отчасти. Его привычно числят по «детскому ведомству», помнят по книгам, сделанным вместе с Маршаком, и автору здесь отводится первое место, хотя известно: они работали на равных, и знаменитый «Цирк» был сделан как подписи к великим лебедевским рисункам.

И пока по проволоке, словно телеграмма, идет дама, а клоуны обмениваются любезностями насчет красного накладного клоунского носа, пока парит человек-птица, могущий уместиться на самом кончике Адмиралтейской иглы, — пока эти герои, знакомые с детства, занимаются своим привычным делом, мы займемся иным.

Попытаемся решить метафизический вопрос: откуда берутся, как возникают и чем порождаются двойники? Конечно, двойничество не редкость, если обращаясь к разным воспоминаниям, посвященным одному и тому же отрезку времени, одному и тому же человеку, но я ни разу не сталкивался с такой разницей.

В мемуарах Евгения Шварца художник Лебедев нарисован отчетливо и ярко. Не стану вдаваться в подробности, собственно, половина шварцевских воспоминаний о ленинградском Печатном дворе, где тиражировались детские книги и журналы, — это воспоминания о Лебедеве, размышления о нем, спор с ним, а прочие художники, среди которых и Курдов, упоминаются лишь потому, что они его, лебедевские, ученики.

Но каких учеников может иметь такой учитель? «У него была страсть ко всяким вещам. Особенно к кожаным. Целый строй ботинок, туфель, сапог стоял у него под кроватью. Собирал он и кожаные пояса. Португеи. Обширная его мастерская совсем не походила на комнату коллекционера. Как можно! Но в отличных шкафах скрывались отличные вещи. И в Кирове во время войны Лебедев потряс меня заявлением, что ему жалко вещей, гибнущих в блокадном Ленинграде, больше, чем людей. Вещи — лучшее, что может сделать человек. И он завел альбом, в котором рисовал оставшиеся в ленинградской квартире сокровища. Какой-то замечательный половник. Кастрюли. Башмаки. Шкаф в прихожей. Шкаф кухонный. Все эти вещи уцелели его молитвами, бомба не попала в его квартиру».

И вдруг в записках Курдова возникает совсем иной человек. Не менее живой, не менее сложный. И не единой чертой не схожий. «Первая заповедь, которую исповедовал Лебедев, гласила: художник должен, как он выражался, иметь свой роман с жизнью. Это и должно провоцировать желание работать, желание выразить свою любовь средствами искусства».

Лебедев говорил по этому поводу так: «Если на вопрос, что вы больше всего любите, мне отвечает: «искусство» или, например, «книгу», я делаю вывод — глупец. Надо любить не книгу, а жизнь, ради которой появилась книга, а не книгу ради книги, не искусство ради искусства».

Этому человеку отведено много страниц. Лебедев, загнанный, изничтоженный как формалист, почти позабытый, и Лебедев, смело голосовавший против исключения Курдова из Союза художников за знакомство с «врагом народа» Примакковым. Единственный, кто проголосовал «против». И последний штрих — бывшая натурщица, навсегда получившая бессмертие в лебедевской акварели «Девушка с гитарой», кладет цветы на могилу художника, рисовавшего ее.

Так кто же прав и кто ошибся, ведь перед нами не разные стороны природы, а два разных человека? На этот вопрос никогда не найдется ответа, какие бы аргументы ни выдвигала та и эта сторона, какие бы факты ни прибавляли в ту или другую пользу.

Успокоимся на том, что существует точка, где пересекаются не одни параллельные, а и расходящиеся в разные стороны прямые, но она так далеко, что нам не стать свидетелями их непростой и трогательной встречи.

А пока отправимся дальше по страницам, где тщетно выискивать укоры ушедшему времени и гневные инвективы. Ибо Курдов слишком умен, талантлив и слишком любит жизнь, чтобы копить обиды. Без насмешки и злости говорит он о ложном пафосе в искусстве, прекрасно понимая: «Общество желает видеть свое изображение героическим и идеальным, отказывается от реалистической правды».

И, не задерживаясь, воспоминания следуют за памятью дальше, одновременное «вперед и вспять» мемуаров приводит к ленинградской блокаде. Героический ли поступок или легкомыслие, а Курдов представившуюся возможность эвакуироваться отдал Юрию Васнецову, а сам остался в Ленинграде.

Не стану здесь цитировать, тем более пересказывать то, что написано мемуаристом и останется на память потомкам. Ни то, как съел он, по старому охотничьему поверью, сердце своей умершей от голода собаки, как питался белыми подопытными мышами из какого-то института. Как в корбке из-под американских галет, оставленной на улице, лежало розовое, словно фарфоровое, тельце мертвого ребенка. Как шагал он, выходя из дома, по гати из трупов. Это — написано.

Но одну цитату следует привести. Курдов, переживший и прочувствовавший столько, судит о войне все-таки не как просто человек, а как художник. И это суждение непререкаемо, оно проверено на собственном опыте. «Я сознавал, что столкнулся в жизни со сверхфантастической реальностью, не предусмотренной никакой разумной логикой. Значит, может быть, правы художники сюрреалисты, сверхреалисты, стоящие над реальным. И художник Д. де Кирико, написавший на холсте голубое небо, по которому летают античные капители и американские авторучки, становится не таким бессмысленным. Разве не летают в небе сбитые фашистскими снарядами капители ленинградских дворцов? Разве не летела по небу мраморная нога у Кирико так же, как летела целый

квартал нога в ботинке, оторванная у женщины-дворника, ставшей жертвой прямого попадания фугасной бомбы? Я понял природу сюрреализма — искусства, утверждающего отнюдь не счастье на земле».

Жизнь — странная вещь. Она задает вопросы, и вопросы абсолютны, а ответы на них относительны. И потому большинство вопросов остается без решения. Странно то, как такой человек не просто жил, а выжил, ведь не только исключение из Союза художников и восстановление через год, не только случайное знакомство с людьми нежелательными, блокада или долгая работа в разгромленном позднее детском отделе Госиздата играют роль. Роль играет сам талант Курдова, его природа, его проявления.

В курдовских работах сочетаются дотошный реализм, чуть ли не переходящий в натурализм (таковы точные детали и доскональное знание изображаемого), и то, что имеет страшное для тех лет и ничего не определяющее название «формализм». Это есть и в рисунках животных, и в портретах партизан. Это ирония, сочетающаяся с высокой подлинностью, и вдвоем они порождают странный пафос. Пафос счастья.

В моей любимой курдовской вещи — иллюстрации к рассказу «Рикки-тикки-тави» — очковая кобра, расправившая клубок, приподнялась и смотрит вокруг пристально и горделиво, чуть расслабленные кольца не должны вводить в заблуждение: она может в любой момент сделать выпад и...

Смотришь на залитый черной краской хвост, свернутый в кольца, и кажется — вот условность, в то время как голова змеи и клубок проработаны до мельчайшей чешуйки. Приглядываешься пристальней. Нет, это верхняя часть рисунка условна, это чешуйки нанесены с декоративной затейливостью, и по сравнению с ними однотонный хвост — почти иллюстрация из учебника зоологии.

Так что же условно и что реалистично? Это или то? Вглядываешься... Что бы ни было условно, рисунок убеждает, изображение здесь кажется и вправду живым. В мир явилось существо со своим характером, со своим собственным, ни на кого не похожим обликом, со своей судьбой. Произошел акт сотворения. И в этом весь Курдов.

Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ

Единорог, или Книги для своих

Поклонники классической и славянской филологии и истории культуры еще в 1994 году могли обратить внимание на серию книг, на титульном листе которых красовался застывший в прыжке геральдический единорог — эмблема московского издательства «Индрик». Зверь индрик, собственно, и есть единорог. Это слово из старинных апокрифов и духовных стихов — пароль, по которому читатель узнает «свою» книгу.

Когда книги выходят тиражом 500—1000 экземпляров, адресаты могут быть известны почти поименно. Небольшие научные издательства для специалистов — нынче уже не новость (назову еще издательство «Дмитрий Буланин» в Петербурге, с которым, кстати, у «Индрика» тесные связи). Но дело-то в том, что многие книги «Индрика» интересны любому читателю с гуманитарным образованием.

Но прежде, чем рассказывать о книгах, немного о тех, кто их делает. При чем делает отлично: от внешнего оформления до набора текстов на разных языках со сложными над- и подстрочными знаками. Этих людей так мало, что уж их-то можно назвать поименно: директор Сергей Григоренко, его заместитель Олег Климанов, главный редактор Наталья Волочаева, Евгения Штофф, Наталья Клокова. Это все. Издательство возникло еще в апреле 1992 года, когда его основоположники, пожелав свободы, ушли на вольные хлеба. Впрочем, хлеба оказались нелегкими: поначалу пришлось издавать рекламную информационную газету, затем делать оригинал-макеты для других издательств. Добрым волшебником для «Индрика» стал американский миллиардер-филантроп Джордж Сорос. Выиграв издательский конкурс Фонда Сороса, «Индрик» смог начать воплощение собственных проектов.

Первым из них стал уникальный «Каталог коллекции античных гемм Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина» (составитель С. И. Финогенова) с прекрасными иллюстрациями и текстом на четырех языках. Вторым — серия «Научная библиотека студента». В ней вышли: монография известного медиевиста А. Я. Гуревича «Исторический синтез и Школа „Анналов“» и собрание работ историка Г. С. Кнабе «Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима». Третьим проектом было возобновление серии «Традиционная духовная культура славян: из истории изучения», начатой еще в 1991 году издательством «Гно-

зис». Задумали и подготовили ее тогда Н. А. Волочаева и филолог, этнограф и историк науки А. Л. Топорков. В серии вышло немало интересных книг: сборник статей классика отечественной фольклористики и этнографии Е. Н. Елеонской «Сказка, заговор и колдовство в России», первый из пяти предполагаемых томов собрания сочинений знаменитого этнографа Д. К. Зеленина «Статьи по духовной культуре. 1901—1913 гг.» (на выходе второй — «Очерки русской мифологии. Умершие неестественной смертью и русалки»). В рубрике «Современные исследования» той же серии читатель получил монографию А. Ф. Журавлева «Очерки славянской скотоводческой обрядности» и сборник статей академика Н. И. Толстого «Язык и народная культура. Очерки по славянской этнолингвистике и мифологии». Чтобы дать представление о последней книге, выпишу некоторые названия из оглавления: «Вызывание дождя», «Оползание и опоясывание храма», «Глаза и зрение покойников», «Откуда дьяволы разные?», «Каков облик дьявольский?», «Чур и чурь», «Пьян, как земля», «Соленый болгарин», «Скрытый плач по покойнику». Готовятся еще две книги «Очерков славянского язычества» Н. И. и С. М. Толстых, посвященные исследованию магических ритуалов, а также «Славянская демонология: Русалки» Л. Н. Виноградовой.

Таким образом, к классическому направлению «Индрика» прибавилось «традиционное славянское». Помогло и завязавшееся сотрудничество с Институтом славяноведения и балканистики РАН. Теперь в «Индрике» выходят все плановые издания института, его серии «Славянский и балканский фольклор», «Исследования в области балто-славянской духовной культуры». Готовится трехтомная коллективная монография «История славянских литератур от возникновения письменности», издан лингвистический труд Вяч. Вс. Иванова, Т. Н. Молошной, А. В. Головачева, Т. Н. Свешниковой «Этюды по типологии грамматических категорий в славянских и балканских языках». Впрочем, и сегодня издательство вполне независимо и продолжает выпускать внесерийные издания, не связанные с работой института. Одно из них было, как и собрание Зеленина, поистине долгожданным. Речь о трех объемистых томах классического труда прославленного мифолога и фольклориста А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу». Это грандиозное исследование, вышедшее в 60-е годы прошлого века и повлиявшее на несколько поколений ученых и писателей, «Индрик» переиздал репринтно. В руки читателю дано точное воспроизведение признанного

памятника книжной культуры, проникнутого «духом эпохи». А работу с ним облегчат два готовящихся тома приложений, куда войдут старые статьи Афанасьева, статьи современных исследователей о нем, комментарии, указатели и библиография. Трехтомник оказался популярен не только среди специалистов. И это понятно: Россия переживает сейчас очередной период обращения к своим этнокультурным истокам. Ответа на пресловутые вопросы «Кто мы?» и «Откуда пришли?» люди ищут в книгах, и недостаток новейших фундаментальных работ восполнил старый афанасьевский труд. Вышел и еще один репринт: воспроизведение изданной в 1917 г. монографии Н. Ф. Познанского «Заговоры: Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул». Опубликован полезный справочник «Российские фольклористы» (сост. Л. В. Рыбакова), в который включено 625 имен филологов, музыковедов, хореографов, этнографов, занимающихся фольклором.

Не забыто и «классическое» направление. Изданный каталог выставки материалов Российской государственной библиотеки «Русские путешественники по греческому миру (XII — первая половина XIX в.)» — результат сотрудничества с греческим посольством. В недалеком будущем планируется издание серии книг «Новый всемирный патерик» (отв. ред. Д. Е. Афиногенов). Здесь позволю себе пространную выписку из издательского проспекта.

«В эту серию будут включены самые замечательные агиографические тексты поздней античности и средневековья. Жития святых — один из излюбленных жанров христианской литературы, давший на протяжении столетий немало образцов высочайшего художественного мастерства, настоящих шедевров, которые тем не менее остаются по большей части недоступны ценителям изящной словесности из-за отсутствия адекватных переводов на современный русский язык. Главным критерием

при отборе житий для серии будет именно литературное совершенство. Основу «НВП» составят тексты, созданные на языках древней христианской письменности, таких, как греческий, латинский и церковнославянский, а также, возможно, сирийский, армянский и грузинский. <...>

Первый текст, выходящий в серии, — «Житие Льва Катанского», памятник IX века, повествующий о поединке епископа Катанского Льва с могущественным волшебником Илиодором. Некоторые эпизоды жития вызывают в памяти «Мастера и Маргариту» М. Булгакова. <...> В ближайшее время выходит также подлинный шедевр византийской и мировой литературы — «Житие св. Симеона Юродивого» Леонтия Неапольского.

Читатель, осиливший до конца весь долгий «список кораблей» (а в нем не все книги «Индрика»), может оценить, на что оказались способны несколько молодых энергичных людей. Они добились желаемого: свободы, независимости, возможности делать любимое дело. Сегодня важнейшая из стоящих перед ними задач — восстановить почти утраченную «связь времен», века предыдущего и нынешнего. Конечно, полностью она не рвалась никогда. Один только том доселе разрозненных статей Н. И. Толстого вдруг явил нам совсем еще недавнюю эпоху 70-х, когда изучение традиционной славянской культуры вернулось у нас в подлинно научное русло после десятилетий спланированного советской цензурой упадка. Но и утрачено за эти десятилетия было много, прежде всего почти безнадежно снизился уровень преподавания основ народной культуры, а соответственно и воспроизводства научного потенциала. Вот почему так важно комментировать и переиздавать классические труды в надежде, что они вместе с лептой современников воссоздадут культурный контекст, из которого только и вырастает настоящая наука.

Алексей ЮДИН

Премии журнала «Октябрь» за 1995 год

Алексей ВАРЛАМОВ. Лох. Роман (№ 2).

Михаил ЛЕВИТИН. Убийцы вы дураки. Реконструкция романа (№ 4);

Плутодрама (№ 11).

Анатолий НАЙМАН. Земной алфавит. Стихи (№ 1).

Лилия РЯЗАНОВА. Вступление, подготовка текста, комментарии и публикация «Дневника 1937 года» Михаила Пришвина (№ 9).

Елена ИВАНИЦКАЯ. Время таланта, или Новый Заратустра (№ 4).

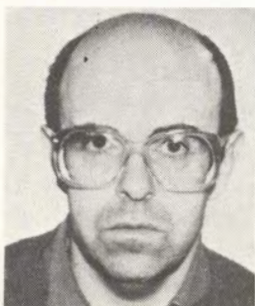
Козлов и Достоевский (№ 7).

Страстно поднятый перст или угрожающий палец? (№ 11). Статьи.

ПРЕМИЯ ЭПИцентра (Центра экономических и политических исследований) под руководством Г. А. Явлинского за лучшую публицистическую работу на тему политики — Валерию ПИСИГИНУ за статью «Реформы — дело тонкое...» (№ 10).



А. Варламов



М. Левитин



А. Найман



Л. Рязанова



Е. Иваницкая



В. Писигин

Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимается Акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах.

Сообщаем адреса некоторых агентств:

Lange & Springer Wissenschaftliche Buchhandlung Otto-Suhr-Allee 26/28 1000 Berlin 10 West.

Kubon & Sagner Buchexport-Import GmbH D-80328 Muenchen; Deutschland.

Libreria Edest, S.n.S Edizione Estere, Via Cairoli, 12/4 16124 Genova, Italia.

Swets and Zeitlinger B.V., Heereweg 347, P.O. Box 830, 2160 SZ Lisse, The Netherlands.

Martinus Nijhoff International, Periodicals Departement, P.O. Box 269, 2501 AX The Hague, The Netherlands.

PEGASUS, PERIODICALS DEPARTMENT, P.O. BOX 59687, 1040 LD AMSTERDAM THE NETHERLANDS.

AKADEMIKA, UNIVERSITETSBOKHANDEL, POSTBOKS 84, BLINDERN, 0314 OSLO, NORWAY.

LEHTIMARKET OY, SUBSCRIPTION AGENCY, P.O. BOX 16, SF-00511 HELSINKI, FINLAND.

Akateeminen Kirja Kauppa Oy Periodicals Dept Tom Backman/AT5 PO BOX 218 SF-00381 HELSINKI FINLAND.

Suomalainen Kirjakauppa Oy Subscription Department P.O. BOX 2 01641 Vantaa 64 Finland.

MK LIBTAIRIE DU GLOBE 2 RUE DE BUCI 75006, PARIS, FRANCE.

WENNERGREN-WILLIAMS INFORMATIONSSERVICE AB P.O. BOX 1305, S-171 25 SOLNA, SWEDEN.

China National Publications Import-Export Corp., P.O. BOX 88, 16 Gongti E. Road, Chaoyang Distric, Beijing, 100704, PR China.

Steimatzky Ltd. 11 Hakishon st., P.O. BOX 1444, BNEI BRAK 51114, Israel.

Knizhnaia Lavka Ltd., P.O. BOX 11626, Tel-Aviv, 661116, ISRAEL.

Nauka, Ltd., 2-30-19, Minami-Ikebukuro Toshima-ku, Tokyo, Japan.

Nisso-Tosho, Ltd. 1-5-16, Suildo, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan, 112.

Troyka Ltd, 799 College St., Toronto, Ontario, Canada. M6G1c7.

Victor Kamkin Bookstore, Inc. 4956 Boiling Brook Parkway Rockville, MD 20852, USA.

Znание Book Store 5237 Geary Boulevard San Francisco, Calif. 94118, USA.

ALMANAC PRESS 501 SOUTH FAIRFAX AVENUE N 206 LOS ANGELES, CALIFORNIA, 90036 USA.

C.B.D. P.O. BOX 255 PLYMPTON SOUTH AUSTRALIA 5038 AUSTRALIA.

GORDON AND GOTCH LIMITED PRIVATE BAG 290 BURWOOD VIC. 3125 AUSTRALIA.

Индекс издания 73293.

Цена годового комплекта (12 номеров), включая стоимость авиадоставки: 115,0 \$.